П.735к

А. НАСИМОВИЧ

ГОРОД ПРЕМОГУЧИЙ

БИБЛИОТЕКА

МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТОК
СРОКОВ ВОЗВРАТА

КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ
УКАЗАННОГО ЗДЕСЬ СРОКА

Колич. пред. выдач. _____

3 ТМО Т. 3600000 з. 1425—91

11.735к

А. НАСИМОВИЧ

Н. 31

ГОРОД ПРЕМОГУЧИЙ

РОМАН

БИБЛИОТЕКА ПРАВДЫ

МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
МОСКВА ЛЕНИНГРАД

-- 2010

«Мосполиграф» 14-я т.
Варгунихина гора, 8.
Мосгублит 19408
Тираж 4000 экз.
Заказ № 1065.
1928.

ИВАНОВСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ
Библиотека
Ивановская обл. экз.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Стр.

1. Утренние дела и делишки 7
2. Архив в корчаге 10
3. Сыск и слежка 12
4. Около бани 16
5. Совещание в бане 22
6. Письмо в Москву 26
7. Путешествие на тачке 31
8. Уважаемые 40
9. Майская ночь 44
10. Митенька приехал 50
11. Почин дороже денег 53
12. Конференция 61

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1. Ушли 73
2. Начало 79
3. Барин золотой 85
4. Лиза 92
5. Трибуна на площади 100
6. Чашка чаю у губернаторши 108
7. Теленок 114
8. Каустик и его дом 129

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1. Гоголь 141
2. Наталья Львовна 145

Стр.
3. Приезд 150
4. Стыдливый домик 157
5. Старики и молодые 169
6. Губернаторская тройка 175
7. Каустиковы гости 182
8. Письмо прокурора и его копия 189
9. Проба 193
10. Депутаты 199

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

1. Опять Гоголь 213
2. Супостат 218
3. Цены нет 223
4. «Переписка с друзьями» 231
5. Из молодых, да ранний 235
6. Покинь, Купидо, стрелы! 242
7. Вихри враждебные 252
8. Прямой, как гвоздик 258
9. Фармазон 266
10. Упрется—переломится 273
11. Костер 276
12. Старая песня 282
13. Поездка к Марье Ниловне 289
14. Аллея вздохов 295

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

1. В два счета 307
2. Патруль 315
3. Всенощная 328
4. Скандальчик 334
5. Отец 345
6. Записная книжка «Тезки» 353
7. Басни Крылова 359
8. Красный флаг 370

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1. УТРЕННИЕ ДЕЛА И ДЕЛИШКИ

Как на Уводи вонючей
Стоит город премогучий...

Из частушки

— Дяденька Афанасьич, ну, чего куды нести?

— Ах, ты, шалопайный! Смотри, чтобы хвостов не было. Понял?

Рыжеволосый мальчик, лет одиннадцати, мотнул головою и сделал значительное лицо.

— Чай, знаю. А слыхал, дяденька, наши-то прокламашки «Ко всем рабочим»?..

— Ну? ну?

— В корпусах Анонимного завода по рукам ходили. А мастер Нерюков, язва, вырвал и представил по начальству.

— На то они и буржуазные метлы, чтобы по начальству ходить. У того — шаг, у них — цыпочки. Им все до начальства дотянуть хочется. Понял, шалопайный?

— Ну да. Как не понять!

— Так вот ты, Петька, забеги сначала под окошко к Грязновскому Мишке, он сегодня дома, стукни и

скажи ему: «Отец, мол, велел передать — все будет, как условлено». Только и всего. А теперь держи вот записку. Ты должен повидать Грачева, потом Дунаева Евлаху — гражданина и потом Дарью Ивановну, понял? Ты им каждому эту записку покажи и айда. Записку не оставляй — прочтут и бери обратно. А потом ее изничтожь. Да смотри, чтобы все было чисто.

Петька взял крошечную записочку, повертел ее под носом; там было написано: «Сегодня в девять баня». И больше ничего.

Но рыжеволосый Петька шмыгнул носом, как понимающий; сунул в карман записку и выкатился быстро на Московскую улицу.

Ранний май, утро. Петька рыжий, и все рыжее: земля, домики, деревья и старые былинки. Только та трава, которая лезет щетинкой около канав и тумбочек, не хочет быть рыжей—блестит ярью. Жохов, дедушка, рыже-седой, владелец меднопрокатного завода, в одних подштанниках с красными полосками, сидит у ворот своего завода. Он щурится на солнце. Петька знает, что дедушка совсем из другого класса, хотя и сидит в штанах, которые носят летом плотники. Он бывший слесарь, горбом завод нажил. Умел копейку выжимать. Петька говорит:

— Доброго добра, Елисей Иваныч Жох.

— Я те дам жох! Сам жулик. Надеру уши, голодраная команда! Ишь, безбожник... Жох!..

Петька рад, что завинтил старика на всю пружину; теперь он, ржавый, сам с собою до обеденного гудка скрипеть будет. Рыжий Петька бежит дальше.

Жох да бог,
А порядок плох.

Так сочинил Петька. Сочинил и ухмыляется: «Непременно этот стишок Грязновскому Мишке скажу. Он стишки любит...»

А дядя Афанасьич тем делом потоптался на крылечке полуразвалившегося домика, посмотрел подозрительно сквозь свои большие круглые очки на двор и на молодую крапиву у забора, сел на ступеньку и стал раскладывать свое добро; тут были тонкие, на папиросной бумаге, номера «Искры», совсем еще свежие — февраль, март 1905 г.; значит, устарели только на два месяца. Тут были красные книжечки, маленькие, аккурат по карману; оставшиеся для памяти прокламации: «Первый шаг», издание ЦК; «К солдатам», издание Северного комитета; «Правда о войне» и «Ко всем рабочим г. Возневанска».

Афанасьич не спеша и любовно перебрал их, сложил; прихватил еще какие-то листы и записки. Собака Белянка, которая вертелась все время подле, понюхала этот литературный материал, разложенный по крылечку, и вильнула хвостом: значит, одобрила. Афанасьич сунул все добро по карманам и пошел со двора. Он вышел не в калитку, а спустился в садик, пролез в том месте, где были оторваны две доски, спустился через прошлогодние обтрепанные кусты бурьяна и репейника на дно оврага и поднялся по тропе на другую улицу. Улица эта была мощеная и бойкая, не как Московская. Белянка проводила хозяина только до забора, посмотрела в отверстие и вернулась к своим обязанностям.

2. АРХИВ В КОРЧАГЕ

Михайла Лакин, он же Грязновский Мишка, высокий, нескладный парень, с орлиным носом, давно поджидал «Отца»—«как условлено». Он сидел на опушке леса под красной могучей сосной и поглядывал зорко на дорогу. Возле него лежали: истрепанная, шевеля листиками, книжка стихов Некрасова, листок белой бумаги, накрытый картузом, и карандашик.

Работа в заварочной на фабрике Грязнова научила Мишку тосковать по солнцу и любить его. Да еще в такой день: май! Сосна звенит над головой, как медная.

Зеленый шум,
Весенний шум...

День прогула — штраф. Но наплевать! Именно это настоящий прогул: и гул весенний и прогулка.

По дороге показался сутулый человек с длинной бородою. Нахлобучив фуражку, он не спеша шаркал ногами и покосился сквозь очки в сторону Лакина.

— Отец!

— Вставай, вставай...

— А где пропадал? Я тут два часа жду.

— Не гомони. Идем. Стишки, что ли, голубь, пишешь?

— Вы, Федор Афанасьич, Некрасова читали?

— Некогда нам. Всю жизнь мотаюсь. Я, брат, в ткачах с двенадцати лет. Да вот глаза... А что, хорошие стишки?

— Вот послушайте:

Прямо ли, криво ли вижу,
Только душою киплю.
Так глубоко ненавижу,
Так бесконечно люблю...

— Гоже... — сказал задумчиво Афанасьич.— Только надо знать, кого он ненавидит, кого любит. Вот когда в «Кресты» сядешь, тут, брат, сразу и без стишков поймешь. Он, Некрасов, питерский, в «Крестах» не сиживал? Ай?.. — и Афанасьич лукаво рассмеялся. — Стой, брат Мишуха, тут со стихами криво ли, прямо ли, а как бы нам тропу не промахнуть. Вот она, замечай. Вот дерево с сухим концом, вот она. Шагай, голубь.

Оба, шурша травою и сухими старыми листьями, свернули в лес. Майская листва еще была прозрачна; тоненькие стволы, как струны, тянулись кверху. Лакин причмокнул от удовольствия.

— Воздух-то, воздух! Что твой квас с изюмом. Пьянит!

Афанасьич не обратил внимания на его восторг. Он заговорил деловито, пошвыривая палочкой сухие шишки.

— Раньше я его держал в жестяной банке из-под ландрина. Ну, да посекретарствуешь с мое, тут, брат, технику дела усвоишь.

— А что?

— Да не наведывался долго, разворотил, глядь: банка заржавела, и все, братец, протоколы, все материалы истлели. А дело такое, — адрес один утеряешь, всем делам заминка. Нашим тогда в Москву ехать, а я им явку не могу дать. Вот. С тех пор я и завел большую корчагу. Эта не сдаст. Учись.

— Вы, Отец, больно на выдумку горазды.

— Сих дел оптик. Ты вот дорогу примечай. Вот гляди: ель на полянке. Вот по-за ней и близко. Теперь, брат, время начинается — коловорот. Много нашего брата хватать почнут. К Понтию-Пилату на казенную похлебку. Теперь без заместителя нельзя. В случае чего, весь архив бери в свои руки, ты — парень книжный.

— Спасибо, Федор Афанасьич, за доверие.

— Не я: тебе, Михайла, партия доверяет, наша центральная группа. Только ты не вольничай, работай по директивам. Понял?.. Вот здесь, под этим деревом.

Афанасьич присел под дерево и стал быстро раскидывать ветки, куски дерна и палочки, пока не обнаружил крышку.

— Архив тайной революции...— усмехнулся он, отодвигая крышку и запуская далеко в корчагу руку. — Придет день, и все тайное станет явным. Вот, Миша, смотри.

Отец вытащил содержимое корчаги, потом очистил свои карманы, и оба на корточках, под молодой весенний шум леса, стали перебирать архив.

3. СЫСК И СЛЕЖКА

Жандармский подполковник Тимофеев, щеголеватый брюнет, ударил в ярости выхоленной рукой по столу.

— Образина! — при этом Тимофеев капризно искривился. — Какой же ты, пентюх, специалист в губернском размере, коли за три месяца — за три! — ты ни в зуб толкануть. Тебя определили к Гарелину в каком качестве?

Образина — большой, мордастый и красный, как помидорина, человек, с торчащими метлой усами. Одетый в синюю блузу рабочего — он держал руки по швам и глазами ел начальство. Вздохнул и сказал сокрушенно:

— В качестве рогаля, ваш высокскородь. Ткача, поздешнему, значит.

— Значит! Ты должен был проникнуть в их организации, а ты что? Где твои сведения, где? Для чего вас с Яичкиным якобы опытных жандармов выписали, а? Говори, образина!

— Для взрывания партийной организации извнутре, ваш высокскородь.

— Извнутре! Вот тебе и извнутре.

— Они, ваш высокородь, не токмо что ввести в кружок, они на кружку пива не идут, не зарятся, точно я зачумленный, али ирод какой. А вчера неизвестный человек в десять часов вечера, попавши мне на глаза в Бедовом переулке на Ямах, очкастый такой, с бородой, суб'ект первой подозрительности, ваш высокскородь, прямо марка на ем. Он мне, тот суб'ект, так и отпалил: «Чего ждешь у фонаря, красная рожа? Снял собачью шкуру, думаешь предавать рабочий класс?» Вот они какие, скрозь одежду человека видят.

— Ступай!

— Слушаю, ваш высокскородь.

— И пошли ко мне Яичкина.

Неудачник грузно повернулся и вышел. Тимофеев закурил, побарабанил по столу и молча и вопросительно уставился в широкую фигурку, тихо и застенчиво вставшую в дверях. Пиджак рабочего.

— Ну?

— Честь имею явиться, ваш высокскородь.

— Докладывай.

Фигура кашлянула, провела рукой по бороде, одернула стыдливо пиджак, как неприличную одежду, и заговорила тоненьким голоском:

— Кружок собирается за рекой Талкой в праздники. Обсуждают средства к поднятию борьбы против господ фабрикантов посредством действий скопом и врозь, как-то: стачки, сход, демонстрация с поднятием флага и без оного; массовка, то-есть массовое скопление праздношатающегося народа; обструкция — то-есть сажание мастеров в куль и на тачку на предмет вывоза. А также одновременно с сим обращение по рукам нелегальщины, и есть слух, будто бы свежая появилась. По случаю амнистии из-за рождения их высочества наследника престола и милости монаршей еще с тех лет много освободилось, ваш высокскородь, зловредного элементу и интеллигенции, так называемые профессионалы, которые у них на жаловании состоят...

— Все это так,— перебил нетерпеливо подполковник: — все это, Яичкин, так, но ты мне о тех летах не говори, ты фамилии назови, ты квартиры укажи, вот теперь, ты факты, факты...

— Слушаюсь, — невозмутимо кашлянул Яичкин; потом согнул голову налево, точно сам послушал свое собственное молчание, ничего не услыхал и тихо пискнул: — Фактов, ваш высокскородь, нет. Слухи. Собираю слухи. А насчет фактов, как вам известно, филер, обер-офицерский сын, Петр Михайлов Невский. Я ему сообщаю, а он разрабатывает. Дозвольте, ваш высокскородь, позвать.

— Ну, зови этого сына Невского.

— Идем! Вали, ребята! Нажимай! Эй, Акимовна, тебе впереди!

— А что ж, и пойду. Уж я им в рожу плюну.

Толпа черным потоком с криками и ругательствами, потрясая кулаками, ринулась к конторе. Бледный, вихрастый конторщик и за ним мальчик Сережка вбежали первые, панически махая руками:

— Идут! Идут! Всех бить будут! Би-и-ить!..

Конторщики сошли со своих высоких табуретов и сгрудились молча в углу. Китаев сидел за столом, протягивая дрожащую руку к телефону: но было поздно.

— Стой! — закричала Рыжова и вцепилась в рукав Китаева.

— Кто ты такая, что смеешь вмешиваться в мои распоряжения!

— А вот и смею. Запиши в свою книжку: Марья Рыжова, ткачиха. Запиши. А полицию звать не смей.

Сзади Рыжовой все более и более напирала толпа и слышались выкрики. Бухгалтер встал. У него было упрямое скуластое лицо и злые бегающие глаза. Он быстро задышал и вдруг гаркнул:

— Честь имею просить не кричать! Что надо?

— Хороша честь, когда нечего есть, — хихикнул маленький ткач. — Ты лучше увеличь расценки. Вот те и честь! Тьфу! Плевать нам на твою честь.

— Рабочие, обсудив, требуют... — начал Морозов, отставив ногу и спокойно заложив руки в карманы. — Стойте, товарищи, не кричите.

Но в это время из-за его спины протиснулся долговязый, худой, всклокоченный старик и, дергаясь, стал

А в спальнях какая устроена жизнь! Казармы! И стоит над тобой цельная цепь всякого надзору, хозяйских шептунов да наушников: от сторожа к табельщику, от табельщика к приемщику, от приемщика к мастеру, от мастера к конторщику... Тьфу! Некуда плюнуть. На девять-то рублей, кои выработаю, куда я пойду, как проживу? Нечем жить, нечем. Что вы молчите? Будя, отмолчали!

— Товарищи! Я предлагаю потребовать немедленно удаления с фабрики следующих вредных лиц...—Это кричал громко Морозов, размахивая листком.— В первую голову рабочего Яичкина, как заведомого шпиона. Далее, отжимальщика Кириллова — известного наушника, потом — табельщика Расторгуева, известную свинью...

— Браво!— захлопали рабочие. — Читай дальше, Вася!

— Слесаря Гужова за грубиянство и самого их степенство бухгалтера Китаева, который в нас видит только рабочую серую скотинку, который наш главный противник по поднятию расценок и улучшению нашей жизни. Идем в контору!.. И потом, товарищи, как вам известно, — стой, стой, слушай! — три дня тому назад похватали наших лучших вожаков: Сергея Капитонова, брата Тихона, брата старика, и потом Рожкову Марью. За что? Сказывают, письмо Тихона перехватили, а что в том письме? Разве брат за брата ответчик! Мы должны потребовать освобождения арестованных немедленно. Мы их вырвем из когтей. Мы должны добиться увольнения тех мерзавцев, которые отравляют нам воздух на работе, которые притесняют нас свыше меры. Идем в контору! Чего бояться, идем массой!

Яичкин тихо шмыгнул и опять предстал с худым, испитым человеком лакейского вида.

— Что ты, Невский, можешь добавить к тому, что я знаю от этих дармоедов?

— Никак нет, господин полковник, не дармоеды. Знанием и усердием способствуем к обнаружению преступного сообщества, именуемого Российской социал-демократической партией. Ликвидация ее близка, если окажете содействие. Пожалуйте списочек.

Филер вынул из кармана книжку, из нее листок, развернул и, пройдя на цыпочках к столу Тимофеева, самодовольно закатывая глаза и улыбаясь, положил листок на стол.

— Ага! — сказал Тимофеев. — Вот из тебя, вижу, будет толк.

— Рад стараться. Мы имеем в этих делах опыт. 13 апреля у Куваевской дачи решали забастовку калашниковские. Пожалуйте документик.

Филер опять вынул книжку, из нее отгектографированную прокламацию «Ко всем возневанским рабочим» и положил на стол.

— По этому делу через московскую охранку и арестован на станции Ермолино некий Модестов, сын священника и коллежский регистратор.

— Голубчик! — воскликнул подполковник. — Да ведь это было в прошлом году!

— Так точно, хотя и в прошлом, но и для данного времени поучительно, — несколько сконфузившись, пролепетал Невский.

— Так что ты мне голову морочишь! Сукин ты сын, а не обер-офицерский. Ты что? Очки втираешь! Вы

все на службе у них состоите, взятку берешь? А? Взятку!..

— Никак нет-с, взятий никаких, потому и взять не с кого. Помилуйте, чего с рабочего взять! А что с жертвою, не жалея сил и здоровья, с опасностью, потому у них бульдоги-с, и вы, господин полковник, изволите незаконно оскорблять...

— Вон! Пошли вон! Мерзавцы, лгуны, я вас арестую!.. Вон!

Два человека давно исчезли, а известный своей несдержанностью жандармский подполковник еще долго кричал, прикладывая руки к вискам, топал и в вошедшего писаря швырял бумагой.

Так малоудачно протекала в мае 1905 г., несмотря на суровые предупреждения и телеграммы из губернии, просвещенная деятельность жандармов заштатного Возневанска, большого фабричного города.

4. ОКОЛО БАНИ

Дом подрядчика-печника Безрукова был двухэтажный, на каменном фундаменте; был он громоздкий, с крылечками, от времени дряхлый, обшарканный непогодой и людьми; ютилось в нем немало народу. Наверху жили те, кто почище: сам Безруков с большой семьею и в другой половине официанты из трактира «Волна» и всякие торговые люди; внизу жили печники, рабочие Безрукова, жили портные, которые целый день пели песни, и, наконец, в отдельной квартирке ютился с семьею мал-мала меньше Семен Иваныч — «Позолотчик». Семен Иваныч был позолотчиком в типографии давно, еще когда только что окончил школу при

мы, депутация, тре... Тьфу! Жирная свинья! — И Морозов бросил трубку и плюнул: — Сваляли дурака.

— Что? Что он сказал?

— Он мне сказал, сейчас от Гундобина пришлю еще десяток. Вот чорт нас дернул! Гундобин рядом. Провокация это ваша подлая, господин Китаев. Вы ответите!

— Провокация! Выдал! В куль его! — загудела толпа. — Сажай его на тачку!

Громче всех кричал Капитонов, потрясая книжкой, и вместе с ним визжала Рыжова.

— Не выпускай, дружки. Мы этого окуня красноперого проучим. Эй, тащи куль! Тащи!

Маленький ткач нырнул в толпу. Морозов и Капитонов уже держали бледного, озлобленного Китаева за манишку и за руки, а Марья Рыжова захлебывалась от стеснивших ее грудь восклицаний и чувств.

— Конец! Приходит вашему свинскому миру каюк! Всю вашу каторжную решетку разнесем! Всю шатию! Мы до хозяина дойдем! До начальства дойдем! Увидите, подлецы, какое идет время!

— Ура! — загудела толпа, увидев черный угольный куль в руках маленького ткача.— Держи, надевай! Эй, Тихон, облачай архиерея! Постарайся!

Капитонов, с загоревшимися глазами, подхватил куль и разом, осыпав на столе чернотой бумаги и раскрытую книгу, напялил куль на бухгалтера, от страху присевшего к полу. Дюжий Морозов и еще несколько ткачей подхватили на руки добычу и понесли. А маленький ткач сзади кричал в восторге:

стучать по столу костлявыми пальцами и расчетной книжкой:

— Аспиды! Где это видано, у какой такой стране, что я пишу дочери своей письмо, так и так, по семейному положению, а они брата — бац! — ни за что хватают. В чем наша вина, в чем провинность против начальства? Ежели я не чист в работе, ты меня рассчитай, подай мои куколки вчистую, и, значит, воля твоя, ступай, дескать, к Марфутке под свисток... Но в тюрьму сажать не можешь. Не можешь!

И старик, выкинув увесистый кулак, совсем близко и угрожающе нагнулся к Китаеву.

— Позвольте, милостивые государи! — заерзал Китаев. — Но при чем я? Полиция, по долгу службы, арестует Капитонова и в том числе Рожкову, а при чем я? Что я — ротмистр жандармский, пристав, шпик? Я бухгалтер! — и Китаев взвизгнул: — Пожалуйста, звоните полицмейстеру, будьте добры, передайте ему сами ваши требования!..

И Китаев, схватив спасительную трубку, соединил контору с полицмейстером.

— Фабрика Баулина. Ваше высокоблагородие, вот тут из конторы с вами желает депутация переговорить самолично. Пожалуйте.

Морозов решительно взял трубку.

— Депутация от рабочих. Мы требуем... Что? Что такое?..

И Морозов обернулся к Китаеву.

— Он спрашивает, сколько у вас казаков.

— Пять человек

— Пять человек, — крикнул Морозов в трубку. — Стойте! Это не суть важно. Слушайте! Что? Я говорю,

фабрике; тогда он получал за эту работу 1 рубль 50 коп. в месяц. С тех пор немало утекло воды в разноцветной реке Уводи, и теперь у Семена Иваныча есть свой позолотчик — рыжий Петька. За это время Семен Иваныч побывал в переделках; ученик дяденьки Афанасьича Семен Иваныч посидел и в тюрьме, был однажды избит казаками на массовке и научился ловко обделывать партийные дела в подполье. А все же близкие Семена Иваныча звали по-старому — Позолотчиком.

Жили еще в доме Безрукова во всех квартирах и щелях многочисленные клопы, но о тех что скажешь?

Дом стоял на удобном месте, на обрыве, над рекою, на углу большой гулкой улицы, которая спускалась к мосту. В другую сторону шел глухой переулок с длинным, длинным ветхим забором. К дому можно было пробраться с трех сторон: с улицы, из переулка и со стороны реки по тропкам, через небольшой пустырь, мимо бани. Баня эта была, приткнувшись сзади сарая, за липами, старенькая, на один бок. Она была так неуютна, что жильцы, и особенно сам хозяин, предпочитали ходить в торговые. Но Семен Иваныч топил баню по пятницам, через неделю; сам вместе с Петькой носил воду и пускал париться знакомых за пятачок. Топили баню и портные, по субботам, но редко, потому что больше любили в этот день выпить, пели песни; постоянно спрыскивали в «Волне» новые костюмы вместе с заказчиками. Выходило так, что Семен Иваныч больше других владел старенькой баней.

Сегодня, в майский вечер, орава ребятишек долго гомозилась на дворе, играли в палочку-выручалочку и бегали с фуражками и платками за майскими жуками.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ библиотека
БИБЛИОТЕКА ПРАВДЫ

Потом хозяин из верхнего окошка крикнул им козлиным голосом: «Цыц, пострелята! Будет ли на вас угомон!..» И большой, заставленный разными предметами двор стал затихать. Хозяина боялись. От Семена Иваныча тихо и скромно пробегали люди в баню, с узелками подмышками: это были пятачки, как их звал Безруков. Впрочем, если бы кому смотреть, можно бы уследить, как прошмыгивали в баню люди и с других сторон: по тропкам от реки и из переулка.

Темнело. От реки тянуло крепкими фабричными запахами. На пустыре, ближе к забору, который уходил в глухой переулок, сидел длинный человек в картузе, притулился: мимо него не ускользнул ни один охотник попариться. А сам он был мало заметен.

Только когда со стороны переулка прошаркал сутулый чудаковатый человек, в очках, в старой помятой шляпе, тот приметил наблюдателя, тихо прошел мимо неизвестного и проговорил, глядя в сторону и в землю, будто грибы собирал в такое неподходящее время, в таком неподходящем месте:

— Сидишь... Ну, ну, старайся, голубь.

— А вы, Отец, чего в шляпе форсите?

— Будешь форсить. Не нравится мне это место. Пора кончать. Чую нечистоту. Теперь засыпаться очень будет ни к чему. Ну, ты, голубь, не спи; в случае — свисти.

И Отец прошаркал в баню.

Скучно сидеть под деревом, около забора, в сумерки и ничего не делать. Но у Лакина особая голова: он сочиняет новые песни.

Мы за право, за свободу,
Против гнета сил проклятых,

Мы за бедных — на богатых,
За рабов мы — на царя...

И очень хорошо выходит. Жаль, что нельзя попробовать спеть на какой ни то мотив. Даже и не заметил, как вдруг до плеча дотронулись пальчики.

— Ах, ты!.. Как мышь, ходишь; вот бы тебе, Петька, в филерах быть, дал бы тебе царь награду... Ну, что? Петька присел на корточки и зашептал:

— Двои каких-то слоняются. Коло дома два раза прошли. Один большой, другой тонкий. Шарят глазами по окошкам.

— Чай, к портным. За винным делом.

— Не, я знаю. Не таковские. Они теперь в переулок свернули.

— Стой! Псс!.. Петька, ногой не хрустни.

С той стороны забора послышались голоса, один бас и другой тягучий, с руладами. Около забора парнями была устроена скамейка: две плахи и длинная доска. Сели.

— Слушай.

Бас говорит:

— Я его, сутулого сухаря, очень хорошо заприметил. Очкастый такой, идет, ровно все нюхает. Только что шляпу надел. Он мне намеднись: «Ты,—говорит,— хотя и снял собачью шкуру, а я тебя, предателя, насквозь вижу». Так и сказал. В другой раз, будь я в форме, я бы ему показал, какая на мне шкура, а тут пришлось смолчать. Пока я за рабочего, убить могут. Вот господин подполковник ругались, а мы, однакож, выследили, в каком он доме.

— Ты, Блохин, опиши мне его лучше.

— Как тебе описать! Борода и вид, будто начетчик какой. Вот бывают кляузные аблокаты, что по трактирам дежурят. Ну, вот, будто из этих. А я уж вижу — сицилист. Меня в обман не введешь, я знаю. Напрасно господин подполковник ругались...

— Ты сиди, Петька, — шепнул Лакин, — а я обойду в переулок. Не бойсь. Как я стукну в забор, так ты свистни.

И на цыпочках Михайла скользнул во двор и на улицу.

Слух был пущен откуда-то, от своих, что из губернского города прислали опытных жандармов, определили их по фабрикам рабочими, чтобы те втирались в кружки и следили за беспокойным элементом среди рабочих. И Лакину было лестно определить, что за физии у этих подлецов.

Две фигуры чуть-чуть были заметны у забора, один с папироской. На скамейку подле сел парень, с орлиным носом. Впрочем, нос этот михайлин мелькнул только тогда, когда сказал:

— Дозвольте закурить?—и пыхнул нахально около носа испитого с рябинками лица, похожего на лакейское.

— Закуривайте, с нашим удовольствием.

И сразу было заметно, как два эти человека оробели — в глухом переулке, перед напористым, нескладным парнем.

— Что-то я где-то вас видел,— пристал Лакин к толстому большому человеку, который даже в испуге отодвинулся от него.

— Гора с горой не встречается, — протянул ехидно другой,—а человек...

— Ну, да, конечно. Не служили ли мы вместе с вами во Владимирском жандармском управлении? Ваша фамилия?

— Да что вы, бог с вами, ничего подобного.

— Поцелуйте преподобного.—И Михайла развязно ударил великана по плечу. — Дружище, чего врешь! Идем пиво пить.

—Мы можем вам спустить ваши фамильярности,— сказал опять испитой, похожий на лакея, — если вы заплатите за пиво.

— Заплачу. Я рад земляка встретить. Я сам в свое время голубой мундир носил.

Трое встали.

— А не молоды часом будете? — спросил большой человек сердито. И вдруг рассердился совсем: — Что пристал! Ну, снял я мундир, потому хожу в этот дом к сударушке одной. А она не терпит мундиров. Вот пристал!

— Ха-ха-ха! — закатился Лакин. — Хороша же ваша служба, что ее знаки даже прекрасный пол пугают. Это вроде собачьей шкуры.

— Пойдем, — сердито буркнул бас тонкому человеку.

— Постойте, я вас провожу. Может, все-таки пару-другую калинкинского выпьем, а? А я здесь недаром слышал, собираются местные парни вам ноги перебить.

И при этих словах Лакин локтем стукнул в забор.

Свист послышался не сразу. Видно, Петька заволновался или плохо умел свистеть. Но все-таки свист глухой, отрывистый раздался в темноте.

— Идем, — заторопился большой человек.

И оба сунулись в темноту переулка.

— Так ведь и я с вами! Компанейские люди, страсть люблю! Куда спешишь? — преследовал их Лакин, прыгая через какие-то препятствия, камни, тумбочки. — Куда спешить!

Но оба прибавили ходу «вперед, до полного», и, вынырнув из переулка, повернули, не оглядываясь, к мосту, все поддавая пару, пока около моста не заметили полицейского, застывшего на своем посту.

— Вот пристал, банный лист... — вздохнул, наконец, Блохин.—Нет, буду проситься опять в губернию. Народ здесь фабричный, оторва, озорной народ. Ну их, к лешему!..

5. СОВЕЩАНИЕ В БАНЕ

Молодой народ — все боечь...

Авенир Ноздрин

В бане было уже большое общество, когда вошел Федор Афанасьич.

— Опоздали, Отец.

— Да шпики тут на хвост насели. Насилу скинул.

Окна бани были плотно прикрыты досками изнутри. На заплесневелом полу в глиняном подсвечнике горела свеча, горела тускло и пугливо. Сидели на полу и на лавке. Дарья Ивановна, ткачиха средних лет, с твердым взглядом, сидела на крошечной скамеечке. Сам Семен Иванович, щупленький, замухрышка, но вьюн и кипяток, сидел на деревянной шайке, на которую положил дощечки. Тут были среди других молодые, горячие — Уткин (Станко), Веселов, Варя Чистова — портниха, Морозов — бывший удалой кулачный боец,

охотник показать себя в буе. Недаром дали ему кличку — Ермак. Рядом с ним сидела Клавдия Кирякина, за свое удальство имевшая кличку — Мишка. Клавдия Ивановна — бабий командир — предводительница женок — была организатором ткачих всего Возневанска, в ее руках числился «женский район». Около двери сидел «Лапа» — Николай Николаич, правая рука Позолотчика. Из темного угла, рядом с умным, характерным лицом потребиловца Грачева, горело большими, глубокими глазами худое лицо Дунаева Евлампия. Он и начал говорить, как только около свечки, рядом с председателем Семеном Иванычем, уселся на полу Отец. Из уважения оратор лишь подождал, пока Отец протер очки и смахнул со лба капли пота.

— Как вам известно, товарищи, мы с Николай Павлычем Грачевым не всегда с вами идем в ногу. За это Отец и Семен Иваныч не раз и тузили нас. Хотя бы словесно. Мы у вас, знаем, на счету особом. А все-таки и наши взгляды со счетов нельзя скинуть. Нельзя. В наших взглядах, так сказать, вращательная сила массы. Мы — маховое колесо. Мы, экономисты, как и вся рабочая масса, больше живем своими близкими интересами, кровными, а если хотите, то и шкурными — плата, условия работы, невзгоды быта — и этим больше, чем высокой политикой. Ваши прокламации пока еще пугало для рабочих, они чураются их. Они говорят: какая нам свобода, главное — мы без ужина ложимся, и одежда у нас ветхая.

— Неправда! — резко воскликнул Уткин. — У нас давно научились хозяина и казака вязать одной веревкой. Зачем, Евлампий, брешешь!

— Стой, Ваня, не горячись. Еще от казака до рабочего парламента, до республики, рукой не достать. Я так думаю: сдержать напор рабочих, как в феврале, теперь нам не удастся, да и не след. Но не след нам и забегать вперед, обострять борьбу политикой. Если мы на конференции проведем стачку, если пустим ее дружно в ход, то и отлично. А там события сами побегут, лишь бы продержаться. Но не накаляйте атмосферу раньше времени. Не срывайте дела излишней горячкой. Дело само подойдет, как тесто. Зачем надо, чтобы самый темный рабочий подозрительно чуял, что его в спину толкают? Пусть сам идет. Сам в борьбе, как в школе, глаза открывает.

— Не такое время теперь, когда революция на носу, — лениво и медленно, точно думая, проговорил Морозов. — Наш брат рабочий не оглядывается, как раньше. Он ищет, кто бы его вел вперед, да поскорей. Давно ли и я с портретом Николашки ходил, как японскую войну начинали, «Боже, царя» тоже горлопанил, а теперь что?.. Возьми-ка меня. Теперь нам надо об оружии думать, мы уж дошли, вот какие-такие из нас экономисты стали... Да и ты, Евлампий Александрыч, чересчур себя пригибаешь: какой экономист столько в тюрьмах сидел? На деле увидим, на что нас хватит. Нечего спорить: об'являем стачку — и вся недолга.

— Ну, ребятушки. Дискуссия закрывается, — быстро, торопливо заговорил Семен Иваныч, привстав с шайки и поводя над свечкой руками, точно дирижируя. — Говорили, говорили, да прямо в пекло угодили... Чего спорить! Созываем общую конференцию в лесу, как условлено. И линию свою вести. Да всех опове-

стить. Вот, детки, наша первая прокламация. Первый блинок. Дозвольте огласить?

— Просим!

— Читай, Лапа.

Лапа — Николай Колотилов, почему-то сильно волнуясь, точно он был автор, вынул бумажку, подсунулся ближе к свечке и стал читать проникновенным, четким шопотом:

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Нехватает сил больше терпеть. Оглянитесь на нашу жизнь, до чего довели нас наши хозяева. Нигде не видно просвета в нашей собачьей жизни. Довольно. Час пробил».

— Тс... Стой! — сказал Уткин, встрепенувшись. — Слышите, свист?

На минутку замерли.

— Почудилось. Ничего нет. Читай,—сказал Морозов.

— Читай, Лапа.

«Не на кого нам надеяться, кроме как на самих себя. Пора приняться добывать себе лучшую жизнь. Бросайте работу, присое...»

В этот момент четыре звонких удара в дверь заставили всех вздрогнуть.

— Четыре, значит, свои... — проворчал Афанасьич и, поднявшись, подошел к двери из предбанника.

— Кто там?

— Дяденька Афанасьич, открой.

— Ты, Петюшка? Чего ты гомонишь?

Крючок отдернулся, и испуганные глаза маленького позолотчика из темноты шелестящей ночи забегали по собранию.

— Идите скорея. Тут дело вышло. Два этих из полиции Михайлу Иваныча в переулок увели. Я свистел. Чего ж не шли?

— Где? Кто? Какие два?—посыпалось на Петьку.— Говори толком. Не путай. Куда увели?

В это время из темноты, из переулка долетел веселый голос Лакина:

Мы—фабричные ребята,
Мы—фабричные ребята,
Мы—фа-бри-чны-е ребята,
У нас кудри, кудри-вата,
У нас...

Все стояли кучкой около бани, под липами.

— Ишь, прокурат,—проворчал Отец, прислушиваясь к песне:—Только мальчишку зря взбаламутил. Говорил ему: не вольничай, работай по директивам, так нет...

Мы на то кудри кудрили,
Мы на то кудри кудрили,
Мы на то кудри кудрили,
Чтобы девушки любили
Нас...

6. ПИСЬМО В МОСКВУ.

Управляющий фабрики торгового дома «Н. Гундобина Сыновья», Илья Петрович Замуравкин был маленький седенький старичок старого завета. Всегда в сюртуке; черненький галстук все тот же—лет десять. Начал службу с мальчиков в амбаре; трудом и угод-

ливостью дошел до степеней высоких. Теперь имел два дома и дачу. Самое большое и радостное в последний год было для Замуравкина то, что сын Митя, ненаглядный Митенька, выходил в люди: был студентом медицинского факультета. Сына воспитывал Илья Петрович в страхе божием, и Митя был тихий и угодливый, как и папаша.

С народом Илья Петрович был строг и неумолим, непочетчиков не терпел, копейку хозяйскую берег пуще глаза. Сам довольствовался малым, разносолов не любил и другим служащим баловаться тоже не давал. Кабинетик его в конторе, с большим портретом основателя фирмы, был все такой же, как и много лет назад: со стеклянной переборкой, дорожка в три шага, расхлябанная мебель, стол, заваленный разным хламом.

Сегодня Илья Петрович писал усердно мелкими бисеринками в Москву, старшему Гундобину:

«Милостивый государь,

Павел Николаевич!

В день Вашего ангела имел честь поздравить Вас телеграфно с пожеланием много лет здравствовать и в делах иметь успех неослабный, что письмом подтверждаю.

Пишете Вы, что в Москве у Николая Сергеевича Зубкова живет в горничных дочь ивановского ткача Тихона Капитонова, и та дочь получила от отца письмо с разными намеками и с извещением, что в середине мая рабочие забастуют и обязательно по всем фабрикам. Насчет сего Капитонова

мною произведено дознание, где оный ткач состоит и что за человек будет, и дело по тому дознанию я вручил секретно подполковнику Тимофееву, который, между прочим, просил Вам кланяться.

Что касаемо слухов, то должен, нимало не умаляя, присовокупить, что с народом нет никакого сладу. Дерзкие слова и поступки возросли сверх меры. Взыскания и штрафы вызывают всяческие нарекания. На-днях в спальнях сорвали мое об'явление, по коему воспрещаю вводить родных в спальни, кухню и столовую, приносить напитки и являться в пьяном виде. В книжках нашей фирмы мною разработано 43 случая неисправной работы и нарушения порядка со штрафами от 5 копеек и выше, и теперь есть крикуны и политиканы, кои не стесняются кричать, что те книжки и вместе со мною надлежит в огонь бросить. Вот до чего обнаглел народ!

На той неделе в наших корпусах за машинами были раскинуты злонамеренным элементом листовки, и те листовки охотно подбирали, читали и прятали по карманам. Говорили: «Есть люди, кои за правду стоят и правду пишут». Розыски производили, но виновных не нашли.

Когда небезызвестный Вам ткач Асинкрит Кукин сказал: «Что, ребята, давайте укажем партийных, нам за каждую баранью голову пятерку дадут», то сего здравомыслящего человека посредством темной, спаси, Христе, довели до бесчувственного состояния.

Работница Белокринкина облила горячим чаем ткацкого мастера Егорова, якобы по случаю неприличного того поведения, а я думаю — просто так.

Пробовал-было, батюшка, милостивейший государь Павел Николаевич, вступать с ними в об'яснения и доказывал, что работать теперь надлежит неусыпно, что надо сокращать нерабочие часы, но как к стене горох. Я им говорил, мол, век-то жить вам придется с господами фабрикантами, а не с рьяными агитаторами, и к делу надо отнестись серьезно, так куда там — ничего в резон не принимают.

Впрочем, Вы, Павел Николаевич, в уповании на Христа, не извольте шибко расстраиваться и волноваться, берегите свое здоровье и глядите спокойно грядущим течениям; рабочих у нас много, а хозяин Вы один. Как-никак мы эту канитель и без Вас сведем к одному, тем более по фабрикам ставятся казаки. У нас пока один десяток, и ходят два офицера, благоволите сообщить, как им выдавать. Аккуратно обедают и ужинают. Еще будет у нас по слухам, взвод солдат с фельдфебелем, а я хочу покорнейше просить, чтобы с офицером.

С истинным почтением
Ваш верный слуга
Илья Замуравкин».

Илья Петрович перечитал письмо, снял копию в копирной книге, не спеша заклеил конверт, сделал надпись «срочно» и отдал конторщику пометить в

исходящую и отправить на почву. Потом потер руки, перекрестился, выпил стакан чаю с булочкой и с сахаром в прикуску и позвонил Петра.

Петр солидно поднялся снизу, откуда доносился глухой шум; был Петр во фраке и белых перчатках, сорочка его топорщилась. А на фраке была пришпилена медаль. Он смотрел на управляющего сверху вниз.

— Ну, как, Петруха, наши военные гости?

Петр снисходительно ухмыльнулся в бороду.

— А что ж, пьют за их здоровье. Уже в градусах высоких. Ихний самый есаул произнесли речь. Боюсь, Илья Петрович, как бы дебошу случаем не было, потому у всех оружие, а от напитков дурман. Да грубы очень. Коньяку еще прикажете давать?

— Давай.

— Шампанское все сглотали. Требуют музыку. Как понимать?

— Пошли за гармонистом.

— Слушаю.

— Еще вот телеграмму Павлу Николаевичу тут же составили, просят за счет фабричный отправить. Как понимать?

— А ну, неси.

Петр, блистая лысиной, солидно спустился по лестнице, и слышно было в раскрытую внизу дверь, как пахнул, ворвался пьяный гул, звон посуды и нестройная песня. На подносе Петр укоризненно принес бумагу, облитую вином, на которой Замуравкин прочел:

«Поздравляем днем ангела, желаем благополучия.

Признательные донцы».

— Что ж, и очень хорошо. Всячески приветствовать. Пошли немедленно. Да выставь им еще коньяку, и нечего тут раздумывать. Ступай.

И Илья Петрович, довольный, откусил булочку и потер руки — сам он не пил иных напитков, кроме чая, и довольствовался малым.

7. ПУТЕШЕСТВИЕ НА ТАЧКЕ

Штрафы, штрафы, как тяжко вы ложились,
Каким вы бременем давили нашу грудь...

Пав. Кузнецов

В субботу на фабрике Баулина по-особенному гудел людской муравейник. Из уст в уста передавалось:

«Сегодня явочным порядком кончать в 6 часов. Слышь! В шесть выходи на двор!»

В начале второй смены толпа сгрудилась во дворе, и ткачиха Рыжова со скамейки кричала громко; звонкий голос ее отскакивал от корпусов:

— Штраф! Везде штраф! Перевернешься — штраф, недовернешься — штраф. На десять минут опоздал — опять тебе штраф.

— Верно, Акимовна, верно, — гудели ткачи и ткачихи.

Первый раз Рыжова была оратором, платок сбился, раскраснелась вся. Морщины разгладились.

— Подплетила — штраф, недосека — штраф, пятнышко — штраф. Да что это — фабрика или живодерня? За простой машин, небось, не платят, обращаются грубо, к девкам мастера пристают. Что это, я говорю?

— Подымай выше! Выше подымай, на белые! Он честь, сукин сын, любит. Мы ему коляску заготовили... Сажай, сажай его на первое место. Сиди, не ворошись... Сиди, обормот, не то — крышка!

— Батюшки мои, повезли! Как барина, повезли! — кричали ткачихи и бежали с той и другой стороны.

— Го-го-го!.. — гудела толпа, не поспевая за Капитоновым, который, выше других на голову, катил вдохновенно тачку середняком; с боков хватались за ручки другие, но больше мешали, отталкивая друг друга.

Конторщики вверху облепили окошки. Сторожиха у ворот, из-за спины мрачного сторожа, с бляхой на картузе, вздыхала:

— Эт что!.. Вольшина какая, царица небесная. Эт что!

— Ай, баулинские!

— Отворяй ворота, эй!

Сторож, потупившись, распахнул ворота, и толпа с гиком вырвалась со двора. Впереди всех белела седая, всклокоченная голова Тихона.

— В канаву его! В канаву!

Но у канавы произошла заминка. Подымая пыль и желтея лампасами, скакали наперерез казаки: они чуяли легкую лихую победу. Раздался неистовый визг женщин, и испуганная толпа шарахнулась; толкая друг друга, спотыкаясь, рабочие откатились опять в ворота. Брошенная тачка кувырнулась набок, куль грузно свалился и, шевелясь, стал обнаруживать признаки жизни. Морозов успел еще выругаться и нагнуться, чтобы поднять камень, но швырнуть не пришлось. Ворота захлопнулись, и вдвоем — Капитонов и Морозов — остались около тачки.

— Тихон, брось! Тихон, спасайся! — крикнул Морозов старику и застучал в калитку.

Но калитка была не заперта, и оба, вбежав, засунули истово засов перед самыми мордами лошадей. И тут облегченно вздохнули.

— В корпуса! В корпуса! — ревела толпа. — Спасайся!

А вверху в окна гикали и улюлюкали конторщики, и кто-то швырял из окна скорлупою от яиц.

— Никого не называть. Спрятать, кто был на глазах. Запирай двери!

Фабрика обратилась в крепость. Рабочие из второй смены встали к станкам, как будто бы ничего не случилось. Но кучки свободных висели по окнам и живо обсуждали положение. По двору раз'езжали казаки, гарцуя и лихо заламывая на окна фуражки с желтыми кантами, потрясая пиками и отпуская по адресу рабочих площадную брань. Фабрика своим безостановочным гудом угрюмо крыла выкрики с той и другой стороны. Казалось, красный корпус дрожал от негодования.

— Эй, чуб! Нажрался хозяйского овса, на нас, скотина, ржешь.

— Японца бы в свое время колол этой палкой, эй, орясина! Больно храбер на безоружных. Что зубы оскалил, леший?

В конторе позвонил телефон, и в трубку заскрипел старческий голос:

— Кто говорит?

— Контора Баулина. Помощник бухгалтера. Что будет угодно?

— Это я, Илья Петрович, от Гундобина. А где Китаев?

— Их нет-с, Илья Петрович.

— Как так? Почему нет?

— Они расстроились, домой пошли.

— А что с ним?

— Их.... как бы вам сказать... Наглый народ, Илья Петрович.... Ни за что человека обидят...

— Да что с ним? Спаси, Христе, уж жив ли он? Толкуют тут нивесть что.

— Их на тачке вывезли, а больше ничего. Живы. Спасибо вам, Илья Петрович, за поддержку. Не подоспей ваш десяток, я и не знаю, что бы...

— Спаси, Христе, спаси, Христе... А вот наука вашему управлению: скупитесь на казаков, скупитесь. Сколько выдаете, а?

— Не могу знать, Илья Петрович.

— То-то, не могу знать. Скажи Китаеву, чтобы завтра позвонил. Теперь — друг за друга, и все живы будем. Ну, спаси, Христе...

— Всего хорошего, Илья Петрович. Премного благодарен. Будьте здоровы. Не забудем...

К шести часам фабрика волновалась: как итти по спальням и домой? Казаки, и в большем числе — видимо, полицмейстер постарался, — все еще раз'езжали. Потом вдруг схлынули, но все знали, что это военная хитрость. Молодые ткачи набрали в карманы болтов и гаек. В толпе женок и в другом конце, в кучке молодых ткачей, стоял веселый хохот: это Марья Рыжова надела штаны и пиджак Морозова, его картуз,— и вышел парень залихватский, хоть куда! Морозов надел ее юбку и кофту, подвязался платком. Лицо у

него было круглое, безусое, сам он был парень плотный, в теле, и женка из него вышла подходящая и смазливая. Его щипали и теребили. Но одно было не до смеха: куда деть старика Тихона? Узнают — укажут наушники, зашибут его казаки. И фабрика волновалась. И вдруг тихо, неведомо как, вопрос разрешился: исчез старый долговязый Капитонов, и нигде его ничуть, как сквозь пол провалился. Некоторые ухмылялись в ус, помалкивали: «Тайна велика есть. Нишкни. Исчез Капитонов — был, да весь вышел».

Тогда толпа в жутком молчании повалила на двор. Женщины жались к ткачам, шептали молитвы, пока одна басом не прогудела: «Эх, Маруся! И кого я боюся?» И сразу, будто разрядилось, грохнула смехом толпа и так, смеясь — была, не была! — потянулась в узенький проход калитки. С той стороны шпалерами молча стояли злобные казаки, готовые выхватить зачинщиков. Но их не было в людском потоке, проходили не те, проходили чумазые, щуплые, драные, мрачные, веселые, в блузах, в пиджачишках, смешливые, трусливые, с молитвой,— и все не те. Напрасно шарили глаза табельщиков и конторщиков: проходили, но все не те. В толпе не видно было Капитонова, Морозова и Рыжовой. Даже маленький ткач, который смел плевать в присутствии начальства и бегал за кулем, даже он, как в воду канул.

— Чудеса в решете!..— вздохнул табельщик Расторгуев.— Закинул сеть, а рыбка ушла. Ничего, значит, не поделаешь. Ты хитер, а бестия — она тебя хитрее.

Когда толпа баулинских ткачей отошла от ворот и повалила по улице, сливаясь с потоком гундобинских,

тоже явочным порядком окончивших в шесть, грянула песня, дразнящая и насмешливая:

Нагайка ты, нагайка,
Сильна в стране родной,
Романовская шайка
Царит тобой одной...

Но песня вспыхнула и затихла, и поток людей разбился по улицам и переулкам, рассыпался на маленькие возбужденные кучки.

8. УВАЖАЕМЫЕ

Собрание заведующих фабриками под председательством Замуравкина продолжалось битых четыре часа. С непривычки каждый тянул свое, и никто никого не хотел слушать. Окна прикрыли, так как шум усилился, а дело секретное. Вопрос стоял: как бороться с рабочими, которые насильно удаляют администрацию. И долго не могли сдвинуться с места.

— Уважаемые! — кричал, махая сверху вниз по очереди той и другой рукой, Павел Катушкин от куваевской мануфактуры, кругленький, упитанный человек с бюрократическими бакенбардами. — Дозвольте вам доложить: в Москве образовано общество для содействия русской промышленности. Оно выделило комиссию для борьбы с забастовками, сия комиссия желает осведомления о всех событиях, где они будут, о всех требованиях рабочих. Оная комиссия, дозвольте обратить ваше внимание, уважаемые, советует, сколь возможно, не делать никаких уступок. Никаких! Если бы даже были и угрозы. От уступок твердо уклоняться.

Рабочим за прогульное не платить. Никаких прибавок, ибо прибавка даст лишнее оружие агитаторам. Прибавками испортишь все дело. Далее. Перейду к вопросу об администрации. У нас, скажу так, составили рабочие списки, кого-де уволить, неугодны, видите ли, руку хозяина держат. Хорошо. Вот некоторые из мастеров к рабочим, шапки, значит, сняли, унизились: нельзя ли как на мировую. Так те что им говорят? «Идите, такие-сякие, с глаз долой. Рожи ваши надоели, глядеть противно». Вот, уважаемые, к чему слабость приводит. Ты ему поклонись, а он тебя сапогом.

Собрание загудело:

— Позор! Волю забирают. Они и нас в порошок сотрут. А что власть смотрит! Что власть!

Катушкин, раскачиваясь, продолжал:

— А вот еще пример. Этот пример, как мы, администрация, трусу празднуем, как раньше времени бьем тревогу и лишние козыри даем в руки рабочим. Вот, уважаемые, как было дело на фабрике Маракушева, дозвольте вас посвятить...

— Я просил бы частных случаев не касаться... — поднялся благообразный старик, управляющий Маракушева, быстро моргая глазами.

— Сядь, сядь, Тимофеич! — закричали со всех сторон. — Не мешай!

Тимофеич уныло сел.

— Итак, продолжаю. Должен вам сказать, уважаемые, куль и тачка наяву и во сне мерещатся администрации Маракушева...

Тимофеич опять встал, но его потянули сзади за сюртук.

— Все, что напоминает куль, наводит панику на управляющего, на бухгалтера, на механика Маракушева...

— А ты сам не сидел в куле, так и не смейся. Больно горазд чужой стыд размазывать, хлопотун! — крикнул кто-то яростно из задних рядов.

— Уважаемые! Если вам не нравится...

— Говори! Говори! Говори, Катушкин! Не бойсь, Павел Иваныч, свои, чего тут!

— Так я продолжаю, уважаемые. Ткачиха этой фабрики, Марья какая-то Почкина, во время работы, видите ли, за станком расщипывала небольшой лоскут рогожи. Ее увидал конторский мальчик и доложил в контору: так и так, Почкина шьет у себя за парой рогожный куль. Контора — в панику. По телефону у полиции просят помощи. Прибывает отряд во главе с полицейским надзирателем Гендрихсоном. «Отец родной, — молят его, — защити: ткачи готовят куль, ткачи уговариваются вывезти администрацию в тачке». Суд да дело. Находят Почкину. «Ты что, сучья дочь?» «Я — ничего».— «Ты что из рогожи делала?» — «Батюшки, да я мочалку для бани расшиновала!» Вот, уважаемые, наглядный случай, как мы сами, по своей дурости, рабочих в соблазн вводим.

Собрание смеялось, и Тимофеич что-то кричал, возражая. Но все-таки от дела были далеко.

Наконец, встал Илья Петрович.

— Время идет, и сколь мы те или другие случаи не перебирай, от этого не легче. Вон вчера Китаева баулинского вывезли. Ну, и что! Одним больше, одним меньше. Дело надо делать, вот что. Не то, спаси, Христе, так вожжи ослобоним, что и нас с козел.

А? Неправду, что ли, дружки, говорю? А я думаю, и нам надо без простинки, посмышленней быть. Вот я всю ночь думал и придумал. Аресты нам пользы не дадут. Тут вся склока пойдет на нас, напором. У рабочих наблюдается спайка, надо их, значит, разнять, ослабить. А как это сделать поумней? Надо составлять свои группы из рабочих, понимаете? Меж теми и другими надо сеять вражду. Так, чтобы одна часть за, а другая против. Против разных там депутатов, против зачинщиков и горлопанов, чтобы от тех благонамеренных шли свои списки, свои требования: убрать таких-то вожаков, убрать зачинщиков, тех, кто политикой занимается. Пусть указывают, кого арестовать. Вот, когда такая буча вспыхнет, от рабочих же, тут администрация свой голос может иметь, тут и полицейская власть, коли умеючи, в ту бучу может масло влить. Вот как дело вести тонко! Клин клином вышибать. Верно ли я говорю?

— Верно! Молодчага Петрович! Пиши! Выбирай комитет, чтоб ту мысль разработать. Учиться заново надо, головой кумекать. Выбирай! Записывай! В наше да время да с оголтелыми нашими управлять — не лапти плести. Наука!..

Шумели, как встревоженный улей. И до позднего вечера их учил и наставлял, как дело вести умненько и без промаха, тертый калач, матерой вожак, Илья Петрович Замуравкин. Вид у него, у маленького, был елейный, ласковый, но твердый, и все, толпясь, благодарно жали ему руки. Но у всех все-таки были тревожные, вопрошающие глаза.

Туча наползала на город Возневанск, и телефоны всех фабрик в те дни, как стрижи перед грозою,

метались, звенели, взывали, спрашивали друг друга: «Ну, как? У вас как? Что новенького. Так что же делать?..» И телеграф в те дни из Возневанска в Москву и обратно без отдыха лепетал и тараракал в поисках хозяйского совета: «Что делать? Что делать?» И в жужжании ленты и в нервном дрожании и постукивании телеграфного язычка тянулась и развертывалась тревога, хозяйская тоска и опаска... Курьеры с легкой сумочкой и легкой поступью разносили эту тревогу, запечатанную в маленькие бумажки, по всем конторам: «Пожалуйте, телеграмма!» А тут в эту музыку завертелся и вклинился еще губернаторский властный голос недреманной губернии: «Что у вас? Готово ли у вас? Нужны ли войска? Сколько? Сколько?..» И острый пишущий кружочек телеграфа торопливо трещал и выколачивал: «Прислать... прислать... батальон... батальон...» Впрочем, это было уже вполне секретное.

Белокурый телеграфист Витя Ласточкин, большой специалист на семиструнной гитаре, даже он часто уставал в своей роли маленького центрального полководца, и, откинув непослушные волосы, падавшие на точки и тире, даже он восклицал в изнеможении:

— Фу-ты, ну-ты!.. И что их так лихоман разбирает? Пошла писать губерния...

9. МАЙСКАЯ НОЧЬ

Знаем мы, что опасной игрою
В нас расцвела весна...

Ив. Шувалов

— Лапа, знаете ли вы украинскую ночь? — сказал посреди пустой улицы Миша Лакин, намазывая стенку

колодца клейстером из маленького ведерка.. — О, вы не знаете!..

Но тут Миша запнулся. Из-за колодца вынырнул небольшого роста юркий человек, по костюму рабочий, и остановился, молча разглядывая обоих.

— Прокламашки наклеиваете? — наконец весело спросил он: — Ай?

— Скрижали священного писания от апостола Марка, аж чертям будет жарко... — невозмутимо ответил, почти пропел Лапа, разглаживая по стенке листок широкою ладонью.

Не за эту ли внушительную ладонь и получил он кличку — Лапа?

— Не Марка, а Маркса. Ошибочка маленькая вышла. Прочесть можно?

— Грамотный? Для таких и писано. Читай, коли при луне можешь.

Маленький человек чиркнул спичку, пробежал одну строчку, спичка потухла, и человек хихикнул:

— С нас довольно. А дальше мы сами знаем. Ну, земляки, давай бог удачи! Как-никак, пожелать спокойной ночи.

И он, как появился, так же неожиданно юркнул в темноту. Облако заволокло луну. Колодец, бумажка и улица спутались, слились в одну черноту. Где-то близко застучала, залопотала четкая колотушка сторожа: «туки-туки! туки-туки!..» Она болтала, захлебывалась и приближалась с насмешливой угрозой.

— Скажет или нет?—спросил Лакин, поставив выжидательно ведерко.—Он в темноте меня не узнал. Это баулинский.

— А чорт его знает! Как будто свой.

— Ну, свой не свой, погоняй, не стой. Давай, Лапа, ходу.

И Лакин, прихватив ведерко, быстро зашагал по улице.

Площадь. Собор. Здесь еще толпится неугомонная молодежь. Ухажёры грызут семечки. Визг, смех. Отсюда дует мягкий, как пух, ветер. Внизу залегли в туманы город и река. И чего праздным людям не спится? Иль и в самом деле майская ночь так хороша? Луна катится округло, бесшумно; как мяч, молча прыгает она по облакам, по ухабам, вниз, вверх, вниз, вверх... Тень от собора изломилась, закапризилась, как пьяная. И внизу едва-едва видно с горы сквозь марь и мглу — трубы фабрики; они, как бестолковые великаны, подпрыгивают на одной ножке.

— Площадь надо обойти. Эти молодые — не наши: приказчики, конторщики. Наши на Ямах да в Завертяихе, на окраине. И то, поди, больше спят: С жиру не бесятся.

— Лапа, теперь к Куваевской спускаемся?

— Спускаемся...

Около моста, на столбах, на виду наклеили пару. На воротах фабрики. По длинному забору несколько штук, на выбор. Скользили, как тени; и все шмыг, шмыг — вперед.

Вдруг из переулка высыпала толпа парней, пьяные голоса. Лапа и Михаил прижались в темноту, в уступчик, около дома. На той стороне около забора парни остановились; один перебрал лады гармошки; закурили. Луна ярко осветила забор и белую бумажку.

— А, свежая! Еще не просохла. Ну-ка, Сенька, сколупни. И кто это успел? Ребята! Грамотку ко всем православным нашли. От наших к вашим.

Хохот. Ругательства.

— А вот еще. Не трогай. Слышь,—не замай! Пущай читают. «Про-ле-та-рии...»

— Ха-ха-ха!.. Пролетели.

— «Всех стран...»

— Вот странный какой! Ну, у кого глаза есть, читай.

— «Соединяйтесь».

— Вот именно. Читай, Сенька.

— «Не хватает сил больше терпеть».

— Эге! Бумажка подходяща. Ну-ка, Сенька, сколупни и эту. Мы ее завтра в котельной с толком прочтем. Так. Клади в карман. Ах, стерва, мокрая! Так. Пальцем чисть. «Соединяйтесь», говорит, и сам клейстером клеит.. Вот так, скаженный, нас всех заклеил. Чай, такого изловить — приставу новый чин дадут. Ну, пролетарий, к Правоверихе, что ли, айда, у нее пиво есть.

— Айда! Решита бяцы! [1]) К Прошеверихе-то шийдем поцы сешидня-то гоцы?..

— Ха-ха-ха!

— Ширно вецы!

— Хо-хо-хо!.. А ну, заводи.

Гармошка хрипнула, разом разорвала улицу на две части, и десяток дерзких голосов закружился в просторах, удаляясь и сбавляя — дальше, дальше. По мере того, как густела, заслоняла темнота, вся толпа дела-

---

[1]) В народе существует способ зашифровки речи, как шутка, или как подражание другому языку: слово переставляют частями, например, вместо «ре-бя-та» — «ре-та-бя». Берут какие-нибудь два произвольных слога, например, ши, цы; эти слоги вставляют в интервалы слова. Из одного слова получается два: «решита», «бяцы». Вместо «пойдем» — «шийдем», «поцы» и т. д. Научиться так коверкать слова очень легко.

лась меньше, меньше, до небольшого качающегося пятнышка:

Как на Уводи вонючей
Стоит город премогучий,
Город Возневанск
Город Возневанск.

Много в нем к труду охочей
Серой шагии рабочей,
Много пьяниц и котов
Из царевых кабаков.

— Лапа...— мечтательно и тихо сказал опять Лакин, когда зашли в переулок и наклеили штук пять около ворот и калитки:—Лапа, знаете ли вы украинскую ночь? Помните? Раздался, раздвинулся...

— Кто раздвинулся?

— Гром украинского соловья...

В это время резко заверещал свисток. Приятели вздрогнули и бросились бежать. «Держи, держи!..»— где-то пугливо закатился сиплый голос. Лапа и Михаил завернули в калитку и притихли. Мимо, отчетливо постукивая по тротуару — чик-чик-чик, пробежали двое, и слышно — об стенку ударилось ведерко... Где-то, в другой стороне, опять заверещал, вытянул длинную иглу свисток. Оборвался чей-то смех. Голоса. И опять тяжелые шаги и пыхтенье. Встали около.

— А ну их! Еще раз дадут неведомо по зубам, жив не будешь. Стой.

— Стой! Вот и стой. Проворонил, растяпа. Я тебе говорю: держи.

— Сам держи! Велика штука — ты говорил. Дали бы тебе так по зубам, очень бы интересно посмотреть,

как ты стал держать. Их прокламашки мне дешевы, а зубы свои: небось, не вставют.

Два человека потоптались и, ругая друг друга, ушли.

— Лапа, значит погоня не за нами.

— Вы, Михайла Иваныч, больше мне про эту украинскую ночь не поминайте.

— А что?

— Она несчастливая.

— А вы чувствуете, в эту ночь наши молодцы весь город заклеят. Ну, Лапа Николаич, к Баулину, что ли, махнем?

Оба сделали крюк новыми переулками и подошли, крадучись, к воротам фабрики Баулина. Луна опять вылезла бесшумно из облаков, и на заблестевших воротах ярко глянуло об'явление.

— Миша, неужель раньше нас наклеили?

— Нет. Не может быть. Это не то. Дай-ка спички.

Лакин тихо прочел:

«Несмотря на данные рабочими обещания не требовать увольнения некоторых служащих и рабочих, рабочие не только не сдержали своего обещания и продолжают настаивать на удалении упомянутых лиц, но, применяя насилие, изгоняют одних, угрозами применить насилие заставляют оставить фабрику других. Ввиду такого поведения рабочих, нарушающих правильный ход работ фабрики поступками, совершенно незаконными и нигде недопустимыми, Правление считает нужным предупредить рабочих, что все лица, принимавшие участие в изгнании служащих и рабочих и в каких-либо других насилиях, подстрекательстве к ним и угрозах, будут немедленно увольняемы с фабрики, о чем дано распоряжение заведующим. О поступках же их

будет доведено до сведения властей, для преследования виновных лиц по закону. Правление».

— Тише! Давай скорей, мажь. Тут рядом с этим манифестом нашему как раз будет. Скорей! Идут!

Торопливо ляпнули прокламашку и быстро пошагали в тень, подальше. Скрипнула калитка. Вышла в тулупе мужа и в картузе его, с бляхой, сторожиха. Она неуклюже прошла мимо ворот: сам запил, ее черед сторожить. Сторожиха зевнула, перекрестила рот. Покосилась на ворота.

— Чтой-то, царица небесная! Была одна афишка, стало две. Эт что?.. И как сбившись!

Она дотронулась: сырая. Стала старательно разглаживать ладонью, чтобы ровней было, без морщинок, как та, так и эта. А то утром и не прочтут, и Китаев заругает.

— Как это я, простоволосая, и не заметила. Неграмотная, мне и невдомек. Ох, грехи, грехи, родители!..

10. МИТЕНЬКА ПРИЕХАЛ

— Мама, Митенька приехал! — вбежала Лиза Замуравкина, и Наталья Львовна, скорбная, сырая женщина, когда-то красавица, тихо перекрестилась.

— Что вы, мама, креститесь? Митенька приехал.

— Он приснился мне, Лиза, в эту ночь. Голубчик! Горела наша дача, как щепочка, и он вынес меня на руках. Богатырь.

— Ну, мама, вы всегда какую-нибудь канительную печаль, какую-нибудь такую ненужную тоску... Вот право! Вставайте. Идем.

— Ну, идем. А где он? Чтой-то, будто рано приехал.

— А какое там теперь ученье, одни беспорядки.

— Да, да... Одни беспорядки... И здесь и там. И что нужно? И что нужно?.. Митенька! — вдруг всхлипнула она и упала на шею сына.

Митенька и в самом деле был богатырь, фигурой в мать, а не в отца. Он шевельнул кудрями, и красивые глаза его рассматривали мамино лицо.

— Ну, как здоровье, мама?

— Вот дождусь, когда доктором будешь, тогда и поздоровею. Свой-то, небось, вылечит.

— Вылечу, мама. Ей-богу, в момент...

— Что рано приехал? Бунтуют московские-то, а? А у нас, а у нас совсем от рук отбились. Отец ночей не спит. Прямо — Наполеон. Все ходит и все думает. «Я их! — говорит.—Уж я дойму! Всем фабрикантам во мне избавление». Вот, Митенька, пустая гордость какая. Всю Возневань вверх ногами не перевернешь. А что фабриканты,—они озолотят, что ли, его? Здоровье потеряешь — ничего будет не надо. Тачку ему, гордецу, подадут, вот как тому Китаеву — дураку... Ай, дурак, вот тоже дурак, уж такой дурак! Уж сидели бы, не пыжились...

— Ну, мамочка, подняла шлюз! — засмеялась Лиза, мотнула кокетливо косой и подмигнула Митеньке.

— Мама, вам поклон прислали Николай Сергеевич Зубков и Татьяна Львовна. Тетенька зовут вас в Москву. Кланяются и Гундобины. Их племянник тоже кланяется.

— Ну, а как здоровье Тани?

Татьяна Львовна была сестра матери Митеньки.

— Беременна.

— Опять! Ну, Таня. Ай, неукротимая! И как это люди здоровье не берегут? Война, что ли, так действует? Ты вот учишься, говорят...

— Мама, Митя! Чай пить!

И Лиза шумно побежала по комнатам.

— Идем, идем. Говорят, в войну больше рожают. А я вот вас в тихие времена рожала. Ох, времячко!.. Митя, дай-ка руку. Ну, рада я тебе, рада; я сегодня тебя во сне видела. Как кстати! Ах, если бы не предчувствия...

— Какие? Опять сердце пошаливает?

— Мефодка стал к нам ездить — Сирота, — зашептала мать, притянув сына.— Дурак растрепанный. Невежа. Да чтобы я ему, потаскуну такому, дочь свою отдала, да я лучше в гроб лягу. Дело никакое не делает, болтун вихрастый, только водку глотает. А отец из уважения весь изошел, только и знает свое, «спаси, Христе». Тоже несосветимый... дурак. У него—как фабрикант, так ему и на колени, точно перед киотом. Привык в страхе ходить, Наполеон. Да чтобы я... Ты ей, Митенька, не говори. Сердится. Коза! Не вели ей эти книжки читать. Бабье ли дело! Вред девицам. В голову забьют с малых лет. Ну, где в Москве бывал?

— У Девичьего два раза был. В Успенском бывал. К Троице ездил.

— Ах, хорошо! Святые места! Молись, Митенька. Одно на свете здоровье дает — молитва. Ты у меня тихий. А Лизка...—и она зашептала: — от рук, прямо от рук... И от кого бы?..

Она села и виновато посмотрела на сына жалобными красивыми глазами.

— Не доглядела, Митя. Знаешь? С рабочими знакомство завела. Уж я знаю! Она — скрывай, а я знаю. Только поздно узнала. Убьет она меня со своим отцом. Тот дурак, Наполеон, форс держит, а и эта... Не говори, смотри...

— Мама, Митя! Чай пить!

— Ну, идем, идем. Коза!.. Дай руку, Митя. Голубчик, и как ты меня тащил!

— Откуда, мама?

— Из огня, из самого пламени. А дача, как щепочка, как из бумаги... Они ее сожгли... Ужас-то какой!

И она, вспомнив страшный сон, приложила душистый тонкий платок к глазам и заплакала.

11. ПОЧИН ДОРОЖЕ ДЕНЕГ

У Митеньки всегда были пристрастия и увлечения, и для Лизы он давно был героем. Маленький Митя собирал почтовые марки, русские и иностранные, и наклеивал их в альбом; потом завел домашнюю бухгалтерию в толстой, настоящей конторской книге с золотой надписью. В этой книге Митенька открыл текущие счета всех домашних: отца, матери, сестры, лакеев, кучера, кухарки... Лизе нравилось, что эти счета были текущие. Каждому личный счет, записано каллиграфически — кто столько получил и куда истратил. Всему этому — общие сводки, баланс, сальдо,— все, как полагается. Бухгалтерию скоро пришлось бросить, так как многое не поддавалось учету. Впрочем, пристрастие к двойной бухгалтерии осталось у

Митеньки на всю жизнь. Одна любовь к маме, другая — к отцу. Стал заниматься фотографией. От этого увлечения тоже немало хлопот домашним. Все и всех Митенька хотел увековечить. Стоило горничной и лакею сесть на лавочке у ворот, как ласковый Митенька выходил с аппаратом и говорил: «Приготовьтесь. Снимаю». Были снимки: Лиза с куклами, Лиза плачет, Лиза в углу, события в кухне, в дворницкой, за обедом, на прогулке, кошки тетушки Татьяны, собака около конуры, голова собаки из конуры и многие другие. Когда братья Гундобины и Сергей Рыбулин построили для спасения своих душ церковь, к этому времени у Митеньки обнаружился сладкий тенорок, и Митенька умильно читал на клиросе часы, глотая залпами — «господи, помилуй»... Ставил аналой, ловко тушил или зажигал свечки, чинно выносил теплоту, отпивая хлебок украдкой; помогал скупому старосте складывать стопками семитки и пятачки. Потом Митенька увлекся книжками Даля, говором и языком. Он ходил в косоворотке по фабрике, по спальням, на базар, в цирк, в бани и все записывал и записывал, как и кто говорит, какие есть словечки. В это последнее время его называли — Митенька блаженный. Поговорки и речения были разгруппированы по отделам — рабочих, прислуги, приказчиков, крестьян... Интересным пособием для языка служилых людей старого завета оказалась секретная копирная книга писем отца. Читая ее, находил перлы и списывал их себе в книжку.

Год студенческой жизни в Москве принес новые увлечения. Одним из наиболее заметных было знакомство с ядреной хохотушкой, горничной Зубковых — Та-

ней. У Тани был свой любопытный говорок и свои песни: «Зачем ты, безумная, губишь», «Вспомни, вспомни, друг любезный...» и другие. Когда Таня побывала в холостой комнатке Митеньки на Арбате, филологические занятия углубились, Митя стал считать себя народником. Перед от'ездом Таня жаловалась, что «дединька» Сережа пострадал в Возневанске из-за письма ее отца, и Мите было поручено «посодействовать».

Зимою Митя был на вечеринках, жертвовал на покупку оружия, читал «Революционную Россию». Акушерка Евгения Марковна приглашала к себе, пил у нее пустой чай, получил два номера «Освобождения», жертвовал на Красный крест. Другой раз была с нею же суровая беседа ночью, и не знал, что сказать о своих связях с рабочими Возневанска и какая у него платформа. У нее, у Евгении Марковны, были красивые, но сердитые глаза, общая волнующая пухлость, маленький ротик, говорила — «пеэтому» и «вириятно»... Стыдила, что не работает в кружках. Маленькой ручкой поставила стакан пустого чаю. Мите очень захотелось быть марксистом, непременно твердокаменным, но подходила весна, по Арбату бежали ручьи, было некогда, не до книг. Таня пела: «Накинув плащ». В третий раз все у нее же, у той Евгении, получил в подарок «Эрфуртскую программу» и номера «Искры». Слегка посмотрел и привез в подарок Лизе. И уж после чая Митя шепнул на ухо Лизе: «Лизка, я марксист», и сунул украдкой все это богатство; у той загорелись огоньками глаза, она сказала: «знаю», и, прижав книжки, шумно убежала в свою комнату. Потом вскочила, провела рукой по кудрям Мити и прибавила: «Я всегда верила, что из тебя что-нибудь да выйдет».

Но вошла мама и стала рассказывать сон, не сегодняшний, про дачу, а другой, на той неделе, еще более страшный.

После чаю, когда Митя шел в контору к отцу, ему более всего хотелось посмотреть копирную книгу писем: что там новенького. У ворот фабрики Митя издали увидел коляску с седоком, и слышно было, как кучер кричал нагло: «Ворота!..» Ворота распахнулись и проглотила седока. Кто бы это?.. Встреча за встречей отняла у Мити полчаса, пока не поднялся в контору.

За стеклянной перегородкой у Ильи Петровича было все так же тесно, не прибрано, плохие стулья, ненужный хлам на столе и чересчур большой портрет с осовелыми глазами основателя фирмы.

В стекло Митя увидел Мефодку-Сироту, крикливо наполнившего собою весь кабинетик. Он, как черный ворон крылом, заслонил собою Илью Петровича и громыхал:

— А-га-га!.. «Быстры, как волны»... Дмитрий Ильич, сколько лет? «...дни нашей жизни»... Вырос, Митенька блаженный! Совсем копна. Ну, почеломкаемся... Автономия!

Еле вырвавшись из цепких об'ятий, от красных губ, всклокоченной цыганской бороды и безумных глаз, Митенька встал перед отцом. Илья Петрович, сухонький, стоял спиной к основателю фирмы в тяжелой рамке и, как Наполеон,— это сравнение вспомнилось Митеньке,— ждал от сына рапорта.

— Здравствуйте, папаша.

— Здравствуй. Приехал? Ну, и очень хорошо. С ускоренным?

— В три двадцать.

Они поцеловались, щекой к щеке, чмокнув воздух.

— Садись.

Но Митенька не сел. Зная порядок, он вынул из кармана конверт и быстро, торопливо проговорил:

— Кланяются вам, папаша, Павел Николаевич и шлют письмо. Николай Николаич и Виктор Николаич с супругами. Племянник Кузьма Александрыч. Зубковы, муж и жена. Татьяна Львовна зовут погостить.

— Некогда по гостям ездить. Садись.

Илья Петрович посмотрел конверт на свет, отрезал ножницами край и углубился в письмо.

Митя сложил со стула какую-то пыльную дрянь на пол и сел. Стул закряхтел, Митя потупился, окинув мельком стол. На столе, как всегда, где бывает Мефодка, стояла бутылка смирновки, на бумаге лежала беловская колбаса и на маленькой тарелочке маринованные рыжики. Тут же глиняная баночка с грибами. Сирота налил стаканчик, лукаво посмотрел на Митю, потом на Илью Петровича и опять загудел:

— А-га-га... Наливай, брат, наливай! Выпьем заздравную чару. Ну? Нельзя?

— Я не пью-с.

— Он у меня трезвенник, Мефодий Иваныч. Пусть китайское пьет.

— Все они трезвенники у отца на глазах. Эх, Митя, пей за столом, как я, у всех на виду! А за углом...

— Я, Мефодий Иваныч, и за углом не пью.

— Ну, не пьешь, не пьешь, а маленькую протащишь... А-га-га-га!..

И Мефодка блеснул белыми крепкими зубами. Несмотря на свои годы, он был красив и крепок: ни одного седого волоса. Высокий, стройный, в кафтане, перетянутый пояском из серебряных блях, он пробовал шагать по кабинетику, но, толкнув туда-сюда мебель, откинув ногою какой-то хлам, сел и облокотился на стол. Под глазами его были большие мешки, волосы упали на косматую руку, и вся фигура сразу изломилась, плечи поднялись острыми углами, и он, вздохнув глубоко, пропел ненатуральным голосом:

— Эх, ты, Митя, Митенька, не ходи на митинги...

Стаканчики он хлопал один за другим, но только блестели безумные глаза, а сам был не пьян.

— Эх, ты, девственник! Покраснел, папенькин сыночек. Поедем со мной непременно в Кохму гостить, я тебя Марье Ниловне представлю, тебе пора, она стр-а-сть таких девственников любит. Король-баба! Екатерина-баба! Вторая Катюха; та первая была, это вторая. Та на троне, а и эта не тронь меня. Только кучера чтит, Пашку, гайда тройка, больше никого. А-га-га-га!.. А из Кохмы мы с тобой часом на болото махнем. Дупелей пощелкать. У меня мужик там Гордей, знающий. Аржанушечек предоставит, ах, Митя!

Он смачно поцеловал концы пальцев, тряхнул головой и опять запел чужим голосом:

— Эх, вы, бабы, бабы, портомойницы!..

— Ну, будя, будя, Мефодий Иваныч, о деле поговорим. Вы извините меня, малого не смущайте. У него еще науки в голове. А потом ему часы читать. Он у меня церковный.

— А-га-га-га!.. Церковный. Спаси, Христе! У Сережки Рыбулина, обормота, церковности научишься. Ты,

Митя, почаще за обедней в сторожку глазом загляды-вай, а-га-га-га! Дай ему рюмку, отец. Право, дай.

— Никак нельзя. Митя, иди!

— Постой. Куда встал? Ты про московскую автоно-мию расскажи. Ты не бойсь, я тоже анархист. Я Пру-пру-дона читал...

Пру — он выговорил, как тпру, точно погонял ло-шадь.

— Я, Мефодий Иваныч, по медицине. Прудона не знаю-с.

— И рано знать. Рано. Ну, как Гундобина Палагея, хороша? Расскажи-ка, друг. Ах, чорт! Ведь я ее чуть у Витьки не отбил. Совсем моя была.

— Ступай, Митя.

— Нет, сиди. Кому ты должен подчиняться: отцу или фабриканту? Может, я тебя в пай возьму. Сядь. Ты, Илья, сына не гони. Приучай к делу. Ну, давай о деле. Итак, сказанное — свято. Кряхчу, а выполняю. Вношу на это дело триста рублей. Больше пока не могу.

— Почин дороже денег.

— Пиши квиток. Вот деньги. И пусть все мерзавцы знают, что Мефодка первый за общее дело стоит. Пусть от меня начало идет. А ты об'езди и обери всех. Пусть кащеи платят, не отпираются. А не то я им бороды пощипаю. Клуб нам надо организовать, в со-ответствии — трактир. Повеселее. Да языком зря не трепать. Суть дела, чтобы привлечь фабричных. И долбить, долбить. Лавочники — это вздор. Куражовы — крикуны, а Кашинцев — песочница. Кураж есть, а дела мало. Слышал я, у Зубкова работает такой ткач,

или кузнец, Вася Домовой, вроде орангутанга, весьма приверженный, вот таких привлекать... Кто с кувалдой, это хорошо, а с аршином — чепуха. Свои листки надо стряпать, хоругви, портреты купить, чайные открывать. Красоту наводить. Да на спальнях людишек своих везде сажать. Пора нам, чорт побери, Европой быть, думать надо купцов заставить, промышленность раскачать к действию, план иметь, людей тянуть... Эх, некогда мне! А то я бы устроил. Ну, да ты у нас, Илья Петрович, орел двуглавый... Написал? Ну, Митенька, так как же, сынок, на болото едем?

— На болото — с удовольствием. Если папаша не против.

— Я к вам заеду, еще поговорю. Нельзя на болото не ехать. Лизавете Ильиничне, шалунье, поклонись, а маменьке за меня ручку поцелуй. Прощай, автономия. Почеломкаемся...

Илья Петрович вышел следом — проводить и, кстати, обойти корпус фабрики. Митенька выхватил копирную книгу и припал к ней жадно. Последнее письмо про Таню и Тихона Капитонова сильно его рассмешило. Он вспомнил ядреную хохотушку, налил стаканчик, выпил украдкой от конторщиков, проглотил пару грибков и веселый, напевая какой-то тропарь, пошел домой. Надо к Марье Ниловне непременно с'ездить; видел ее, женщина европейская, только толста немного. Алые губы. Развратная, должно быть. Ай, Мефодка-Сирота, тоже—цыган, цыган, а в политику влез; понимает, поди, в ней, как свинья в апельсинах. Автономия!

12. КОНФЕРЕНЦИЯ

А было когда-то мало
Первых упорных, и вдруг...

Ив. Шувалов

К деревне Черново от города можно пробраться разными путями. В тот погожий солнечный день, 11 мая, поодиночке тянулись к деревне, тропинками, проселками и большаком, люди в засаленных блузах, кто с подвязанным фартуком, с несмытой на руках краской и чернотой, смесью сала и фабричной пыли; кто угрюмо, в драном пальтишке, кто с неизменной гармоникой. Близ города еще шли нелюдимо, хмуро, волк-волком, никто ни с кем незнаком. А дальше соскакивала конспирация, врывалась веселая шутка, слипались в двойки и группы, с полувзгляда и полуслова каждый определял каждого — свой!

И под стать этому праздничному тону майская дубрава, потряхивая новыми, пахнувшими крепкой заваркой листьями, тоже судила и рядила о делах. Иногда порывный ветер закручивал, беспорядочной молвью начинал носиться по верхушкам, трубил в трубу, и тогда у тропинки на поляну, где должна была состояться конференция, в рокоте листвы, был плохо слышен условный разговор:

— Здравствуйте.

— Наше вам. Что скажете?

— А что, отсюда до Возневанска много ли верст?

— Не считал.

— Эх, бестолковый вы человек!

После этого сторожевой говорил:

— Идите по этой тропке. Потом поворот вправо. Там будет другой патруль.

Так все проходили через три строгих заставы. И везде один и тот же условный разговор. К четырем часам прошло человек семьдесят, и на поляне, под лапами сосен, по канавкам, сидел большой плотный круг рабочих, курили крючки и трубки, тихо разговаривая, дожидаясь начала.

Семен Иванович с озабоченным бегающим взглядом, беспрестанно оглядывающийся, Дунаев, нервный, порывистый, и еще какой-то, в пенсне и красной рубахе, прошли от кучки к кучке и роздали копии требований. Рабочие загудели.

В лесу, ближе к дорогам, укрытые кустами и деревьями, стояли сторожевые, готовые в опасный момент дать пронзительный свисток. Федор Афанасьич с утра замотался, вся спина его была в пыли, а штаны в хвое и травинках. Вспотел. Надо было везде доглядеть. Молодежь была беззаботна: выпяливалась на дороги с важных пунктов, перекликивалась шутками. Никто из них, молодых, в этот майский день не хотел знать и помнить о нагайке и темных кутузках. Но Афанасьич был на-чеку, и ворчливая проборка его слышалась там и тут. Белянка с высунутым от удовольствия языком бегала от куста к кусту, поглядывала на людей, но не лаяла.

Небольшой отряд дружинников, с револьверами, еще мало обстрелянный, привел Иван Никитич Уткин (товарищ Станко). Пощипывая усики, долго совещался с Отцом. Поближе к поляне, за канавой, где говорить ораторам, поставили часть для охраны. Другая была

рассыпана по опушке, в затейливом порядке, по плану тонкого стратега и тактика Федора Афанасьича.

Иногда в лесу попадались случайные и простодушные прохожие, ставившие в тупик: как быть? что с ними делать?

— Эй, кто идет? Куда прешь?

— А тебе что?

— Отвечай, коли спрашивают.

— Да мы черновские. За хворостом.

— Бери здесь. Дальше не ходи. Слышь, дальше ходу нет.

— Вот тебе на! Да вы что, из начальства, что ли, будете?

— Мы понятые. Преступников в вашей округе ловим. Иди домой, пока цел.

— Матерь пресвятая богородица! Вот незнаемо, в в какую кашу попадешь, и не расхлебаешь. Ну его, и с хворостом!..

Мужик шел обратно.

По дороге, встряхиваясь легко и звучно, зашелестели бубенцы. Выехала коляска.

— Какая прелесть! Смотрите! Смотрите! Здесь, наверное, фиалки цветут. Мефодушка, голубчик! Сделаем короткий привал.

И Лиза пальчиком дотронулась до косматой руки.

— Можно, Митенька, прыгай! — Мефодка-Сирота, все в том же синем кафтане, с серебряным поясом, перетянувшим тонкую талию, выпрыгнул вслед за Митей и прогрохотал от полноты чувств:—А-га-га-га!..

В лесу угрюмо откликнулось, сначала близко, потом то же самое далеко, и где-то хрустнула сухая ветка и послышался глухой — в ладошки — свист. Мефодка

опять не угомонился; он выпятил трубкой свои красные губы, приложил ладони ко рту и затрубил, подражая охотничьему рогу, скликающему собак:

— Пол-тор-пол-тор-пол-тор!..

Не было собак, и некому было лаять, только Лиза завизжала от восторга. Но где-то далеко вдруг нашлась, мелькнула белая собачонка, как призрак, пролаяла и загадочно стихла.

— Вашу руку, шалунья!

Мефодка, довольный собою, довольный днем и молодой спутницей, ухарски извернулся и подал руку Лизе, и та, еще раз восторженно взвизгнув, выпрыгнула на траву. Митя разложил ковер. Кучер, поглядывая сурово, выставил сундучок. На сундучке блеснула бликами бутылка, одна, другая. Нашлась и неизменная беловская колбаса. И еще кое-что.

Кучер, качая головой, привязал к дереву лошадей. Огляделся. Понюхал воздух. Прошел полянкой, куда убрела за цветами Лиза. Вернулся встревоженный.

— Барин! Мефодий Иваныч! Место здесь не того. Ехать бы. Теперь какие времена!

— А что? Что ты, Сидор?

— Да как-то все, что ни погляжу, на сумленье наводит. Даве ехали, по лесу все — шмыг да шмыг. И тут. Шайка ни то какая, либо так озоруют. А только подальше от греха. Заводские ребята — те же разбойники.

— На, выпей...

— Да выпить... это можно. Отчего не выпить?

Кучер крякнул, опрокинул стаканчик, провел рукой по губам и прихватил кружочек колбаски. Оно, действительно, как-то сразу и отошло.

— Ну, как? Полегче?

— Да нам что, Мефодий Иваныч! Как вы, так и мы. А только как бы в ответе не быть. С вьюношами к тому же; барышню, скажут Илья Петрович, мою молодую напугали. Мы вот о чем.

— Ну, выпей еще. Так. Теперь как?

— А теперь, Мефодий Иваныч, действительно, будто с души долой.

— А-га-га-га!.. Чортов сотник! Пять выпьешь, так ты у меня совсем храбрый будешь. Только я за тебя на козлы садиться не хочу. Будет. Пошел к чорту, хитрая бестия! Больше ни глотка. Не жди, не поднесу!

— Да я и не прошу. От вашего поднесенья не больно пьян будешь. Нам что! Мы сказали, а вы думайте, коли ваше дело господское.

— Я тебе погрублю. Мужлан! Ты!.. хайда-тройка, в хорду мочешь?

Кучер посмотрел боком и молча отошел. В своем длинном кафтане он шел медленно и неуклюже и ругался матерно; потом замахнулся на лошадь и крикнул:

— Балуй! Фабрикантов чорт! Я те зубы высажу. Научился у хозяина жеребячьим повадкам, скотина!..

— Ска-тина! — протяжно пропел Мефодка, лег на спину и стал следить облака, бежавшие по синим дорогам: — Скот! Совершенный анчоус безголовый.

Митенька, который только два дня тому назад был успешно представлен Марье Ниловне, пил залихватски, копируя манеры Мефодки. Он развалился лениво, вынул папиросу из портсигара Сироты и процедил:

— Я согласен, что он скот, ибо ходит за скотиной. Но он сверх того шантажист, он спекулирует на вашем

добродушии. Ему даже в городе разбойники чудятся, Чуркины, ха-ха-ха!..

— А-га-га-га!.. — закатился, как леший, и Мефодка. — Лиза! Ли-за!

— Ау! — послышалось далеко.

Лиза в это время стояла с букетиком около двух молодых рабочих и топала ножкой; те мялись и не знали, что делать.

— Нет, я вас спрашиваю! Извольте отвечать! Почему у вас такой вид? Вы заговорщики? Вот я вас знаю, Михаил. Скажите правду: у вас в лесу кружок?

— Никакого кружка, Лизавета Ильинична. Мы тоже цветы собираем.

— Тогда проводите меня до коляски. Ну!

— Никак нельзя. Мы тут товарища ждем.

— Вы путаете.— Лиза надула губки.— У вас что-то есть. Почему, Михаил, вы к нам не зайдете? Вы прочли ту книгу, которую я вам дала? Что вы молчите? А еще стихи пишете! Ужасно не люблю диких. Ну, прощайте! Я на вас сердита и руки не дам. Ау!.. Меня ждут.

Когда коляска зазвенела вновь бубенцами и, прыгая по корням, нырнула в зелень дороги, Лакин злобно швырнул шишку в красную сосну и запел; но голос его оборвался, и он сказал Морозову:

— Слушай, Василий. Ты знаешь такие стихи:

О, как звонко, звонко, звонко...

— А дальше?

— Дальше — ничего. Буржуазия есть тот класс, который держит в руках наши орудия производства.

Понял? А мы тот рабочий класс, который — сущие дураки. Понял? Ах, вспомнил. Вот оно как:

О, как звонко, звонко, звонко,
Точно звучный смех ребенка,
В ясном воздухе ночном
Говорят они о том,
Что за днями заблужденья
Наступает возрожденье.

И Лакин вдруг неожиданно крикнул: «Их-ма!..»—кувыркнулся и прошелся по траве на руках, уколов ладонь о хвою.

— А разве у нас в жилах не кровь?— резко крикнул он кому-то, рассматривая капельку крови на ладони.— Тьфу! Скучно дежурить. Как-то там! Эх, тряхни, Миша, головой, и все дурные мысли, как яблоки, опадут. Так ли, Васенька?

Часа через три, когда от вечерних лучей покраснели верхушки, по тропинкам и прямиком, чернея между стволами, повалил народ; лес ожил, зазвучали голоса, где-то послышалась песня.

— Отец! Ну, какую приняли резолюцию?

— Бастовать, — сказал торжественно Афанасьич:— Бастовать, голубь. На, читай наши требования в окончательной форме.

Афанасьич шел нахмурившись, не смотря по сторонам, сшибая сердито из-под ног палочкой шишки; он слегка согнулся, точно ему на спину залегла тяжесть будущей стачки. За ним плелась Белянка.

— Бастовать, дружки, бастовать...— повторял Отец про себя.— Завяжи пустое брюхо потуже и бастуй... Когда ни то, начинать надо. Эй, Миша!— обернулся вдруг,— бумагу эту сохрани для села Корчагино,

понял? Ну, детки, зачем повалили гуртом? Сегодня врассыпную ходи. А завтра возьмем новую тактику— скопом...

У другой тропы его опять окликнули:

— Отец, ну как порешили?

— Бастовать, дружки, бастовать, — все также сурово отвечал Афанасьич, потряхивая бородой. — Одно решение — ба-сто-вать!..

Миша Лакин, волнуясь, перечел знакомые требования:

«Мы, рабочие г. Возневанска, требуем от правительства немедленного созыва Учредительного собрания на основе всеобщего, прямого, тайного и равного для всех граждан и гражданок избирательного права. А от фабрикантов мы требуем:

1. 8-часовой рабочий день, уничтожение ночных работ, кроме случаев, когда это вызывается техническими условиями, отмены сверхурочных работ, если это не вызывается техническими условиями. Перед каждым праздником кончать работу сменным не позже 6 часов вечера, денным не позже 2 часов дня. В общей сложности работа перед праздниками не должна превышать 6 часов в день.

2. Уничтожение двух сроков найма.

3. Введение постоянных на целый год расценок.

4. Минимум заработной платы для обоих полов 20 р. в месяц. Выдача заработной платы производится сполна по день выдачи и во время работы. Полная плата во время болезни.

5. Отпускать рожениц за 2 недели до родов и на 4 недели после родов, с сохранением за ними полной заработной платы. Устроить ясли при фабриках для

грудных детей и отпускать матерей через каждые три часа на полчаса на кормление детей.

6. Уничтожение штрафов за прогул.

7. Точное обозначение работы, на которую нанимается рабочий, чтобы не посылать рабочих на произвольные работы.

8. Постоянная выборная комиссия от рабочих и администрации в равном числе для установления правил внутреннего распорядка и разрешения всех недоразумений между рабочими и администрацией.

9. Безусловно вежливое обращение членов администрации с рабочими.

10. Уничтожение обысков, унижающих достоинство рабочих.

11. Право сидеть ткачам и другим рабочим во время работы.

12. Право читать в свободное время газеты.

13. Выдача лучшего материала для обработки и улучшение ремонта ткацких станков, увеличение расстояния между ткацкими станками.

14. Улучшение технических условий: вентиляция, нормальная температура, отведение отдельных мест для приема пищи.

15. Улучшение медицинской помощи, более внимательное обращение врачей с рабочими.

16. Пенсия потерявшим трудоспособность вследствие болезни или старости, в размере не менее $^2/_3$ заработка.

17. Уничтожение фабричной полиции и тюрем при фабриках (кутузок).

18. Начальство и войска не должны вмешиваться во время забастовки в дела рабочих, иначе за последствия не ручаемся.

19. Право свободно собираться и обсуждать свои нужды, и чтобы можно было свободно писать о нуждах рабочих в газетах, т. е. свобода слова и собраний.

20. Свобода союзов и стачек. Никто из забастовавших не должен быть уволен с фабрики, полная заработная плата во время стачки.

21. Устройство народного дома.

22. Введение всеобщего, обязательного, бесплатного образования для мальчиков и девочек».

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1. УШЛИ

Нет ни дыминки, спущен пар,
Покончена работа...

Авенир Ноздрин

12 мая, до обеда, Илья Петрович ни разу не показался из своего кабинетика и резко отвечал на звонки телефона. «Уважаемый...» — трещал знакомый голос в трубке, но Илья Петрович отрезал:

— Повесьте трубку, дорогой, и не шумите. Занят. В другой раз будем пустяками заниматься,—и трубку положил на стол, хотя в трубке еще долго беспомощно гудело и щелкало.

Снова и снова вынимал Илья Петрович из стола ту роковую книжку, которую сегодня нашел завернутой в бумаге со вложенной запиской на окне у дочери Лизы. Записка: «Не застал Вас дома. Спасибо за книжку. Михаил».

«Спаси, Христе! Что за Михаил? Никакого у ней не может быть Михаила. Дьявольское наваждение! Без обращения и без даты. Ясно: старая, заброшенная записка. Но кто? Кто владелец этой гнусной книжки? Лиза или он, тихий Митенька. Ах, лучше бы Лиза. Женская голова — кисейный мешок, все протечет мимо. Придет муж, повернет по-своему...»

Илье Петровичу представилось цыганское лицо Мефодия, стаканчик и косматая рука, он прошелся — шаг, два, три — и потер вспотевшие ручки и прошептал, подражая: — А-га-га-га... — Но опять кольнуло, и сел к столу, где мозолила глаза «Эрфуртская программа». Швырнул ее, негодяйку, опять в стол: дьявольское наваждение. Жили, не знали, не ведали, трудились, во всяком благочестии и чистоте... И вот, господи!..

Илья Петрович вздохнул, покосился на портрет главы, покачал лысиной, повесил трубку телефона и позвонил домой. Не отвечают. Еще раз. Голос жены:

— Слушаю. Ты, Илюша? Митю? Митеньки нет. Что ты будто расстроен? Пил ли ты сегодня свои капли?

— Дура, — сухо сказал Илья Петрович и опустил трубку.

И стал читать молитву, чувствуя, что дрожит. Да, да, да, сегодня будет несчастливый день: раз началось с утра, то пойдет...

Опять звонок. Опять рыхлый, мореный голос жены, голос Натальи Львовны. В ярости крикнул четко, точно отсчитывал монеты:

— Дура! Дура! Дура! Тьфу, тьфу, тьфу!.. Моргаешь глазами... Не умела сына воспитывать, дочь, дочь, дочь!.. Фу!.. Эрфу... Дурская, дурацкая программа... Квашня!..

Повесил трубку и стал быстро крестить маленьким крестным знаменем взволнованную грудь: «Упаси

крестным знаменем взволнованную грудь: «Спаси

Чтобы отвлечь мысли, вынул последнее неприятное письмо Гундобина и перечел:

«Милостивый государь,

Илья Петрович!

Твое письмо не мало нас всех расстроило; видимо, с ткачами еще придется нам всем довольно покантелиться. Показывал я письмо старику Баулину, Зубковым, Полушиной и другим. У всех тоже с фабрик вести хуже наших. Не беда — забастуют. Авось, духу в нас хватит. Уж пусть бы гуляли, лишь бы не буянили, лишь бы добро не крошили. Пускай лучше в политику гнут, лишь бы нас не тронули. Ездили наши к Коковцеву, там в верхах никаких путей нет, сами не знают, что делать; свихнулись от большого ума. Говорят: «Как хотите, так и делайте, помогать вам не будем и не можем». Дай бог, чтобы не сказал того же губернатор Леонтьев. Ты казаков оплати, а по расчету такому, как знаешь. Я на тебя надеюсь. Начальников их всячески ублажай. Зубковы говорили мне насчет твоего союза благомыслящих рабочих, людей истинно-русских. Я думаю, вреда не будет; только боюсь, как бы чего не вышло. Не лучше ли лишний десяток казаков или взвод пехоты?

Письмо посылаю с твоим Дмитрием, спешу. Как он у тебя вырос! Давно ли пешком под стол ходил. Тут были наши дамы, все фамилии вкупе, так курицы эти болтали, судачили насчет горничной Зубковых. Таня есть такая, я тебе о ней писал. Ты все-таки, дело твое, а почву позондируй.

У нас теперь все развихлялось, все врозь. Начнут с горничной, а кончат политикой — не приведи бог!

Неизменно благосклонный

Павел Гундобин».

Так вот откуда еще это волнение и грызь...

И тут, перечитав, Илья Петрович понял, что ему надо было делать. Осенило. Очень хорошо. Даже очень. Он постоит за себя. Не для того тянул лямку, чтобы... И так далее. О чем говорить? Он сам себе голова, слава тебе, имеет глаза не хуже гундобинских. Глаза и зубы. Спаси, Христе, Замуравкин в дураках еще не был. Илья Петрович взял лист с титулом фирмы и написал своими бисеринками:

«Милостивый государь,

Павел Николаевич!

На любезное письмо Ваше от 8 с/м. имею честь ответить, что изволите себя напрасно беспокоить за большими делами по случаю бабьих якобы сплетен, поелику те сплетни насчет моего сына Дмитрия никакого основания иметь не могут, а только у тех фамильных дам — прости, Христе — на разнузданность полета мысли указывают. Нимало в том Вас не упрекая, по некотором раздумии пришел к глубокому сокрушению, что прослужил столько лет фирме, и вот на старости лет должен вести подобную переписку с намеками. Простите, за сына я всегда буду горяч».

Илья Петрович прочел свое дерзкое письмо и ужасно взволновался. Нагрубиянил. Первый раз в жизни. Значит, эти, эрфуртские, они и до нас, стариков, дошли!

Старший Гундобин — рыжая борода, золотые очки — лишнего не скажет. Всю жизнь ему — батюшка, милостивый государь... Одно слово — хозяин. И вдруг...

Трепет и страх охватил все хрупкое существо Ильи Петровича, он перекрестился еще раз и продолжал писать:

«Что касаемо дела, а не пустяков, то как будто — как бы не сглазить — пока у нас все благополучно и тихо и никаких таких особых...»

В этот момент нежданный, озорной загудел гудок — ду-у-у!..—протяжно, настойчиво. Что за тревога? Что такое?

Замуравкин привскочил трепетно и посмотрел в контору. Будто бы рано. Конторщики-бесы сорвались с мест. Кто-то звонкий, задорный, пробежал, протопал, крича неистово:

— На волю! На волю! Выходите все. Кончай работу! На во!..

И снизу откликнулся шум многих голосов, как взлет мартовского ветра, неразборчиво:

— Рабо... о!.. На во... о!..

— Начинается. Чаемо и ожидаемо, — горько сказал Замуравкин.

Захолонуло. Сердце упало куда-то в яму, и старика стало трясти. Он посмотрел, стуча зубами, в лицо основателя фирмы, промакнул письмо, сунул его дрожащей рукой, измяв, в карман, следом сунул с трудом и письмо Гундобина и выбежал легко, как на крыльях, в контору. Здесь было пусто. «Убежали! Почему никого нет?.. Почему?.. Если в куль, если на тачку, то выскочу в окно, право, выскочу, спаси, Христе!»— подумал он, трясясь всем телом, и распахнул окно.

В контору никто не шел, а внизу под окнами валила лавиной густая, шумная толпа рабочих, и у стены на лавочке стоял кто-то и раскидывал во все стороны листки. Листки, как белые неуклюжие птенцы, чуть-чуть взлетев, падали боком и плашмя на головы идущих. Их приветствовали с восторгом и хватали жадно и весело. А они опять и опять летели.

Илья Петрович встал на подоконник и, не помня себя, закричал, не узнав своего голоса:

— Братцы! Братцы!.. Да что же это?..

На него никто не обратил внимания, шумный поток катился мимо, и, всплеснув руками, Замуравкин спрыгнул назад, но, ударившись, сел на пол, как малый ребенок. Конторщик Кутьин, вбежав, увидел управляющего в странном виде: на полу, прислонившись спиной к опрокинутому табурету, он плакал и плевался, плакал и плевался... Кутьин потормошил его, пробовал поднять и, вдруг испугавшись, выбежал из конторы.

— Петр! Петр! Воды Илье Петровичу!

Петр вошел не спеша. Был он солиден, важно держал стакан воды на подносе и нимало не изумился, увидев старого управляющего на полу в растерзанном виде.

— Не извольте беспокоиться. Со всяким может быть, — сказал он наставительно и строго, опускаясь с подносом на корточки. — Выпейте воды холодной, все снимет. Эти дела — как понимать! Сегодня ушли, завтра вернулись. Извольте встать.

Илья Петрович, все еще дрожа, выпил стакан, поморщился капризно, как ребенок, и послушно поднялся.

— Петр,— спросил он,— Петруша! Ушли?
— Ушли-с, Илья Петрович.
— Что же это такое, Петр?
— А ничего. Это забастовка, будьте покойны. Вам полежать кстати, оно и обойдется.

2. НАЧАЛО

Куда девалась поступь рабья!
Авенир Ноздрин

Гундобинские ткачи, выходя из ворот, раз за разом широкой рекою вливались в текучую гулкую толпу других: шли неровно, приливами и отливами, то быстро, то медленно: ситцепечатники, прядильщики, литейщики, рабочие химического завода. Глухо стучали ногами, пылили...

— Ура-а! Ура-а-а!..— гудело кругом, будто фонтаны звуков вырывались из-под земли; махали картузами, платками и просто так, наивно — руками, встречая каждый новый серый людской приток.

Там и тут, где над хаосом фабрик вздымались высокие красные трубы, ревели бесперечь, беснуясь, гудки, белыми клубами пара рвались на волю: ду-ду-и-ду!.. Так, когда хозяин уходит со двора, его любимая собака воет и рвется, и мечется по проволоке, и лает протяжно, оставшись одна на постылой цепи.

В некоторых местах часть людского потока вливалась в боковые переулки и улицы: это шли снимать с работы тех, до кого еще не докатилась волна забастовки. Около ворот фабрики Баулина затор: напрасно рвутся баулинские, передние топчутся на месте.

— Вперед!— кричит Морозов (Ермак), махая фуражкой.— Что стали! Эй, наши, в чем дело?

— Стоп, машина! — говорит, хихикая, маленький ткач: — Заело. Как бы, братцы-товарищи, не оборвать нитку...

На углу — экипаж полицмейстера. Его высокоблагородие, сам Кожеловский, стоит тучной, бравой фигурой, держась за сиденье кучера и блистая сияющим мундиром. Мундир пугает толпу. Усы шевелятся. Что он говорит? Не важно, что он кричит. Но сзади его тупою послушною стеною стоят казаки.

— Ура-а-а!.. — кричат баулинские: — Напирай! Напирай!..

Вперед протискивается, нажимая плечом, жилистый Тихон Капитонов; он без картуза, еще более похудевший и осунувшийся за эти дни, когда скрывался.

— Товарищи! Смело вперед! Не робь, товарищи! На городскую площадь! — неистово кричит он, хрипит и задыхается, и злобно грозит полицмейстеру корявым пальцем.

— Расходись! расходись! — красный, как рак, упрямо повторяет Кожеловский.

Его зычный крик все же тонет в общем гуле. Но он указывает на казаков,— это величественный жест полководца, слабое мановение руки, потряхивающей белую перчатку. Ясный жест. Он берет у казака нагайку. На момент жуткая тишина.

— На площадь?.. Я... вам... покажу площадь. Предупреждаю! Вместо площади, вот! Вот что получите!— он машет высоко казацкой нагайкой.

Уже хватается за колесо необузданный Тихон Капитонов, рядом с ним, готовый к бою, плотный Ер-

мак-Морозов, и вот быстро протиснулся высокий, худой, будто чахоточный, с острой бородкой, махая газетой. Кто это? Тише! Это Евлампий. Тише!..

Дунаев, бледный, дрожа от ненависти, подскакивает к блестящему мундиру. О, это не тот Дунаев, который звал себя экономистом и приглашал быть полегче на поворотах,— это «гражданин»! Недаром дана ему толпою эта кличка; это тот, которого хотел утопить малышем пьяница отец; тот, который рано узнал улицу, ночуя под небом; был пастухом и, доходя до всего самоучкой, грезил за книгой о царстве правды на земле; это тот, с вечным с'едающим огнем внутри, Дунаев, который прошел огонь и воды и медные трубы, фабрику за фабрикой, тюрьму за тюрьмой, и вывел сегодня рабочих на майскую улицу. Он кричит, помахивая газетой:

— Не смеешь! Права нет! Не смеешь!

Кожеловский, оторопев, оглядывается на казаков и опускает нагайку.

— Что вы и кто? Что — газета? С чем?

— На, читай! «Русское Слово», на! Правительственное сообщение. Разрешено. На! Стачки экономические разрешены. Не смеешь, не имеешь права!..— торопливо бросает Евлампий, выхватывая дрожащими нервными пальцами нагайку из рук полицмейстера и водя ею по газете.

— Что? что? Ты меня не тычь. Плевать я хочу!

— На правительство свое не смеешь...

— Вы мне не указывайте! Кто вы такой? Подстрекатель? Казаки!.. Не пропущу!

— А, не пропустишь! Знай, руки обагрим в крови, но войдем! Войдем на площадь.

— Правов таких нет, нет правов, чтобы людей, как скот!..— хрипит Капитонов, и глаза его наливаются кровью. — Евлаха...

— Позвольте мне мою нагаечку, — нагибается Кожеловский и вдруг бледнеет, видя близко дикое лицо Тихона Капитонова. Он выпрямляется и протягивает, как полководец, руку в перчатке: — Господа! Позвольте, господа. Видя ваше возбуждение, я уступаю. Я не хочу, не хочу-с пролития крови. Но я прошу охранять общественное спокойствие. Я прошу!.. Пор-рядок!..— кричит Кожеловский, опять высоко подняв нагайку.

Страшный рев, визг, свист покрывают его слова, их не слышат, только видят опять поднятую нагайку, толпы обступают коляску со всех сторон, новые и новые потоки жмут и давят, и вдруг смятые, колыхаются казаки. Они дрогнули.

— Кругом... ар-рш! — кричит Кожеловский и что-то торопливо еще кучеру в ухо и размахивает руками, и кучер испуганно дергает вожжи, лошади несут, и казаки, раскачивая пики, не поспевают за своим славным полководцем.

— Улю-лю-лю!..— разливается по улицам; шарахаются, мнут друг друга; и блестящий мундир, гроза толпы и украшение Возневанска, удаляясь, колыхается болванчиком, все еще стоя в коляске и помахивая над головой нагайкой.

— На страх врагам... — хихикает маленький ткач. — Как приехали, так и от'ехали. Эй, баулинские, трогай!..

Около Зубковского моста стоит, как вкопанный, небольшой отряд донцов. Желтые канты молчат, лихо зачесаны чолки.

— Желтые! Эй!.. А что — будут бить?

— Биты не раз. Что, испугался, подумаешь!

— Да мы их...

— С моста скинем, в момент.

Казаки угрюмы. Они не шелохнутся. Но уже мост дрожит и колышется от напора толпы, поток закручивает и казаков, лошади поворачиваются, и пики беспомощно двигаются вместе с людьми.

Обитые железом ворота ситцевой фабрики на запоре. Неистово стучат кулаками.

— Ворота! — кричит Лапа, оглядывая крепость. Голос у него гулкий, кулак могучий, и ворота ему, как турецкий барабан. — Эй, ворота!

— Ать, стерва! — бесится маленький ткач.— Когда б то коляска хозяйская была и голос свово кучера, он бы не почесался, отпер в два счета. Ать, татарва! А своему брату, рабочему, нельзя никак уважить. Лопатка!

— Это не суть важно. Ломай на заборе доску,— кричит Ермак и, взобравшись на плечи, спокойно и методично отдирает одну доску забора, другую.

Следом за ним, влезая на плечи, карабкаются другие, машут кому-то: на приступ! — и прыгают на двор. Ворота медленно, неохотно открываются.

— Ура-а-а!..— и толпа, ринувшись серой лавой, растекается по двору.

Корпуса мрачно гудят, поглядывая решетками окон на бегущих нарушителей порядка. Работают, кроты! Снять их!

В первом этаже после майского яркого дня слепит полутьма. Окутанные парами около машин движутся рабочие. Все охвачено беглой дрожью.

— Эй, товарищи, кончай, выходи на двор! — кричит повелительно Лапа. — Выходи!

— А? Что?—по-детски спрашивают чумазые, желтые лица, обступая Лапу.

Он смеется.

— На двор! Выходи на двор! Смотри, беспонятные, какая у вас в корпусе грязь и темь. Выходи на свет! Будет гнуть спину. Больно вы покорны.

Да, эти зубковские — тихие. Они без раскачки не могут. Но и они, как тараканы, начинают выползать. Спохватились. Вот бежит одна группа, бежит радостно: решились. Другая... Вот повалил, наконец, народ полной силой. Ага! Раскачали!

— Тяни, тяни, стройся! Ишь, усачи-гренадеры, а хозяина боитесь. Нынче улица фабрику поборола. Ишь, любо-дорого посмотреть, народу-то, народу-то как людей.

— Зубковский?—ощупывает ткач робкого паренька, который стеснительно становится в колонну, мнется и оглядывается.

— Так точно, от Зубковых, из набивной.

— То-то что зубковский, оно и видно. Что ж ты много получаешь, что ждать себя заставил, а?

— Ну, какая наша получка! Курам на-смех. А тихо у нас, не велят бастовать. Старики очень злы.

— Старики! Эх, ты, угодник! Да где велят бастовать! Нигде не велят. Ты, милый человек, стариков не больно слушай, ходи веселым корпусом на собственных шалнирах.

— Чегой-то страшно. Мастер у нас окаянный. А вдруг расчет дадут.

— Эх, ты, милый! Тоже — расчет! Нищему пожар не страшен: взял сумочку да и в другую деревню.

— Ха-ха-ха! — грохочет толпа.— Утешил! Была бы шея, хомут наденут.

Приколачивают наспех оторванные доски.

— Исправники! Не хотят хозяину ущерба делать. По-хорошему, пока что.

— Эй, земляки зубковские!

— Есть! Здеся.

— Гундобинские?

— А вот и мы.

— Баулинские?.. Все здесь.... Трогай!.. Ну, неуковырные! Левым плечом заходи. Эй, Лапа! Запевай какую надо, горячую.

— Во, во, во! Запевай, Лапа, горячую до слез.

3. БАРИН ЗОЛОТОЙ

На этот раз Илья Петрович не пешком пришел домой, как всегда, а вернулся рано, в фабричной коляске, и по лестнице еле втащился. Было уже известно всему дому, что по городу ходят толпы, останавливают фабрики и что не сегодня-завтра — бунт или сплошная революция; что Илья Петрович не в себе и чудит. Наталья Львовна проплакала два платочка, а Лиза была возбуждена слухами, бегала вверх и вниз, шепталась с Аннушкой, и глазки ее горели.

— Пошли ко мне Дмитрия, — сурово сказал дочери Замуравкин.

— Его нет дома,— покорно потупившись, ответила Лиза.

— Где он? Да не ври.

— Кажется, в Кохме.

Отец, будто задыхаясь, потрогал черненький галстук, пронзительно посмотрел в ясные глаза дочери и подумал: «Читала или нет?»

— Так... в Кохме...

И вдруг глотнул воздух, ступил к ней еще один шаг и спросил:

— А кто такой этот... Михаил?

— Какой?— вспыхнула Лиза.

Румянец залил уши, шею, и она готова была заплакать. Отец топнул и закричал:

— Амуры! Враки! Отцу в глаза! Что!

Вышла Наталья Львовна.

— Ты кого? Ты звал?

— Амуры! — кричал Илья Петрович. — Записочки! Программы! Кто, кто? Сказывай, кто?

— Что с вами, папа?

— Что вы кричите на родную дочь! Что ты взялся! Выпей воды. Фабрику распустил, Наполеон, и топаешь. Что ты кричишь? Что тебе дочь — контора?

Лиза круто повернулась, закрывая лицо ладонями, делая вид, что плачет, и ушла к себе. «Программы и Михаил,— думала она.— Что за притча?»

Она быстро перед зеркалом, попроще, но к лицу, оделась и торопливо пошла к портнихе Варе Чистовой за справками.

Илья Петрович бушевал и отказался от обеда.

— Завтра же едем на дачу! На дачу! На дачу!— твердил он жене.— И не плачь. Терпеть не могу. Глаза на мокром месте! В городе бунт, в городе — заворошка, люди, как с цепи сорвались, а твои дети неведомо где... Где Дмитрий? Где? Кто за ним смотрит? Какие книги в обращении у твоих детей? Что ты

знаешь? Ты сидишь, как квашня, и пыхтишь. Завтра же на дачу! Пришли Аннушку и не плачь.

Экономке Аннушке были даны точные инструкции, сухо, сжато, твердо, и дом зашевелился — захлопал дверьми, застучал ящиками, заскрипел лестницами, забормотал торопливо: «на дачу, на дачу!..»

Илья Петрович отчитывал, как по книге.

— Сны! Что ты мне рацеи разводишь? Бабьи дурости! Какой пожар? Дурацкие ваши сны и привереды, Наталья Львовна. Извольте ехать и за детьми смотреть. Да позвонить Мирону, чтоб он, старая глушня, распорядился, чтоб всю дачу протопили. Да чтоб...

И тут вдруг кольнуло, и, охнув, Илья Петрович ослаб, лег на диван и капризно залепетал:

— Ушли... Самовольно... Спаси, Христе, новые люди, ушкуйники, крушат, требуют... Ната, дай мне капли. Не эти, те... Господь сильный посылает бедствия. Кто избавить меня в те дни?..

И тут вошел Митенька. Он взял рюмку из дрожащих рук матери и стал капать лекарство. Лицо Замуравкина просветлело, и он сказал:

— Иди, Наталья. Оставь меня с ним. Готовь к завтрему. Иди.

Митя подсел к отцу.

— Так. Спасибо. Хотел я тебя, Дмитрий, спросить: что это за шлюха такая, Таня зубковская, а?

Митя потупился.

— Не знаешь?

— Папенька, изволите всякой сплетне верить.

— И верю, голубчик, и верю. А почему им врать?

— Вот вы верите, и этого какого-то Капитонова в тюрьму, а что? Разве, папенька, хорошо, когда Ки-

таева на тачке и в такое время? Кругом что делается!

— А ты читал?

— Что?

— Письмо мое, читал? Тебе что, разве Гундобин показывал?

— Нет, не показывал. Но они говорили, — соврал Митенька.

— Гм... Может быть, это он тебе и Эрфуртскую, тьфу, прости, Христе, тьфу, тьфу!.. и ее тебе дал?

И Замуравкин приподнялся и вонзился глазами в сына.

Митя удивленно посмотрел на отца и не сморгнул.

— Вы легли бы, папенька.

— Я лягу. А ты скажи, твоя это программа? Может, они и тебя в свою веру обратили, иудо-масоны, а? Ты знай, я к Тимофееву... не пожалею сына... я скажу. Пусть прахом идет все, но я закатаю! Крамолы не спущу. Слышишь?

— Никакой крамолы нет. Лежите, папаша, и не волнуйтесь. Действительно, дали мне книжку на просмотр. Кто-то... А я ее и не читал. И куда-то забросил. Да и читать не буду. Дрянь такую! А где вы видели такую книжку?

— И не читай,— облегченно вздохнул Замуравкин. — И не читай. Блюди себя от всякой скверны. Ты отцу помоги, немощен он, сдавать стал. А дух во мне не угас. Мы тут дела эти должны так повернуть, так круто, что о нас столица будет знать. Мы крамолу и забастовщиков под баланс подведем, чтоб нуль остатку. Понял? Вот возьмись за это дело. Будешь ты первый человек. Я тебя подучу, а сам я... Сердце у меня горячее, трудно мне...

— Я, папенька...

— Ты не торопись. Не отказывайся. И не бойся. Я тебе расскажу. Они забастовали. А мы фабрики — баста!—закроем. Дверь—на замок. Мы им животы подведем. Лавочка им — кукиш с маслом. Не уйдут. А надо лучших из них вылавливать, надежных; их между себя крепить — понимаешь? — вшибать клин. Тут дела всякого — гора, тут молодому надо. И сильно меня это дело прельщает. Вера моя так: всяк сверчок знай свой шесток, а они хотят выше головы прыгнуть. От их колготни вся земля трясется. Пользы человекам с ноготок, а вреда и слез — через край. А мы что — в свое время лямку зря тянули? Мы что — глупей их были: бога чтили, царя и хозяина, о свободах не кричали? А тут: давай, только давай. Тут прорва одна, больше ничего нет. Ты ему сопли утри — он у тебя платок вырвет; ты его накорми — он ложку отнимет. Старые мы люди, и нечего нас ломать. Хозяин есть хозяин, ты потрудись да подожди. Терпенье имей, — вот и заслужишь. Дай-ка мне градусник, в жару я.

Аннушка тихо вошла и поманила пальцем.

— Барин, Митенька. Письмо тут один принес, да чудной человек-то: в опорках. В собственные руки.

— Кому?

— Илье Петровичу.

— Письмо? — встревожился Замуравкин. — Пусть дадут. Какое письмо? Где человек? Давай его?

Впустили человека.

Был высокий, орясина. Оборван и дерзок. Серое, землистое лицо. Из лохмотьев вынул письмо. И Митеньке стало страшно.

— На-те, папаша. Будете читать?

Старик прочел записку с титулом фирмы: «Печных дел мастер Федор Кузьмич Безруков».

«Человечек этот очень даже полезен может быть, прошу прощупать. Могу ручаться, в делах не вредный помощник и опыт свой имеет. Ф. Безруков».

— Ты кто же, голубчик, будешь?

— Мы из котов.

— Ты душегуб?

— Гм... Сами понимаете!

— Что тебе надо?

— Что прикажете. Мы можем десяточек-другой людишек подобрать смело... Сгодимся, ваше степенство. Говорят, потребуется насчет беспорядка, чтобы предлог войска имели. Куда нас двинете, туда и пойдем. Кого хотите, на бога махом пустим.

— Ступай, ступай, душегуб! Каин!

— А говорили Федор Кузьмич...

— Ступай, ступай!..

— Ежели потребуется, около вокзала спросите кота Гурыбу. Меня знают. А так, соблаговолите на половиночку, коли не в раз пришел.

— Ступай! Кот! Жулик! В какой дом ты лезешь!

— А что ж они, Федор Кузьмич-то, аль человек без понятий? В какой дом! Я у тебя не украл, а ты кричишь: жулик. И в жулике нужда бывает. Мы знаем, к кому идем, мы эти дела делывали. Хочешь, жидам погром устроим?.. Ну, как хочешь!.. Что ж, и на половиночку жалко?

Митенька тихо вывел Гурыбу на лестницу и в сумерках, немного труся, дал ему полтинник.

— Вы не обижайтесь. Папаша в жару, он бредит. Будет нужда, мы вас позовем.

— Барин золотой! Прибавь двугривенничек. Тут у калитки еще наших котов двое. Артель у нас. Вот спасибо! Вот удружил! Иван Гурыба — не забудьте. Руки у нас золотые. А папашенька струсили. Не стариковское это дело, и то. Мы с вами, барин золотой, дела разделаем под орех, хотите? Вы подумайте, а только руки у нас... Ей-богу, мы чистяки, народ фартовый. Работаем на совесть. Прибавьте еще. Вот спасибо! Вот дай бог!..

Митя следом спустился на крыльцо и постоял. «Барин золотой»,— подумал он, усмехаясь, и посмотрел на закат в редких деревьях: весенний вечер ворожил, разливая и золото, и кровь, и скрытую тревогу. Близко шлепали опорки, и где-то далеко слышался волнующий неясный гул многих голосов.

Весь этот сумбур — Таня, «Эрфуртская программа», Лиза, отцовы чудачества и услужливый громила — мелькнул в голове Митеньки; он, поморщившись, тряхнул кудрями. Назойливо пьянящий запах тополей, запах мутного вечера перенес его в Кохму... Но вверху открылось окно.

— Лиза!.. Это ты? — тихо спросил Митя.

— Митенька! — раздался шопот Натальи Львовны: — Что ты тут стоишь? Вечер сырой, вечер вредный, не стой так, раздетый... Господи боже, и куда это Лизавета пропала!

4. ЛИЗА

Женичка Кокин, так рано умерший от чахотки, в свое время был первый мазурист в городе. Автор

злых эпиграмм, второй разочарованный Печорин, он познакомил Лизу с некоторыми мыслями и книгами. Его злой саркастический язык, весь его шероховатый облик остались жить в воспоминаниях Лизы.

Была еще у Лизы подруга, легкомысленная Валя, дочь фабриканта Рыбулина. Валя книг не читала, но в доме странного Рыбулина были до потолка полки книг, и там Лиза нашла Герцена, Кропоткина, Степняка. Тайком от самого Рыбулина носила книги домой и читала, пока Валя не уехала в Москву.

Портниха Варя Чистова, худенькая, с птичьим лицом, шила на Наталью Львовну и Лизу, была говорлива и раз выпросила у Лизы книжку. А потом и сама приносила ей посмотреть: это были маленькие нелегальные книжки. Так как они были вполне запретные, их читала ночью, не переводя духу. Скоро Варя пригласила ее в кружок. Там были служащие фабрик и интеллигенты Возневанска. Ходила пять раз, слушала доклады. Жертвовала деньги.

Наконец, Лиза попробовала заниматься в воскресной школе с рабочими. Мама узнала, плакала и запретила. Осталось все-таки знакомство. Кое-кто из рабочих ходил к ней и брал книжки.

Лиза стремительно влетела в квартиру Чистовой. Мастерица шила, рядом в комнатушке на нарах портняжил отец Вари, старик, похожий на дьячка. Он тянул песню и даже не поднял головы.

— С утра ушла наша мадама, и вот нет. Посидите, может, скоро будет. На фабриках-то опять заворошка пошла. Присядьте.—Мастерица откусила нитку и улыбнулась: — Вот послушайте, как дедушка Тимофей поет. Что твой архирейский певчий!

В комнате в клетках чирикали птицы, было душно, со стены смотрел усатый генерал. Дедушка в соседней комнате затянул протяжно, с переливами:

Когда я мальчишка
Молоденький был...

Мастерица закатилась молодым смехом:

— Хорош мальчик! Дедушка Тимофей, а когда это было?

Дедушка не ответил; ноги колачиком, он раскачивался над работой и тягучими руладами состязался с пением птиц в клетках:

Кресты и медали
Висели на мне,
Прелестные дамы
Ласкались ко мне...

Лиза не усидела, выскочила на улицу и пошла бродить.

Кучки рабочих, особенно женщин, возбужденно сновали по улицам, перекликались, читали листовки на заборах, громко разговаривали.

— Решено и подписано! Пущай на ус мотают, кому знать про нашу жизнь надо.

— За дело взялись, что говорить!

— Дело хорошее! Мы сами свою силу не знаем. Народ сообща все может, великое дело — ежели сообща.

— А то как?

— Давно пора! Вот читайте. Вот наши требования какие!

Лиза остановилась, немножко всему чужая, и стала читать параграф за параграфом.

— Грамотная? Ну-ка, читай. Читай громче...— обступили ее женки.

Снова стала читать вслух.

Чтение прерывалось возгласами, спорами и об'яснениями.

— Читай! Не мешайте, женки.

— Ага, болезные, взялись за ум! — подошел рабочий. — Хорошу грамотку написали?

Другой мрачно растолкал всех и ткнул наставительно в забор пальцем:

— Вот поломай башку, хозяйская контора. Убол-твори, попробуй!

— Тут голову ломать нечего, — вступился третий. Лицо у него было темное, как у кочегара, но глаза и зубы блестели. — Я так скажу: на одной фабрике хозяин — зверь, в бараний рог согнул нашего брата. Ну, к нему, стало быть, и пунктов этих больше. А который кровопиец помягче, — пососет да отпустит — ну, тому и пунктов всыпем меньше. Так, что ли, женки?

— Не мешай!

— Тут мешать нечего, — опять заговорил мрачный, тыкая пальцем в программы. — Вот тебе Учредительная собрания, поняли? Тут кашу так замешали с маслом, что дальше итти ему некуда.

— А выходит, братцы, — вступился новый тенорком: — выходит, все они нашу кровь пьют и на наши гроши в заграницу ездят.

— Обязательно!

— Мужики, чего женкам читать не даете?

— А мы их просвещаем. Они со слов лучше глотают.

— Ха-ха-ха! — Теперь везде клуб. В отхожем — клуб, в коридоре — клуб, на кухне — клуб. У нас на спальнях и в козла перестали играть.

— А у нас заместо трибуны в бараке ящик из-под пряжи. И целый день говорили.

— А у нас управляющего хотели вывезти, а его шалью накрыли, так и не нашли. Женки пожалели.

— А у нас...

— Ну, будете слушать?

— Читай, читай! Читай сначала!

И Лиза принялась опять читать громко параграфы. Чувствуя, что за ее спиною толпа растет, она все более и более повышала голос.

Ее совсем прижали к забору, дышали над ее ухом, справа и слева заглядывали в глаза. Некоторые места требований забастовавших вызывали вздох толпы, кое-где всхлипывали, крестились.

— «Отпускать рожениц за две недели»...

— Отпускать, отпускать! — закричали все сразу. — Как не отпускать!

— «Безусловно вежливое обращение»...

— Безусловно! — кричали опять. — Чтоб на нашего брата ногой не топали, матершинники.

— Тише!

— «Право сидеть ткачам»...

— Слышь, Маруся, сидеть!.. Не приведи бог, сядешь, а он тебя в штрафную...

— Сядешь! В кутузку сядешь, там и посидишь.

— Там нашему брату сподручнее. Сиди да сиди, да тюрю ешь.

— Ну, тише. Ты, тюря!..

— Загалдели, грачи. Слушайте, что читают. Сколько добра написано!

— Кто писал — не жалел. Видно, что не Мефодка сочинял.

— Ха-ха-ха!

— Тише!

Но опять, как дети, непривыкшие долго слушать, возбужденные, радостные уже от того, что услышали в сухих параграфах о лучшей жизни, размечтались и долго перекидывались восклицаниями. Пришлось чтение повторить.

Лиза устала, но общее возбуждение сообщилось ей. Ей стало тепло и радостно, и она выкрикивала требования пункт за пунктом; прочитав, оборачивалась к толпе, чтобы было лучше слышно, и говорила уже на память. Незаметно для себя, она стала даже слегка жестикулировать. Толпа облепила это место, увлеченная и заинтересованная видом изящной барышни, хотя и в платочке.

Когда, наконец, кончила, кто-то дотронулся до ее плеча. Она обернулась и увидела Михаила Лакина. Он смотрел на нее, закрасневшись, из-под своей шевелюры.

— Лизавета Ильинична!

— Миша! А я вас ищу. Вот мне и награда за мои труды. Вы очень мне нужны, очень. Пойдемте.

Они вышли из толпы.

— Куда пойдем? К собору? Хорошо? Там можно сесть. Отчего у вас такой пыльный вид?

— Боевой, а не пыльный. Вы слышали, как наши дела развернулись? Бастуем.

— А отчего тогда в лесу молчали? Заговорщик! Я вам хотела за это в лицо фиалки бросить.

Лакин нахмурился.

— Почему же не бросили, Лизавета Ильинична? Мы фиалки редко нюхаем. Вы, поди, их Мефодке бросили?

— Да, да, ему! А вы зубами скрежещете! Чем Мефодий Иваныч хуже? В нем дикая сила.

— Ничем. Даже очень лучше.

И Лакин искривился болезненно и насмешливо.

— Книжечку я вам вернул. Жаль, не успел дочитать. Теперь некогда.

— Когда вы вернули?

— Да я ее на окошко положил. Аннушка меня ввела, я и положил. И записку черкнул, видели?

— Дурак!

— Покорно вас благодарим. Может, уходить?

— Простите! Это не про вас. Это Митенька — дурак или папа — старый Наполеон. Что вы ко мне пристали?

— Я?

— Ну, да: я! Я — последняя буква в азбуке.

— Знаю-с.

— Да, знаете! А вот не знаете, что книжка и ваша какая-то глупая записка отцу в руки попали!

Лакин остановился, остолбенев. Краска бросилась ему в лицо. Он хлопнул, наконец, себя по лбу.

— Фу! Оплошность какая! Это с забастовкой я и не подумал. Спешил.

— Спешил! А почему спешили? Хотели книжку швырнуть? Да? Признавайтесь, Михаил. Не дочитал, и вдруг загорелось. Это вы за Мефодия рассердились, я вас насквозь вижу. Ужасная гордость! Фанфарон! Другого слова вам нет.

Они зашли на маленькое кладбище около собора, сели на скамеечку и посмотрели на город. Река извивалась, как большая змея: торчали трубы; тянуло снять-ся с места и полететь по воздуху.

— Никогда вам не прощу.

— Лизавета Ильинична! Лиза! Я и сам не пойму, как я такую чудовищную глупость вытворил.. Ведь я вас подвел.

— Ничего особенного. Больно я их всех испугалась! А вот, что вы книжки возвращаете, не дочитав, это определенно глупо.

— Я дочитаю,— пролепетал Лакин, подавленный своей виною.—Я вам об'ясню. Теперь за нами усиленная слежка начинается, и я думал месяц, а то и два к вам не ходить. Чтобы гостей не привести. Хотя ваш папа и из ихнего лагеря, а все-таки...

— Вы, Михаил, очень глупы! Вы меня раздражаете. В городе такие события! А вы боитесь барышню потревожить. Я вашей тюрьмы не боюсь. Было бы за что сесть!

— Ну, так вот, и я тоже. А за что вам садиться? За одну книжку? Стоит того. Теперь время такое, мы уж не за книжку беремся.

— В топоры! Как сказал Бакунин!— воскликнула Лиза, лицо ее загорелось, и она встала, скинув платок на плечи. Лакин потупился и потух.

От реки подымались сумерки; холодное ложе реки, редкие каменные дома и деревья,— все расползалось по швам; контуры начинали клубиться; мутные испарения ползли к подножьям фабричных труб, и трубы начинали будто дрыгать и плясать, как озорные великаны, на одной ножке. На облаках багровое золото разгоралось ярче.

Лакин обошел кругом памятника, прочел надписи и опять сел.

— В топоры! Нашему брату ничего в том удивительного нет, что и в топоры загулять. Только теперь оружие потоньше есть. А вам что? Вам баловство. Топор — не книжка. Не хочу я вас такую, Лизавета Ильинична. Да... Когда я раньше умом раскидывал, маленький, вот все думал. Бывало, в церкви за обедней стоишь, там часы долбят, а ты думаешь: когда стану большой, выстрою такой дом, огромаднейший, и вот заберу в него всех, значит, забитых, всех оборванных и несчастных. Теперь знаю: дома такого не устроишь. И одна нам планида. А вы бы, Лизавета Ильинична, шли бы домой: хватятся вас. Что по ночам гулять, теперь люди все напружинились.. Давайте, я вас провожу.

— Не надо. Я люблю, когда вы, Лакин, мечтаете. Вы похожи на Женичку Кокина — и стихи пишете, только в вас злость мягкая, а в том была сухая. У вас длинные ноги, вы могли бы хорошо мазурку танцовать.

— Нет, мне легче мазуриком быть, чем танцовать.

— Ну, расскажите сон.

— Сон?

— Ну, да. Разве вы не заметили, что всегда мне сны рассказывали?

— Нет, я как-то не заметил. А может быть, и рассказывал. Вот сон какой. Хотите?

— Хочу.

— Она идет впереди, легко, как танцует. А я за ней карабкаюсь на утес. И мне очень тяжело. Даже ногти на руках больно. Вот я так вползаю, вползаю, хвачусь за травку, а она — с корнем вон. А ей, которая впереди, легко. Ветер сшибает. И фуражка слетела. Все-таки влез. Влез... Гляжу. А ее нет.

— Это вы, Лакин, выдумали?

— Выдумать можно лучше,— и он встал и посмотрел кверху.— Простите, что я так вас с книжкой подвел. Эх, ночь! А кто знает, что завтра будет! Люблю я ночь. Ночью вам меня не видно. Нехороший я... вот пыльный, вы сказали. Уж какая в нас красота! Мы вышли из рядов нищеты, грубы мы и уродливы. Если не хотите, чтобы провожал, прощайте.

— Прощайте, Михаил. Хотите, я вас благословлю на подвиг?

— На какой? Да я и в благословенье не верю. Давайте лучше руку. Вот в моих грубых руках ваша, точно игрушка...

Он бережно пожал ей руку и ушел. Лиза поглядела испуганно по сторонам, на памятники, послушала где-то далекий смутный говор и вдруг, неожиданно для себя, горько заплакала.

5. ТРИБУНА НА ПЛОЩАДИ.

...Слышен говор задорный,
Грозны с трибун голоса.

Авенир Ноздрин.

Городская площадь перед управой была не очень велика. Это, в сущности, было продолжение большой широкой улицы, тянувшейся через весь город и упиравшейся, наконец, в городскую думу. Конец улицы— устье, едва ли можно было сравнить со впадением реки в море: нет, здание управы фабрикантов было только преградой для улицы, как оно и было действительно преградой для рабочего движения. Сколько раз волны рабочих здесь разбивались о казацкие заслоны! Не грезилось ли каждому возневанскому ткачу в самой вывеске этого здания такое предупреждение: «Смотри,

голубчик, не рыпайся. Я найду на тебя управу!» Он, этот голубчик, хорошо знал, какая была управа под золотой полинявшей вывеской. Управский дом, двухэтажный, был не так уже велик, очень незамысловатой архитектуры. Сзади и с боков лепились около этого безвкусного дома ряды лавок и лавчонок, с «галдарейками». Над всем этим хаосом благочестивой торговли высились внушительная колокольня и храм..

В городе был старинный обычай: когда бастовали фабрики, рабочие собирались перед управой, и здесь вели торг с хозяевами; если соглашения не получалось, здесь их пороли казаки, и здесь же, по усмирении, выходил торжественно на крыльцо приехавший из губернии губернатор — отец и благодетель — и произносил успокоительную речь.

Так до новой стачки.

И на этот раз все говорило за то, что «история повторяется», но в общей тревоге и выжидательном жужжании в кулуарах управы были намеки и на то, что старой истории от частых повторений одних и тех же ударов грозит обветшание. Может притти на смену какая-то новая — кто ее знает какая! — история.

С утра 13 мая рабочая лавина стала наступать к городу, ибо, как это водится, городом зовется то место, где полагается сидеть власти. Шли гарелинские, грязновские, рыбулинские, полушинские, гундобинские, куваевские, баулинские и многие другие, имена же их ты, история, веси! Вот идут ткачихи в белых платочках, и впереди их худая, высокая Марта. Молча, сурово вглядываясь, идет она, будто на приступ. Вот идут прачки чернорабочей больницы, портнихи. С ними худенькая Варя Чистова. Идут штукатуры и каменщики,

они — сами по себе, и неведомо никому, как они столковáлись. Идут крепкие кузнецы, рабочие-металлисты, химики. Все вливаются в общий бушующий котел. Пока еще никаких разговоров с хозяевами, надо еще самим отвести душу. Боковые потоки рабочих уперлись в галдарейки лавок, серые фигуры людей лепятся повсюду: на уступах домов, на ступеньках, на фонарях и заборах. Даже по крышам ползают люди.

— Вот когда урожай на рабочего! Гляди, народу тысяч сорок!..

— Урожай, — значит народ будет дешев.

— Яблоку негде упасть, а все идут и идут...

— Каждому хочется начальству в глаза посмотреть, какие они у него: зеленые, как у чорта, или карие, как у кота.

— Бесстыжие, вот какие!

— Да, чай, оно, начальство, от страху под кровать залезло.

— Погоди, не храбрись, сыщется. Узнаешь, когда спина зачешется.

— Тише! Стой, робя. Трибуну из людей делают.

— Ну-ка, робя, дорогу! Гражданин идет! Ура, Евлаха!.. Ура-а-а-а!..

Евлампий Дунаев протискивается к своим ткачам. На тощие их плечи взбирается он, размахивая фуражкой и что-то крича со своей живой и подвижной трибуны. Радостные клики в ответ перекатываются, как волны, ударяясь в стены площади. Окна управы открыты и усеяны слушателями, как деревья галками. Только среди этих черных галок кое-где блестят светлые пуговицы.

Колеблется трибуна под Евлампием, но сам он тверд, в нем нет колебаний. Его голос, приятный фальцет, звучит резко и уверенно.

— Товарищи, я вылез к вам на эту живую трибуну лишь для того, чтобы громко сказать то, что каждый из вас твердит про себя. Это не отче наш, хлеб дашь, от лукавого. Нет, это не молитва громкая, на всю площадь, это речь гражданина и тоже о хлебе. О хлебе насущном мы будем говорить, товарищи! Те наши 26 требований, которые вы знаете, товарищи, и которые вы все должны, как один, отстаивать у себя по фабрикам, те наши требования и есть наш хлеб насущный. Без этого наша жизнь ни в жизнь, нам нет житья и нет мочи терпеть. Товарищи! Каторжники в тюрьмах едят лучше, чем мы; каторжники в тюрьмах отдыхают больше нашего; каторжники в тюрьмах не боятся, что их вышибут на улицу. Обиды, вычеты, штрафы, утеснения!.. День велик, работай, а заработанного — грош. На этот грош — тухлую селедку, хлеб да картошку, вот и все. Это ли не хлеб насущный! Наши фабриканты — ведь они наши отцы, они о нас пекутся, так пекутся, что мы все время точно в печи поджариваемся... Кровопийцы они, сукины дети!

Громовой крик сочувствия и восторга от неожиданного оборота заглушил слова Дунаева, и вся площадь долго содрогалась перед этим тощим ткачом с большими горящими глазами.

— Товарищи! — продолжал Дунаев. — Я человек мало ученый, я прошел огонь и воды, но не прошел ни одного коридора никакой школы. Где там! Нам некогда учиться, но мы хотим, чтобы наши дети не ходили, как мы, в темноте. Пусть нам дадут лучшую

жизнь, а еще больше того — пусть дадут лучшую жизнь для наших детей. Жизнь по спальням и по квартирам, где мы ютимся в своих углах, как тараканы, по нескольку семей, — эту жизнь пора выводить на свет, пора рабочему дать простор, хороший отдых и жене его человеческую жизнь. Все ли с этим согласны?

— Все! Согласны! Браво, гражданин! Говори, Евлампий! — гудела площадь, и кверху подымались тысячи рук.

— И вы, женки, согласны? — обернулся к ткачихам Евлампий с тонкой душевной усмешкой, и новый взрыв женского ликования огласил площадь,— сильно по душе была речь Дунаева женщинам. — Ну, женки, теперь смотрите, чтобы не сдавать. Трудна наша борьба. Я сказал — пусть нам дадут. А ведь, братцы, никто нам ничего не даст, если мы сами за руку не потянем. И вот, когда мы приступили к делу, вы, женки, не ослабляйте нашу твердость жалобами и упреками на безденежье и недохватки, а может быть, и на голод. Тяжела борьба! Давайте ее вывозить все сообща на своих плечах. Я вам сказал: не ученый я, мало книжек читал, но есть книжки, которые мы все твердо знаем — книжки расчетные и книжки заборные в потребилке и по лавочкам. Слушайте, женки! Мы эти книжки почнем исправлять в первую голову. Вот откуда мы начнем наше просвещение.

Взрыв аплодисментов покрыл речь Дунаева, и даже в окнах управы добродушно улыбались.

— Итак, товарищи! Здесь я вскарабкался на ваши плечи не для того, чтобы на вас свысока посмотреть. Нет, эта честь принадлежит нашим хозяевам, — они крепко сидят на нашей шее и посматривают на нас, как

на рабочую скотину. Это уже их дело. А я поднялся лишь для того, чтобы выразить наше общее решение. — Тут Дунаев поднял руку. — Мы, рабочие Возневанска, будем держаться крепко, будем стоять друг за друга, и хозяева уступят. Наши враги стоят на распутье: уступить или сопротивляться. Какую они дорогу выберут, от нас зависит. Каждый день простоя бьет по фабриканту, они должны в конце концов сдаться. Пусть же ничто, товарищи, не сломит нашу грозную силу!

— Ура! — отвечала толпа.

Когда заговорил товарищ Терентий, в управе отворилось больше окон, как будто белый дом навострил все свои многочисленные уши и глаза. Золотых пуговиц, блестевших на солнце, прибавилось. Ибо речь Терентия от фабрик и заводов восходила выше, и целыми пригоршнями бросал он гневные слова о произволе и самодержавии. Терентия плотно окружал слой своих крепких товарищей, во главе со Станко, готовых всегда на выручку.

Потом площадь снова загудела, и все глаза обернулись к другому месту. Там среди ткачих поднялась, как монумент, Марта.

— Братья и сестры! — начала взволнованно Марта, и большой голос ее раскатился над головами. Все затихли. Несколько мгновений она молчала, но многие, глядя на ее обуреваемое порывом лицо, плакали. — Братья и сестры! Ютилась я всегда, как и вы, мои сестры, в тесных хибарках да в боковушках; негде мне было разогнуть спину, и вот, первый раз, стою я прямо. Уж одного этого не надо нам забывать, женщины, не надо клясть борьбу наших мужей и братьев.

Пойдем вместе с ними в ногу. Женщину замучили в работе, замотали, не дают ей вздохнуть; посмотрите: она и работница, и жена, и мать, и нянька! Она — все, а должна довольна быть — ничем... Она ищет лучшей доли, ищет и молчит, а что ни шаг, то для нее новая кабала, то новая петля. Как ей искать защиту! Против поругания девичьей красоты хочу говорить вам, против увядания женщины, жены и матери. Братья и сестры! Надо, очень надо нам самим заступиться за женщину...

Так говорила Марта. Слушая ее, женки утирали слезы. И следом за Мартой стали подыматься на трибуну другие.

Но вот к месту трибуны протолкнулся плотный, высокий рабочий, с орлиным носом и уверенной улыбкой.

— Эге, этого на плече не выдержишь! Братцы, скамейку бы, что ли, какую?

— А вот есть! Чем тебе не трибуна! — выкрикивал маленький ткач, прокатывая вперед бочку из-под сахара. — Эй, посторонись! Позволь! Позволь! Трибуну катим. Иван Иваныч Мукосеев пожертвовал, только, говорит, заборных книжек с моей бочки не касайтесь. Слышь, Миша?

Миша Лакин поднялся на бочку, и сразу радостные улыбки пробежали по всем лицам. Он снял картуз и потрепал рукой свою шевелюру. Лицо его, с крупными чертами, было внушительно.

— Савонарола,— сказал одобрительно Терентий.

— Никак нет, не они,— поправил его маленький ткач. — Это Грязновский Миша, очень даже хорошо известный, компанейский человек.

— И все-таки Савонарола, — повторил Терентий.

— Ну, как хотите, дело ваше, — обиделся ткач. — Коли вы больше знаете, то можете не узнать и Грязновского Мишу. А мы его, слава богу, знаем... Миша, заводи! — вдруг в необыкновенном восторге, захлебываясь, крикнул он, и все засмеялись.

— Вот, товарищи, какой сегодня хороший май! Солнышко, — сказал Лакин и поднял глаза в синеву.— А нас все фабрика за хвост держит. Видно, уж так на роду положено: богачам гордиться, попам молиться, а нам — только трудиться... Рады солнцу и траве и цветок и птица, а почему же мы все так угрюмы? Кто отнял у нас эту радость? Кто обратил наш день в этакую серую, беспросветную канитель? Вон, братцы, глядите: ишь, из окна высунулись все персоны, и у каждой персоны на брюхе дюжина сиятельных пуговиц. «Богачи, кулаки жадной сворой расхищают тяжелый твой труд, твоим потом жиреют обжоры!..» — это не про их ли милость, братцы, сказано? Не про их ли ту самую власть, которую они вкупе с попами да с казаками на нашей трудовой широкой спине взгромоздили? «Воля ваша, спина наша...» Долго ли, братцы, мы еще все так будем говорить. Когда придет то времячко, и мы скажем: «Спина наша, да и воля наша, эй!» Чиновные и полицейские сиятельства из окна слушают, ухмыляются и, поди, думают: «Одует вашу честь. Никогда рабочему своей воли не видать». Так нет же, товарищи-други, нет и тысячу раз нет... Берись рука за руку, не уступай!.. Тише, милые, не кричите. Я еще не все сказал.

Лакин сделал крутой поворот к под'езду управы, указал на него левой рукой и торжественно произнес:

— «Размышления у парадного под'езда».

Слова эти, как ветер, пронеслись по толпе, все насторожились. Толпа замерла, сдвинулась со всех сторон к Лакину, и вот, перед восхищенными лицами рабочих, полились в мастерской, горячей читке стихи Некрасова:

Вот парадный под,езд. По торжественным дням,
Одержимый холопским недугом,
Целый город, с каким-то испугом...

Ни одна из сказанных речей так не западала глубоко, так не волновала толпу, как эти, мало кому из рабочих известные стихи, и долго потом, в трудные дни забастовки, бичующие строки Некрасова, сорвавшиеся в этот день с уст Михаила, и сам он, «Грязновский Мишка», выросший и преобразившийся на трибуне, жили в памяти рабочих и поддерживали в них дух неукротимой борьбы.

6. ЧАШКА ЧАЮ У ГУБЕРНАТОРШИ

N—ский губернатор, егермейстер двора, Валерий Аполлонович Леонтьев, получив последовательно три тревожные телеграммы от полицмейстера заштатного г. Возневанска, собрал семейный совет, на котором присутствовали молодой, но прыткий чиновник особых поручений Жак, еще более молодой брат его Шурочка, в обществе называемый Жак второй (вообще же братьев в губернии звали Жаки); Жак второй, он же Шурочка — секретарь суда, был автор известного во всей губернии романса «О, не гляди на эти розы!..» и имел весьма трезвые взгляды на политику и рабочий вопрос, что ценила супруга губернатора. Присутствовал товарищ прокурора Иван Ива-

нович Чернявский, человек замечательный во всех отношениях, которого в обществе иначе не называли, как «умница-Чернявский». Хотя и Иван Иванович, — только! — но согласно своей же остроумной пословице — «каждый чорт Иван Иваныч», товарищ прокурора, сильно смахивал на Мефистофеля: высокий, сухой и острый, лицо как бы изломлено по линии насмешливого рта, отчего нижняя губа легко достает кончик длинного носа. Оставалось только посадить Ивану Ивановичу для большего сходства с заграничным бесом над большим, открытым лбом маленькие рожки; злые губернские языки и говорили, что эти рожки Чернявского давно лежат в кармане вице-губернатора, и он по требованию может их во всякое время приставить. Смысл этой остроты был достаточно темен, если не принять во внимание, что красивая жена товарища прокурора терпеть не могла философии и явно предпочитала всякой словесности — быстроту, глазомер и натиск. Присутствовали скромно два жандармских ротмистра Шлегель и Левенец. Последний командировался в Возневанск на место бездарного Тимофеева, а первый туда же с особыми инструкциями и с правом сноситься непосредственно с самим генералом Треповым и ездить в Петербург для докладов. Тихий, загадочный Шлегель пугал собою и своими связями и кроткого Валерия Аполлоновича и его супругу, почему и введен был в круг семейный не без задней цели: за чашкой чая легче было раскусить подозрительную немецкую штучку. Сама губернаторша, Маргарита Оттовна, замечательная своею почти царственною полнотою и двойным подбородком, умением сказать веское слово, была в сущности председателем

этого совета. Она делала дружеское напутствие всех собравшимся, от'езжающим в Возневанск, и, главное, что было темою разговора всего вечера, она стремилась выяснить, какими мерами предохранить от покушения драгоценную жизнь Валерия.

Заседание совета, или чашка чаю у губернаторши, было созвано секретно от ретивого и непоседливого вице-губернатора Сазонова, ибо этот, по духу «солдафон» и рубака, знающий лишь политику кавалерийских атак, ясно, не мог способствовать своею глупостью и наскоком ни целям усмирения, ни, главное, целям сохранности жизни губернатора.

Страх покушения, ползучий, темный страх, витал вообще над домом Маргариты Оттовны, мешая Валерию развернуть вполне свои тонкие административные дарования, и вице-губернатор, столь дискредитировавший губернскую власть своею прямолинейностью вороны, втайне почитался злейшим врагом губернаторского дома.

Впрочем, страх этот был не более, как мания супруги, так как сам егермейстер высочайшего двора был человек достаточно легкомысленный и вольнодумный, основною губернаторскою программою которого было украшение. В своих безвредных и невинных усилиях украсить город и украсить жизнь его обитателей, губернатор N—ска не знал устали: благодаря ему возникли некоторые любопытные здания, хотя бы временные, выставки и музеи и некоторые еще более любопытные проекты по устройству набережной реки, введению новой формы для курьеров и учителей, особых пелеринок для гимназисток, проект украшения балаганами особой художественной формы яр-

марочной площади. Благодаря Леонтьеву возник новый живописный бульвар по откосам на берегу реки, Леонтьевский, пока еще с жидкой растительностью и оголенными дорожками, но обещавший со временем затмить старый. Недаром по городу циркулировали стихи, приписываемые молвою умнице-Чернявскому и начинавшиеся так:

Довольно трудная задача
Бульвар стихами описать...

Его превосходительство прекрасно играл на виолончели и весьма способствовал расцвету N — ской лиги любителей музыки.

Собравшееся у Маргариты Оттовны почтенное общество было очень оживленно в предвкушении поездки и связанных с нею опасностей.

— Да, — после долгих обсуждений и речей сказал губернатор, — да, — и его бритое артистическое лицо отобразило грусть и мечту. — Да! Сорок тысяч забастовщиков! Эта громада может натворить дел на всю великую Россию. Скопление бродящих скопищ, как выражается мой великолепный полицмейстер, в центральном расположении толпы...

Жаки, одновременно наклонившись в противоположные стороны, прыснули от смеха.

— Да, да, мои дорогие, так он пишет. Он бывший урядник, но отчаянной храбрости человек. Словесность у него хромает.

— Тащить и не пущать... — сказал Чернявский и переложил свои длинные ноги с одного колена на другое. — А со времени Святополка у нас обстоит несколько наоборот: пущать и не тащить. Вот почему

мы и сбиваемся с панталыку... Это все равно, что от кукушки требовать соловьиной трели...

— О, я прекрасно понимаю Кожеловского, и нам не нужно, чтобы он пел неподобающим соловьем! — воскликнул Валерий Аполлонович, закинув глаза.

— Святополк делал весну, но он не имел достаточно времени, чтобы создать новых певчих пернатых, — сказал глубокомысленно Шлегель, причем губернатор и его жена переглянулись.

— Я думаю, — сказала вразумительно и солидно Маргарита Оттовна, — хоть я и не стратег, но, по силе моего разумения, вам, друзья мои, во что бы то ни стало придется вывести эту буйную бастующую массу из города.

— Это можно легко сделать с помощью флейты или виолончели, — усмехнулся Иван Иванович и переложил по-другому ноги. — Как некий крысолов, сладкой музыкой мы выведем их из города.

— Почему же!—спокойно и философически сказал Шлегель. — Это можно сделать с помощью сотни казаков. Но толпа имеет скверную привычку расходиться по домам. И тут уже Арнольду Федоровичу придется поработать.

— Что намерены вы этим поставить мне на пример? — беспокойно заерзал Левенец.

— Обыски, Арнольд Федорович, обыски... Чтоб обезвредить массу, надо выловить ее вожаков.

— О, да, вы планируете, совершенно отвечая моим точкам зрения. Обыск, арест, строгая изоляция—вот!..

Он не кончил. и опять заерзал на стуле.

— Но позвольте, господа! К чему излишняя горячность! — воскликнул губернатор. — Ты, Мари, произ-

несла веские и ответственные слова «буйная масса». Имея в руках нити и сведения, могу вас всех уверить, господа, пока ничего буйного, ничего страшного, и я весьма рассчитываю на силу вразумительного слова. Подумайте! Мой прекрасный полицеймейстер доносит в своем стиле вот в этой последней телеграмме нижеследующим образом... С вашего позволения, я прочту... «Сорокатысячная толпа, находясь на подступах к городской управе»... Гм!.. это надо читать: на площади... «ведет себя спокойно, и рабочие охраняют порядок». Подумайте! Они сами охраняют порядок! Но слушайте далее: «Противоправительственной агитации вполне нет, за исключением неизвестного рабочего, по всем видимостям переодетого студента, который с бочки прочел, обращаясь к дверям управы, запрещенный стишок собственного сочинения».

Дружным смехом ответило собрание на это донесение Кожеловского, особенно смеялись Жаки, только Левенец испуганно задвигался, не понимая причин смеха и вглядываясь в лицо Маргариты Оттовны.

— Надеюсь, двери управы так и остались нераспропагандированные на этот раз,—воскликнул злорадно товарищ прокурора.

— О да!—сказал Левенец.—Это возмутительно, чтоб итти на площадь затем, чтоб читать скверные стишки в массы. Мы должны пресечь, и я даю мое слово, что преступник не уйдет от строгой изоляции.

Шлегель спокойно улыбнулся.

— Арнольд Федорович крепок на своем посту.

— О да,—обиделся Левенец ехидному тону коллеги.—По приезде в Возневанск буду иметь просьбу вашему превосходительству доставить совершенно соб-

ственную записку по материалам и на месте — как положение дел, так равно и средства устранения.

— Пожалуйста, — поклонился губернатор, закусив губы. — Я лишь скажу вам, господа, что с нами двинуты в Возневанск еще батальон гренадерского полка и сотня донцов. Будьте покойны. Но я решил пока не разгонять толпу. Это ты одобряешь, Мари?..

— Я думаю, Валерий, что наш друг Иван Иванович будет всегда держать тебя за рукав, зная твою горячность. Враги повсюду, и повсюду с ними бомбы и пистолеты. Поэтому в ваших воззваниях возьмите гуманный тон и не берите на себя особенно больших неприятностей. Самое главное — усадить рабочих на свои места и пустить фабрики... И да поможет вам всевышний!

Маргарита Оттовна тяжело встала, глянула в угол и перекрестилась. Это сделали все, кроме Ивана Иваныча, который, встав, попробовал нижнею губою достать кончик носа, на этот раз не сумел и только развел руками.

7. ТЕЛЕНОК

Еще дьякон Новотроицкий, потряхивая пышными волосами, громовым многолетием восходил по ступеням: «Много-о-о-ха-а-я ле-е-е...» (недаром звали его — без пяти минут возневанский Шаляпин); еще протоиерей Поспелов нащупывал в просторном кармане мелкоисписанный сверток — проповедь по случаю священного коронования — и, старчески дрыгая бородкою, волновался и трусил, как бы не осрамиться перед лицом губернского начальства; еще собор возневанский

набит был молящимися до отказу, до зыби туманной над головами, и староста собора, румяный Сережа Куражов, ловко распоряжался и орудовал за церковною стойкою, так же как у себя в мучной лавке,— а егермейстер двора, губернатор Леонтьев, нервно пошептавшись с Кожеловским, внезапно повернул со своего почетного коврика и, не дождавшись конца молебна, направился к выходу. За ним, через коридор потеснившихся обывателей, потянулась и вся свита.

14 мая. Утро. Губернатор огляделся и глубоко вздохнул, стараясь наложить на свое гладкое, бритое лицо признаки майской приятности. Паперть собора блестела камнями, белою стеною и золотыми венцами нарисованных на ней святых. Майский ветер был почтителен и ласков.

Валерий Аполлонович легким знаком поманил свою коляску и, оглянувшись с улыбкой на гнусавых нищих и хлопотавшего около них — Осади! Ос-с-са-ди!.— сердитого помощника пристава Саваренского, вынул из кошелька серебряную и медную мелочь и передал старшему Жаку для дальнейшего. Чувствуя прилив сил и довольный, что оторвался, наконец, от нудной церковности, он легко прыгнул в коляску, юношески подмигнув прокурору. Следом за ним поместился Иван Иванович, настроенный более желчно и мрачно. Кожеловский озабоченно ехал в передней коляске, сзади же губернатора в двух экипажах расположилась свита.

Поезд, ретиво цокая копытами лошадей, мягко покатился к городской управе.

— Бог милости прислал,— сказал Леонтьев прокурору, шутливо подтолкнув его локтем в бок:— так

полагается говорить богомольным людям, разламывая просвирку после обедни. Но милость — милостью, а бунтовщики все свое. Вы слышали, добрейший Иван Иванович: они уже прут на площадь, и я боюсь, что мы не успеем и позавтракать.

— Ваше превосходительство, если они прут, то очевиднейшим образом им нужен прут. Я готов побожиться всеми сегодняшними угодниками, что у каждого из них, т. е. у бунтующих рабочих, одно место чешется более...

— Чем у вас, злословец мой, ваш красный язык. Ха-ха-ха!.. О, уж этот прокурорский язычок. Он все-таки немножко красного цвета. Сознайтесь?

Оба залились майским беззаботным смехом.

В передней коляске помощник пристава Саваренский наклонялся к уху полицмейстера и, почти касаясь его колкой щетиной усов, трубил мрачно:

— Помимо площади они вчера предательски устроили сходку на Талке. Тысячи две. Сукины дети!.. Я думаю так, что настоящие решения и подстрекательства, так сказать, именно там, именно вот там...

— Что там? Почему там? Вы пробубнили мне все уши. Я не могу — там и там. Прикажете мне разорваться?!

— Ваше высокоблагородие, я лишь присовокупляю, что площадная суета — это лишь отвод глаз. Чистейший. Я присовокупляю...

— Ах, присовокупляйте, пожалуйста, кобыле под хвост, Кирилл Ефимыч! У меня и так-с голова кругом, чтобы еще что-нибудь присовокуплять. Двиньте отряд астраханцев на Талку и ничего не присовокупляйте!

— Слушаю-с.

Поезд без особенной лихости и осторожно подкатил к под'езду управы, когда уже вся площадь кишела рабочими; легкий гул пробежал от одного к другому, когда Кожеловский вытянулся в коляске во весь свой грозный рост и мрачно оглядел толпу. Ему вспомнили жестикуляцию с нагайкой, и дерзкие крики прорвались кое-где сквозь общий неодобряющий гул. Кожеловский быстро смылся.

Леонтьева встретил на пороге управы, приветливо сгибаясь, городской голова Дергулев — «Каустик», прозванный так рабочими за свою ядовитую хитрость.

— Просим покорнейше, ваше превосходительство, к легкому завтраку, червячка заморить. Народишко шумит, и пускай себе шумит. Сделали, ваше превосходительство, из безделья себе забавку. Но будьте спокойны, народишко этот я знаю: через три дня пары спустит. Пожалуйте. Язык болтается — челнок молчит; челнок в ход — и язык на полку — вот и вся иха забастовка-с. Пожалуйте, просим, ваше превосхо...

— Чуточку, Семен Мареич. Что он там говорит?

Губернатор и его свита прислушались с площадки лестницы у открытого окна к словам ближнего оратора.

Какой-то человек в картузе, покачивая над толпою козлиною бородкой, быстро сыпал словами. Трудно было разобрать, что он говорит, так как после каждого слова разливался смех толпы.

— Что он? Нет, что он такое? — придвинулся губернатор к окну, прикладывая руки к уху.

Жаки — по одному с той и другой стороны Леонтьева, — так же прикладывая руку к уху и почти-

тельно изогнувшись, попробовали повторять слова оратора.

— Так вот, братия!.. — крикнул человек в картузе, отер пот со лба и обвел толпу глазами; потом живо обернулся, увидел в окне свиту и снял картуз — залысела голова под солнцем, и кто-то внизу крикнул:

— Эй, накрой плешь! А то губернатор плюнет.

— Ха-ха-ха!..

— Так вот, братия, как мы все есть слуги царя и господ фабрикантов. И тем о нас пещися. Что я вам этим сказал? Я теми словами выразил вам вот что: облокотимся не на тот щит, который лежит в кармане...

— В кармане у нас кукиш, эй, лысый!

— Ха-ха-ха!..

— Вот, вот, а на тот щит, который смотрит с высоты престола.

— Что он говорит? — ужаснулся прокурор.— Он предлагает облокотиться на престол.

— Тс... тише.

— Это невероятно!

— ...и преклоним колена, — продолжал оратор, размахивая картузом, не обращая внимания на волны ропота, возникающие у его ног. — Да, говорю, преклоним выи. Ибо все остальное — гордыбачество. Дадим слово на защиту угнетенных, тех, кои дожили до минимума жалования. Но не тем путем, а этим.

И оратор указал пальцем на окно, где блестела свита губернатора.

— Долой! Долой! — зарычала толпа, подымая руки.

Картуз дрогнул, взмахнул в воздухе дугою, и оратор молниеносно исчез со своей вышки.

Губернатор расхохотался и в благодушном настроении, подталкивая локтем прокурора, стал подыматься по лестнице.

— Па-а-слушайте, господин полицмейстер, скажите па-а-жалуйста, а этот ка-а-налья, болтун, не вчерашний стихотворец, нет?

— Никак нет, ваше превосходительство. Это свой. Это, смею доложить, печных дел подрядчик, Безруков-с, человек надежный.

— Ах, вот как!.. Тогда я ничего не па-а-нимаю. Кажется, он говорил о минимуме жалования... это как по-вашему? Вы знаете, программа социалистов делится на максимум и минимум — вы знаете?

— Так точно, ваше превосходительство. Но здесь никакой минимумы нет, здесь только уловка, чтобы к вашему приезду урезонить забастовщиков. Тут у нас свое общество...

И Кожеловский зашептал, грозно вращая на губернатора глазами.

У стола с закусками губернатор сделал попытку освободиться от ретивого служаки и потянул за рукав старшего Жака:

— Слушайте, мой мальчик! Прежде всего телеграмму Маргарите Оттовне, и самого успокоительного содержания. Вы там знаете.

— Есть, — весело запружинился Жак, перекидывая бутерброд в другую руку.

В это время грузный коротыш — старший фабричный инспектор Свирский, плотно и продуманно закусив, подошел к прокурору.

— Благослови, владыко, сиречь, Иван Иваныч. Иду.

— Идете? И вам, Петр Петрович, не страшно? Господа! Господа! Петр Петрович идет в народ. Чем нам его благословить?

— Они с народом свои люди, — пробасил помощник пристава. — Петр Петрович не только политик, а прямо—политикан.

— Что вы им такое скажете, Петр Петрович? — обеспокоился губернатор. — Что вы намереваетесь сказать рабочему классу?

— Ваше превосходительство, я должен буду подтвердить рабочим, что их требования я вручил хозяевам. Это первое. Далее, мне придется коснуться того обстоятельства...

— Ну, да. Ну, да.

— ...что прямо-таки технически невозможно вести фабрикантам переговоры сразу со всей массой.

— Да, да, вот именно: тех-ни-чески.

— И я думаю, ваше превосходительство...

— Да, да, вы думаете?

— Что лучший способ уладить конфликт...

— Лучший способ... ха!.. — пробубнил в сторону Саваренский: — у казака в руках тот лучший способ, поверьте.

На эту густую реплику губернатор ответил страдальческой гримасой и, потянув за рукав инспектора, сказал:

— Ретивость моих администраторов вселяет в меня некоторый испуг. Так легко испортить всю нашу работу. Мы слишком с вами, Петр Петрович, люди прогресса, слишком, чтобы действовать такими некрасивыми способами, тем более пока мы не пришли к

ним логически. К сожалению, помощнику по самому роду его оружия... Продолжайте...

— Гм! — не смутившись продолжал инспектор: — Ваше превосходительство, всякому овощу свой сезон. Поспешишь, как говорится, и все такое прочее. Я полагаю, что данная стадия...

— Стадия! Вот именно. Прекрасно. Продолжайте.

— ... предполагает весьма удобным, если бы рабочие выбрали по фабрикам от себя делегатов для переговоров с хозяевами.

— Не забудьте, милейший Петр Петрович, — мягко вмешался Каустик, разглядывая сверху и снисходительно фабричного инспектора, — раз'яснить им так, чтоб они отнюдь не поняли вас по-своему. У этого народа все шиворот-навыворот. Именно: выборные ведут разговоры только по своим фабрикам, отдельно, без всякого касательства до других, только, только со своим правлением. Так мы их по частям помаленьку утихомирим, без всякого этого ненужного-с скопа и лишней всякой толчеи-с. Вот что, голубчик, старательно внедрите им-с.

— Да, да, да, — закивал Леонтьев, но лицо его отразило растерянность и испуг; почувствовал, что вопрос будет скучно-сложным и потребует напряжения, и, пожалуй, не так красиво все это дело повернется: вместо благодушия и примирения будут кричать, да еще дерзко, нахально... Ах, как бы с этим народом, в заботах не по здоровью не разразилась бы мигрень!

Перешли в другую комнату и слушали из окна переговоры Свирского с рабочими.

— Выборные... выборных... выбирать!.. — гудело в толпе, и, видимо, мысль эта нравилась.

Свирский вернулся красный, крякая и откашливаясь, и подпер, как крепкая тумба, стройную фигуру Леонтьева.

— Ваше превосходительство! Мне казалось бы, для успокоения, для должного эффекта... хочу сказать: единение власти и народа, и все такое прочее. Отчего не рискнуть?! Не выйдете ли вы к рабочим, ваше превосходительство? Настроение — ручаюсь. Совершеннейшие овцы, ваше превосходительство. Но есть вопрос: требуют об'единенного общего собрания выборных... Как прикажете поступить?

Старший Жак и второй Жак, услышав приглашение Свирского, шагнули решительно — с той и другой стороны пробуя оттеснить коротышку, но Свирский был упрям. Сам же егермейстер двора любил красивое, хотя море серых людей за окном смущало его. Он сделал отстраняющий жест тому и другому Жаку и, вздохнув, как будто скучая, поглядел на прокурора.

— Как вы думаете, Иван Иванович? Вы не находите?

Прокурор сделал загадочную гримасу: воротник сдавил ему горло.

— Ваше превосходительство, история вне всякого сомнения справедливо оценит ваше мужество и ваши благородные чувства, вашу гу... гу... гуманность. Оценит ли их толпа, оценит ли, — не знаю, ваше превосходительство. Во всяком случае в этот ответственный момент истории здесь первое слово принадлежит полковнику.

И прокурор, низко изогнувшись, поклонился Кожеловскому и, будто умывая, лихорадочно потер руки.

— Ум-м! г-ху!..— промычал Кожеловский под острым взглядом губернатора и боязливо оглянулся на Саваренского.

— Ни в каком случае,— твердо пробасил тот.— Никак, никак, ваше превосходительство! Мы не можем ручаться за эти... как их?.. эксцессы! Эксцессы, ваше превосхо...

— Стойте, господа,— поморщился губернатор.— Какие эксцессы, когда совершеннейшие овцы? Но почему же Петр Петрович может, а я, губернатор, не могу? Я не понима-а-аю!.. Помощник Саваренский, прошу не рассуждать и сопровожда-а-ать! Шинель, пожалуйста! Что такое? Я иду. Что вам, Жак? Милый мальчик, вы напрасно волнуетесь. В борьбе надо иметь крепкие нервы. Я иду.

И увлеченный ролью мужественного вождя, губернатор подставил плечи под накинутую шинель и твердо стал сходить по лестнице. Впереди растерянно семенил помощник пристава, несколько смущенных фигур сзади дополняли шествие.

— Губернатор, губернатор, сам...— загудело кругом.

Кое-кто снял шапки. Леонтьев, насупившись, отошел несколько шагов от крыльца и остановился. Заколотилось в груди — глаза, глаза, глаза!.. — сколько их! И он больше не мог шагнуть шагу. Голос упал, охрип — не узнал своего голоса, когда торопливо бросил:

— Дайте мне встать! — он показал дрожащею рукою вокруг себя: — Прошу. Повыше встать.

Откуда-то явился жиденький стул, но стул на голышах не стоял ровно.

— Не оступись, отец, — заметил ехидно старик в драном пиджачишке. — Неровен час...

— Тут и не такие летали, — протянул парень.

— Ш-ш! — зашикали на него: — Не видишь: губернатор!

— А я что! Я про сноровку говорю. Становись сам на этот стул, коли ты ловкач. Тоже носом клюнешь.

— Ваше превосходительство, пожалуйте на бочку, — пробасил Саваренский и потянул покорного губернатора за собою.

Рабочие расступились, и под острыми взглядами Леонтьев прошествовал тяжело еще несколько трудных шагов до бочки. Шел, как на эшафот. Дышали близко, рассматривали губернскую власть, будто хотели пощупать. Бросилась в глаза желтизна всех этих лиц и преждевременное старчество. Наконец, губернатор встал на возвышении и оправился.

— Красавчик, — где-то иронически прозвучал задорный женский голос. — Писаный патретик!

— Что губернатор, что ахтер, — не разберешь, — прибавил другой голос.

— Ну! Говори, аль нет! Тише, женки, раскудахтались!

Это было еще начало борьбы, когда толпа дышала полнотою силы, когда веселая шутка не сходила с языка и право на невинное озорство казалось уже большим достижением. Вот он, сам губернатор, отчитывается перед толпою!

Егермейстер двора вынул платок и подождал, собираясь с силами. В это время Саваренский внизу гаркнул:

— Их превосходительство желают вам сказать слово. Прошу, чтобы был порядок...

Губернатор протянул руку.

— Братцы, — мягко и успокоительно прозвучал его голос над толпою. — Братцы!

— Что он сказал? Что он сказал? — понеслось в толпе.

— Братцы — сказал, только и всего!

— Тише, слушайте!

— Братцы, — продолжал Леонтьев: — выслушайте меня. Прибыв сегодня и ознакомясь спешно с положением, я скажу. Я буду прям. Я не могу не посетовать на вас, что вы, братцы, в вашем нетерпении довели дело до такой степени, что вот мы — лучше головы губернии — ломаем их так и сяк, как бы пособить вашему горю и, говоря фигурально, вытащить воз из канавы на ровное место. Я буду деликатен. Я не буду касаться... Я не буду винить. Нет. Я знаю: ваш труд, ваш отдых... да, да... все это не без из'янов. Нет. Речь не о том. Но я буду прям. Я боюсь... да, да... я боюсь, я ужасаюсь, что эта мера, эта ужасная по размерам забастовка не даст вам того, чтобы могли дать обычные мирные переговоры...

— О чем говорить! Говорили, ваше благородие. Рази мы молчали!

— Говорить! О чем говорить!

— Прошу.

— Шутка — сказал: ужасаюсь. Что же тут ужасаться? Тоже, подумаешь, власть. Ужасаюсь!..

— Прошу.

— Тише! Слушайте!

— Как бы там ни было, братцы, быть может, я не те слова роняю вам, но мы, мы — власть — в нашем разумении полагаем так: ваши отношения с фабрикантами определяются добровольно. Понимаете—добровольно. Никто никого не неволит. От вас и от них, от ваших хозяев, зависит соглашаться и не соглашаться. Вот к чему вам и следует приступать. Всякое же насильственное давление недопустимо.

— Что он сказал? Что сказал?

— Недопустимо, вот что сказал.

— Что недопустимо? Что?

— Давление. Давление, тебе говорят.

— Прошу. Братцы, может быть, вы меня не поняли. Давление. Я хочу сказать — никаких насилий. Мирно продолжайте ваши переговоры с хозяевами.

— Продолжайте, говорит. Спасибо и на том!

— А ты поверни по-нашему. Ты наши требования читал? Ты бы сначала грамотку нашу прочел.

— Что? Что вы кричите? Не понимаю. Я буду прям. Да, скажу вам, всякая задержка в работах, братцы, это гибель для хозяйства, это крах, и тем гибель и для вас. Вот что надо понять. Поэтому будьте уступчивы, добивайтесь соглашения, идите на уступки. И главное — соблюдайте форму. Я призываю вас избегать незаконных сборищ и чуждаться тайных и явных подстрекателей. Не надо создавать опасности правильному течению жизни. Братцы, не вселяйте тревогу в мирных жителей, щадите ваших жен и детей. В свою очередь, мы, мы — власть. Да, мы... Мы учтем ваши желания, ознакомимся, но и вы сами, помня о ваших

правах, не забывайте и о ваших обязанностях. Надо как можно скорее ликвидировать смуту!

— Кого ликвидировать?

— Смуту.

— А? Что он сказал? Какую смуту? Кто мутил?

— Ваше превосходительство, а дозвольте вас одно спросить? — из толпы выделился маленький ткач и при этом поднял руку, делая знак задним, чтобы молчали.

— Пожалуйста!

— Вот что, ваше превосходительство. Так что дело у нас не пойдет, ежели нет гарантий. Ну, выберем мы, стало быть, наших депутатов, лучших людей, ну хорошо.

— Да.

— Ну, и нет у нас, стало быть, никаких этих гарантий. А без гарантий — что?

— Гарантий? От чего?

— А вот от того. Тут как ни хитри, а мы понимаем. Тут — мышеловка. Ты сам, ваше превосходительство, посуди, где гарантии, что их, лучших, в каталажку не свезут?

— Во, во! — закричали кругом. — Верно сказал. Нет гарантий. Обязательно свезут.

Губернатор сделал шаг назад, насколько позволяла бочка, и благородно ударил себя в грудь.

— Я даю вам честное слово, как N — ский губернатор, как егермейстер высочайшего двора, что этого не случится. Верьте мне, братцы! Итак, выбирайте ваших лучших, но не крикунов и не смутьянов, а ваши хозяева будут с ними обсуждать, как удовлетворить, братцы, ваши нужды. До свиданья. Я верю...

Голос его заглушили крики и вопросы, и уже ничего нельзя было разобрать. Гул усиливался. Решил, что довольно. Спрыгнул с бочки и, бодро охорашиваясь, еще раз прошел под напором тысячи глаз.

На пороге управы, опять приветливо изгибаясь, встретил его Дергулев и ввел, как героя, в зал думы.

Из толпы гласных выскочил юркий с козлиной бородкой — губернатор узнал в нем каналью-оратора с его «минимальным жалованьем». Печной подрядчик воскликнул:

— Их превосходительствам в день священной коронации государственных особ его императорского величества от признательных возневанцев наше честное — ура!

— Ура! — вразброд подхватили гласные, беспокойно косясь на окна, в которые было видно, как далеко волнуется и бродит многотысячное людское море, и на его текучей зыби там и тут, как брызги, выскакивают подозрительные ораторы.

Дергулев, приятно осклабившись, нагнулся к Леонтьеву.

— Прошу, ваше превосходительство, попробовать моих хлеба и соли. Прошу не отказать откушать как вас, так и всех господ губернских. Три часа — самый раз.

Коляски были поданы к другому крыльцу, не так заметно для толпы. Подталкивая под локоть прокурора и усаживаясь сам в коляску, губернатор улыбался, довольный собою:

— Да-с, любезнейший Иван Иваныч, сегодняшний день положил хорошее начало всей этой истории. Действия всегда дадут больше, чем ваш скепсис. Я уве-

рен: с нашим народом нужно только лаской, только мягким словом, и вот вы сами увидите...

— Дай бог, дай бог, ваше превосходительство,— искривился прокурор, — дай бог, как говорится, нашему теленку да волка с'есть. Вы спросите меня — кто теленок? кто волк? А я и сам не знаю, ваше превосходительство.

8. КАУСТИК И ЕГО ДОМ

Город хилых, жалких хаток,
Город каменных палат...

Авенир Ноздрин.

Валерий Аполлонович, остановившись официально в доме управы, где заняты были им три тыловых комнаты, называемые губернаторскими, в то же время осчастливил и дом Дергулева: две квартиры были необходимы, чтобы успокоить Маргариту Оттовну, да и вообще егермейстеру двора было приятнее держаться подалее от места сборищ. Забор с крепкой решеткой вокруг дома городского головы поражал своей массивностью; казалось, главным сооружением и был забор, построенный не только с расчетом на солидность, но и с установкой на красоту. Самый дом головы был задрапирован высокими мрачными елями; двухэтажный, серого цвета, он как-то терялся за своим основательным забором.

В доме приятно поразило губернатора обилие дюжих лакеев и всякой другой мужской прислуги.

«Здесь не пропадешь — подумал Валерий Аполлонович, бросая шинель на руки великана, вытянувшегося почтительно перед ним: — Именно, как за каменной стеной».

волюция не нашей думой обдумана, не нами и в оборот пущена... Вот что. В Питере, господа, наши правители ошибками кидаются, с'ехали с глузду, а у наших дураков рабочих головы трещат. Дурман весь политический идет оттуда.

— Мы в государственную политику, Семен Мареич, вникать не смеем-с, наше дело служащее, — деланно скромно вздохнул Замуравкин: — но мы их превосходительству хотим установить, что гласными у нас 14 фабрикантов, купцов 11 и разных прочих, домовладельцев и подобных, 17 штук. Вышло, значит, так, что главный голос за торговцем, и все мероприятия думы более по мелкой части-с. А крупный фабрикант — он с ленцой к общественному делу. Сколь я долблю, ваше превосходительство, что надобны действия об'единенные, по плану, рабочего не на произвол судьбы и первого заезжего иудо-масона бросать, а взять в хозяйский переплет, в ежи, в умственную обработку. Сколь я долблю, и лишь повсюду общую вялость вижу! Вот оттого у нас с бочек разных и трибун на весь город всякие противоправительственные стихи и произносятся. Вот оттого...

— Илья — вечная жертва своей заботы, — улыбнулся и перебил хитро Дергулев, так как губернатор густо покраснел при упоминании о бочке и разных трибунах. — Ты, брат, до Зубатова и Гапона еще не докатился, сидя здесь в своей конуре, а мы давно уж, голубь мой, от'ехали от этого места, и нам с колокольни-то видно, чего ты видеть не желаешь.

— Не возражаю-с, — тихо, но с большой силой ответил Замуравкин. — Но я ведь, Семен Мареич, не к тому и гну. А только я по свойству носа моего за-

Губернатора, как чудотворную икону, благоговейно встретили жена головы, два рослых его сына, протоиерей Поспелов, Илья Петрович Замуравкин, Митенька и еще какие-то дамы, родственницы Дергулевых.

Обед был тихий и семейный.

Все было запросто, и Валерий Аполлонович в беседе попутно знакомился с обстановкой города и размерами возневанской промышленности. Илья Петрович—«кладезь нашей премудрости», как отрекомендовал его голова, действительно, оказался живой летописью, статистикой и всяким иным справочным пособием. После пережитых треволнений и болезни (от'езд на дачу был задержан) выглядел он сухоньким желтым старичком с живыми карими глазами. Из сидевшего рядом с ним Митеньки можно было бы выкроить четыре таких Ильи Петровича, но чувствовалось, что вся сила собрана в отце, как в фокусе, а к сыну проведен лишь провод от отца: тих и угодлив был при отце Митенька, будто его и не было.

— Осмелюсь доложить вашему превосходительству, согласно вашего прямого вопроса, — говорил Замуравкин, перебирая уютными ручками: — фабрик у нас в городе я насчитываю от силы 47, из них крупнейших 17 — русский-с Манчестер, одно слово! Дума наша, извините за выражение, ваше превосходительство, отличается отсутствием подлинной думы, чему доказательство события наших дней, заблаговременно не предусмотренные и не предотвращенные. Да, сильно оконфузились отцы нашего города!

— Круто загибашь, Илья,—сказал голова сердито,— круто загибашь! Чего тут предусмотришь, когда ре-

вич, взвинченный своим выступлением перед рабочими и всеми впечатлениями интересного дня, усадил старшего Жака писать донесение министру внутренних дел.

«Прибыв сегодня утром в г. Возневанск по случаю всеобщей забастовки рабочих в количестве 40 тыс. человек, я застал город вполне спокойным.

Накануне рабочие через старшего фабричного инспектора пред'явили фабрикантам свои требования. После обедни, на которой я присутствовал по случаю священного коронования, народ стал собираться против городского дома, в котором я остановился, в количестве не менее 20 тыс. человек, но крайне мирно настроенных и состоящих большей частью из людей гуляющих и любопытных. По моему поручению от фабричного инспектора Свирского передан достойный ответ фабрикантов рабочим и затем начались прения, носящие вполне деловой характер.

Один из местных граждан пытался произнести неясную по своей идеологии речь о минимуме жалования, но был остановлен благомыслящей частью собравшегося народа.

В городе расположены сотня казаков 32-го Донского полка и батальон гренадерского полка из N—ска; ожидаются прибытия.

Принимая во внимание мирное настроение толпы, я решил дать ей разойтись само собою, чтобы не вызвать озлобления такого количества народа, на успокоение которого военною силою я не могу пока рассчитывать, по недостаточности таковой.

пашок вредный ранее других чувствую, потому и долблю. Ваше превосходительство, забота моя есть крепление союза рабочих, как истинно-русских людей, но ни сколь не натравливая их на хозяина. Это лишь идея расчленения состава рабочего класса.

— Мысль блестящая, Илья Петрович, — заметил прокурор: — мысль тонкая!

— А где тонко, там и рвется, — добавил голова, и все рассмеялись.

— Скоро начнут с'езжаться наши господа фабриканты,—поглядывая на часы, процедил голова.—Тонкая политика политикой, а дай бог нам твердости и успеха. Сегодняшнее наше собрание, ваше превосходительство, должно бы задать тону на все дни, пока вся буча не войдет в берега. Послушаем, что скажут наши стратеги. Вы отдыхайте, ваше превосходительство, а к ночи разрешите мне заглянуть к вам в аппартаменты и деликатно поставить вас в известность о наших решениях. О-ох, трудны дела твои, господи! С народом, как с детьми, розга нужна. Кабы все столько умственны были, как ты, Илья, я думаю, нам бы тогда по твоей тонкости жить да жить, как у Христа за пазушкой. Вот оно что, достопочтимый Илюша! Не осудите.

Так окончен был миролюбиво обед у городского головы. Губернатор по мягким коврам перешел в свои покои, гости раз'ехались, забегали лакеи, и через час в большом дергулевском зале, при опущенных шторах и запертых дверях, открылось совещание возневанских фабрикантов и заводчиков.

Отдохнув за сигарой и сыграв небрежно прелюд Шопена на пианино, неутомимый Валерий Аполлоно-

Вызвать упомянутое озлобление, конечно, входит в расчеты противоправительственной агитации, нити коей нащупываются. Оная агитация могла бы повести к нападению на жилища и имущество жителей. Но, как и следовало ожидать, надежды мои на благоразумие толпы оправдались, и к вечеру площадь опустела. Есть основания надеяться, что мое воздействие на ту и другую стороны и мои меры приведут в скором времени к благополучному улажению конфликта и притом в формах вполне удовлетворительных.

Как местная администрация города, так и чиновники, прибывшие со мною из N—ска, проявляют чрезвычайное рвение по службе и величайший такт.

Начальник N—ской губернии
Егермейстер двора
В. Леонтьев».

Далее Жаку младшему пришлось составлять пространное об'явление к рабочим Возневанска, и автор N—ских романсов выполнил это блесяще, опираясь главным образом на сегоднящнюю речь Валерия Аполлоновича на площади. Работа кипела, и уже утром на другой день усилиями городовых и сторожей «губернаторская хартия» появилась на всех путях и перепутьях города. В этой хартии много говорилось о ложных слухах и о соблазне наветов со стороны подпольных политиков, но о гарантиях, так интересовавших маленкого ткача, по забывчивости и Жака и губернатора ничего не было сказано.

Было еще недолгое совещание с прокурором и жандармскими ротмистрами, причем Арнольд Федорович Левенец, как еще обозначалось, пожалуй, в N—ске, оказался просто, как говорится, «чудило гороховое»: и здесь он много краснел, более чем полагается хорошему жандарму, комично собирался что-то планировать и несколько раз упомянул о строгой изоляции толпы, что, принимая во внимание количество в 40 тыс. человек, было просто неприлично и смешно, и лишь на руку желчному N—скому Мефистофелю, Ивану Ивановичу, для дальнейших его шуток и гримас.

Шлегель пока так и остался загадочным философом, ибо увильнул от об'яснений, какое сообщение им написано было в этот день петербургскому начальству. С другой стороны, он сильно раздражил Валерия Аполлоновича, базируясь без церемонии на советах и опыте Маргариты Оттовны, маскируясь тем самым в защитный цвет и предлагая во что бы то ни стало принять меры к выводу бастующей массы из города. Далее, он же совершенно пошатнул благодушные надежды губернатора по вопросу о гарантиях, наседая на трусливого Левенца, и без того ретивого по части сыска, обысков и всякой изоляции.

Валерий Аполлонович, пробившись битый час с этими господами, уже начинал бояться мигрени и, отпустив, наконец, деловых чрезмерно гостей, заслышал твердые шаги Семена Мареевича. Пришлось быть энергичным и деловым до конца.

— Я должен порадовать, ваше превосходительство,— начал Дергулев, испытующе взглянув на хмурое и усталое лицо губернатора:—Зная вашу доброту и просвещенный уклон в мыслях.

Валерий Аполлонович улыбнулся и потянул Каустика за рукав. Оба сели и закурили.

— Вы милейший человек, Семен Мареич; и у вас я чувствую себя поразительно уютно.

— Весьма рад, ваше превосходительство. Таких гостей в десять лет раз, да и то не всегда, сыщешь.

— О, вы очаровательны в вашей любезности...

— Мы для начальства, как и в старину: вынь да положь. Себя урежь, а власть ублажи. И не за страх, ваше превосходительство, а по чувству любви.

— Благодарю вас. Ну, все-таки, как же? — пощупал недоверчиво губернатор глазами Дергулева, считая, что введение сделано.

— Мы просим в нашем обращении к вам по возможности не применять к забастовавшим мер строгости. Мы просим снисхождения к ним и никак не обострять отношений, что было бы крайне и опасно и нежелательно, да и просто, так сказать, по человечеству. Равно видим в этом и утешение для мирных жителей.

— О, это прекрасно! — воскликнул губернатор. — Ваша гуманность, верьте мне, дойдет до народного сердца и до сознания рабочих. Я очень рад. Вы меня прямо взволновали.

— Далее, ваше превосходительство, мы согласились на прибавку 7 копеек на рубль. По всем фабрикам — это капитал. Но мы согласились, ваше превосходительство. Вместо рубля каждый получает один рубль семь копеек, вот-с.

— Великолепно!..

— Мы идем навстречу. Что можем — идем. Сверх оного, ваше превосходительство, — продолжал голова, и голос его потускнел и будто направился куда-то

вниз, в мягкий ковер: — сверх оного, не записывая на бумагу, господа фабриканты и заводчики уполномочили меня просить обратить ваше внимание, что у 80 тысяч жителей — шутка! — ведь должна быть законная уверенность в безопасности, да и на вредную агитацию всякую оно действует испытанно...

— Вы о чем же? — встревожился губернатор.

Дергулев придвинулся и зашептал:

— Обязательно начальнику военного округа, ваше превосходительство, лепортичку срочную насчет того, что гарнизон усилить обязательно... Дело пахнет полком, не менее, да и казаков — обязательно, ваше превосходительство. Доброта сердце мягчит, доброта не вред. А все-таки вооруженное воинство крепит народный разум. Разуметь будут, ваше превосходительство, разуметь...

— Неужели вы думаете, Семен Мареич, что дело может так далеко зайти? — испугался губернатор и выражения глаз головы и его жуткого шопота. — Неужели вы...

— Ах, милый!.. Ваше превосходительство! Береженого и бог бережет. Тут спервоначалу, если не станешь на стальную рельсу, потом и так и сяк, а будет поздно. Обязательно, ваше превосходительство, уж мы обсудили и очень просим. Все, как есть, до единого челом бьем...

Егермейстер холодно встал, поежился, прошелся, пожал плечами, поглядел вопросительно на всю большую, несколько нескладную фигуру городского головы, на его лысый умный лоб, паучьи руки и, изобразив страдальческую гримасу, наконец, бросил:

— Слушаюс-ь. Я, конечно, учту ваши желания. Сделаю так, как просят господа фабриканты.

Дергулев быстро перекрестился, встал и поцеловал Валерия Аполлоновича в лоб.

— Устали, устали-с, ваше превосходительство. О-ох, с народишком, как с детьми, как с малыми детьми... Ну, телеграммку министру да телеграммку в округ — только и делов, и баиньки, баиньки, ваше превосходительство... Опаси бог...

И Каустик вдруг приобрел легкость и выскользнул бесшумно из кабинета губернатора.

Пройдя ряд комнат и столкнувшись с сыном, Семен Мареич сказал ему с тревожной улыбкой:

— Не спишь?.. Да, так-то... Чистый теленок, и разуму чуть, а власть. Ничего не попишешь — власть!

Но увидя, как густо и смущенно покраснел сын, Семен Мареич не стал об'яснять, он махнул рукою и, оборвав разговор, вошел в спальню, где тихо и уютно над коврами и тишиной светилась лампадка. Прежде чем опуститься на колени и прочесть обычную молитву на сон грядущий, Семен Мареич нервно открыл окно, подозрительно посмотрел в ночь и прислушался. Не было слышно ничего: ни гармошки, ни песен, ни гула шаркающей толпы, обычно доносившихся по ночам в начале мая. Все было тихо. Но от этой тишины на душе Семена Мареича стало неловко и тревожно.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1. ГОГОЛЬ

— О чем же, барышня, плакать?

Лиза вздрогнула и оторвала от лица руки. Рядом на скамейке, на том месте, где только что сидел Лакин, улыбался странно-знакомый человек... Кто это?.. Луна успела выцарапаться из-за деревьев и осветила мертвым зеленым светом человека, державшего в руках шляпу. Волосы, расчесанные направо и налево, падали со лба; большие, глубокие глаза с насмешливыми искрами будто хотели выпить ее, Лизу; длинный, тонкий нос и усики над красивым подбородком тревожили похожестью на какой-то портрет... Кто это?.. Она молча отодвинулась и посмотрела еще более внимательно... Гоголь?.. Ну, право, в этом человеке есть что-то старомодное!

— Только что ушел один мазурик, как подсел другой. Вы, вероятно, это подумали? Ночь тиха и темна, того и гляди — в топоры, как Бакунин, а?

Гоголь рассмеялся неприятным смехом, и Лиза увидала его тонкие, длинные пальцы, которые он положил близко, около ее колен. Она еще дальше подвинулась, похолодев: слышал весь их разговор! Но где он был?

Незнакомец кинул другую руку на спинку скамьи и продекламировал нараспев, смакуя слова и противно двигая губами:

О, чудо-девушка, полна
Такого ты очарованья,
Что рад бы посвятить тебе
Я все свое существованье!
Струится, будто лунный свет,
Из глаз твоих свет кротко-ясный...

Заслышав стихи, Лиза ободрилась, страх ее пропал, и она сказала спокойно:

— Вы нахал. Если вы сейчас не уйдете, я крикну Мишу Лакина: он еще близко. Он из вас навьет веревок. Слышите?

— Ого!.. Так это был Миша, такой обтрепанный ваш кавалер. Нет, Миша уже далеко. Но вы не бойтесь, Елизавета Ильинична, я не опасен.

— Откуда вы меня знаете? И кто вы?

И вдруг у нее вырвалось:

— Вы Гоголь?

Незнакомец опять рассмеялся и, передернувшись, хрустнул пальцами около колен.

— Нахал или Гоголь, одно из двух, ни больше и ни меньше. Рыцарь бледный и худой, ха-ха!..

На челе носил он лавры,
У сапог блестели шпоры
Золотые — хоть и не был
Ни герой он и не рыцарь.
Он был шайки атаманом,
И так нагло в книге славы
Кулаком своим вписал он
Имя дерзкое... Кукушкин!

— Ха-ха-ха!.. Кукушкин. Во всяком случае, не Кортец.

И человек, похожий на Гоголя, встал, поклонился и приложил картинно измятую шляпу к груди.

Лизе стало смешно.

— Что это за стихи дрянные вы все время читаете? И с какими-то ужимками. Это ваши? Отвечайте. Ваши стихи, господин Кукушкин?

— Товарищ, товарищ Кукушкин и, к сожалению, никак не ваш господин. А стихи — стихи Генриха Гейне, только в плохом переводе. После символистов теперь такими стихами стены оклеивают.

— Ну, хорошо. Что же вам угодно?

— Во-первых, я хочу, чтобы вы благословили меня на подвиг, а во-вторых, я хочу проводить вас до дому, чего вы не позволили вашему блистательному Мише.

— Вы подслушали наш разговор? Какая гнусность!

— Ничуть. Я не подслушивал. Я просто сидел за памятником, вон на той скамье. Тихо сидел, видел, и, право, у меня были самостоятельные занятия. «Бобок!» Вы читали Достоевского? Нет?

Она покачала головою.

— Жаль. Прочтите. Замечательная вещь. И будете тогда вместе со мной ходить на кладбище. Помимо того, что знаки тления располагают к мечтам, здесь можно слушать покойничков. Когда они еще на границе между иллюзорной жизнью и смертью. Это очень любопытно.

— Гм!.. Извините, мне кажется, у вас не все дома. Но мне надо итти. Пожалуйста, не двигайтесь за мною, или я...

— Что вы?

— Или закричу, или брошусь на вас и укушу в плечо.

— Кусайте! Пожалуйста, кусайте.

— Я не шучу.

— А я разве шучу?

Я сладкую любовь искал,
И злая ненависть ответом мне была...

— Это опять Гейне?

— Опять.

— Ну, до свиданья. Не двигайтесь за мной.

Она прошла несколько шагов. Странно-знакомый человек стоял, освещенный луною, и смешно и растерянно мял свою шляпу. Но с места он не двинулся. Лиза обернулась, еще раз кивнула ему и быстро-быстро, еле нащупывая ногою ступеньки, сбежала по лестнице.

Это было все в ту же ночь, накануне тринадцатого мая. Когда Лиза прошла улицы две, и сердце перестало биться, и она убедилась, что город упорно не хочет спать, ей стало жаль смешного Кукушкина, оставленного на кладбище; гоголевский нос и застывшие глаза не выходили из головы, и у себя дома, прежде чем лечь, она еще долго бродила в темном саду по аллеям и мурлыкала нараспев:

На челе носил он лавры...

Да, тот, Гоголь, тот — носил лавры, а этот просто — Кукушкин. Лакин — Кукушкин, Лакин — Кукушкин, а третий Мефодка... Вот тоже стихи и тоже в дурном переводе. И Лизе опять захотелось плакать.

2. НАТАЛЬЯ ЛЬВОВНА

Окно вверху распахнулось. Свет: «Неужели мама еще не спит?»

— Лиза! Что ты тут ходишь? Лиза, иди сюда. Лиза, я умру.

— Сейчас иду, мама.

Наталья Львовна, в капоте, со свечей стояла в сенях.

— Запри двери, да хорошенько. Иди. Тише, все спят. Отец болен, а ты что вытворяешь? И Мити опять нет. Полуночники! Шатуны! Что я Наполеону скажу! За вас страдаю, умру я, больше так не буду. Приходи ко мне в постель.

Лиза в рубашке и босиком весело выпрыгнула из своей комнаты и нырнула к матери под одеяло. Около смешной мамы было очень уютно. Комната пятнами освещена была луной, в головах на столике сиротливо горела свеча.

— Ноги-то, как лед! Ледышка и вся. Крови нет, а все бегаешь. Что за дела? Где это ты бегала?

— На улицах была. Нынче ночь, как перед пасхой.

— Хороша пасха! Отца в гроб уложат, мутители. Тревогу на всех людей навесили, мало и так забот! Что там, в городе?

— Ничего. На заборах афишки. Требования рабочих.

— И ты читала?

— Читала.

— Ой, Лиза, не сносить тебе головы! У меня такая тревога, такая тревога! Мы в твое время не так жили.

— У вас, мамочка, свое время, у нас свое. Вы почитайте Плеханова... Мама, я нынче на улице Гоголя видела.

— Ну тебя! Какого Гоголя?

— Писателя, Николая Васильевича.

— Портрет, что ли?

— Нет, живьем. Ей-богу, мама: нос, глаза, волосы — точь в точь. И юмор... У него нос ведь закорючкой был. Он был хитрый хохол с длинным носом. Мама, он привязался ко мне и все хотел проводить. Вот что значит совать нос не в свое дело!

— Господи боже мой, Лизавета, что ты говоришь! Как ты позволяешь на улице приставать к себе?

— Я, мама, не позволяла, я сказала ему — нахал.

— А он?

— Он стал стихи читать, смешные: «На челе носил он лавры...» — Лиза хихикнула. — И постойте, мама! Как это... «У сапог блистали шпоры...»

— Да ты жандарма встретила! У кого же кроме — шпоры! Нынче вся полиция на ногах. Может, увидал — идет девушка из порядочного общества, и хотел довести до дому. Ротмистр Тимофеев папу очень уважает.

— Нет, мамочка. Это не из порядочного общества. Он сказал: «Я сладкую любовь...» не то «ищу», не то «искал»... не помню.

— Ах, наглый! Ах, каторжник! Вот видишь, как одной бродить ночью да в такое время. Что я буду с вами, я умру! Мне уже снился белый платок, а это к смерти. Ах, загоните вы меня в гроб! Митька как меня расстроил!

— А что?

— На, читай. Тихоня, а тоже дурак — писатель.

Наталья Львовна протянула руку к столику и достала тетрадь в клеенчатой обложке.

— Вот, полюбуйся. Я умру. Ты не все читай. Тут гадости есть. Вот прочти про кузнечика.

— Что это? Дневник Мити? Мама, вы стащили?

У Лизы загорелись глазки, она быстро перелистала тетрадь, будто понюхала, и захлопнула.

— Мама, это нечестно. Митенька будет сердиться.

— А про отца так писать — честно? Вот прочти. Постой, я найду.

— Ну-ка, что?

Лиза прочла:

«Илья Петрович — мамин неизменный Наполеон. Но у него плохая армия...»

— Мама, это про тебя.

— Нет, это про рабочих. Какая я армия!

«А по моему, так папа просто — кузнечик. Да еще не засушенный ли? Вот только свиристит... И все кузнечит одно и то же».

Лиза засмеялась.

— Ты не смейся, гадость девчонка. Плакать надо. Умру я с вами.

— Ну, уж и плакать. Вот еще!

«На старости папа-кузнечик взыскался идеологии. Он тоже, как те, ищет базис. Умора!.. Он мне подводил идеи под черную сотню. Нет, вот! А я возьму да и подведу черную сотню под идеи...»

— Дурак. Мама, он пишет на ветер. Шатай-болтай. У Митьки всегда тихое озорство. А что еще?

«Страсть я не люблю идеологии, от нее два дурацких слова—идеи и идиот. У нас в студенческих кружках сколько развелось этой самой марксятины. Прямо — оспа. Сюда приехал, глядь — а оспой этой

даже рабочие осыпаны. Вот и вышло: идиот иди вперед. Идеология. Надо с'ездить к Марье Ниловне...»

— Здесь, мама, про оспу. А ну-ка, здесь.

«Ниловна крутобедрая — здоровый бабец. Ей бы жеребца надо. А нам что! Мне все равно, лишь бы с булочкой...»

— Фи, пошлость какая! Зачем вы мне давали, мама? Это совсем другой Митенька.

— Совсем, совсем. Ах, тревога какая!.. Это он балуется, Лиза, верно... У него моя комплекция... А вот на, прочти.

— Еще что? Мама, что это вы наворовали?

— На, письмо. От Таньки от той... я все знаю, мне отец говорил.

— Мама, это нечестно — читать чужие письма.

— Нечестно, ты и не читай. На!

Лиза осмотрела сначала подозрительно листочек с той и другой стороны и сделала гримаску:

— Фи! Какие каракули!.. Где вы, мамочка, достали это?

— Тут, в тетрадке было заложено. Я все думаю: у него большой рост. Он — как богатырь. Он в меня, Лиза: темпераментный. Я была... Ах, Лиза!.. Но я почитала старших, я плоть в руках могла держать, я Наполеону нянька была. А Илья всю жизнь в конторе просидел, он и не заметил. Ах, господи!..

— Мама, а были у вас еще какие романы? Мамочка, может быть, вам...— и Лиза фыркнула и уткнулась с письмом в грудь Натальи Львовны. — Может быть, вам... — и она опять засмеялась: — вам кто-нибудь тоже говорил, что сладкую любовь ищет... Мамочка, мама, ну, какая же вы милая!..

— Тише, письмо не мни. Ну, смеху в рот попало, хохотушка. Будешь читать или нет?

Лиза подвинула свечку, нахмурила брови, и стала разбирать каракули.

«Ненаглядный вы наш Митенька! В первых строках моего письма шлю вам от господа бога всякого здоровья и с любовью низкий поклон. А как я без вас соскучилась, и сказать не можно. Сяду у окна, и будто лечу в Возневанск. Тятю моего Тихона, говорят, от полиции очень преследуют, не глядя на их старость, и я вас прошу, милый Митенька, заступиться, заставьте за вас молить бога и угодников. Папенька ваш, Илья Петрович, по злобе своей отписали чего-то Павлу Николаевичу, а тот — его хлебом не корми! — и тут про нас сплетню свел. Сраму-то сколько вынесли на свет. Барыня пилит меня поедом, придирки за всяким разом: ты, говорит, подозрительная тихоня, хоть и хохотушка, у тебя отец бунтовщик и дядя, ты тихонова дочь. А сама она сукина дочь. Прямо так и выложу. Если будет, я ей дерзостев наговорю, все отпалю и пущай. Я к отцу приеду.

Любящая вас по гроб жизни

Таня Капитонова».

— Вот, мамочка, вы всегда на грех наведете! Ну, зачем я прочла? Вы, мама, гадкая, гадкая, гадкая!.. Давайте ваш мерзкий дневник и это письмо — я все Мите назад снесу. Его нет дома? Что вы молчите? Вы где взяли?

— В столе.

— То-то, в столе! Не вздумайте и у меня в столе шарить.

— На, отнеси. Матери можно. Да туфли надень. Я сказала — туфли надень.

Через полчаса мать и дочь, крепко обнявшись, как-будто спали. Лицо Лизы было тревожно, она иногда вздрагивала, и пальцы ее судорожно сжимались. Наталья Львовна, просыпаясь, крестила Лизу и начинала шептать.

— Мама, что вы шепчете? — просыпалась Лиза. — Шепчет и шепчет... У вас точно не все дома, спите.

— Ну, спи, спи... И я сплю... И то не все дома: Митеньки еще нет.

3. ПРИЕЗД

На рассвете поезд подходил к Возневанску. Таня Капитонова спустила ноги в крепких башмаках с верхней полки, слезла и оправила кокетливо волосы и кофточку. Зевнула. У мутного окна сидел все тот же интересный мужчина, высокий, крепкий, волосы бобриком, светлые голубые глаза. На коленях книжка.

— Ну, вот и Возневаново близко, — сказала Таня, стрельнув глазами. — Спали?

— Немножко спал. А вы город хорошо знаете?

— Выросла в нем. Как не знать! Вот еду отца навестить; да говорят, бунт в нем — в городе-то. Фабриканты против рабочих пошли.

— Да? Кто это вам такую вещь сказал?

— Наши писали. Василий Евлампыч, мой знакомый сыздетства. Он еще загодя писал. Вы не возневанские? Нет?

— Нет.

— Ну, да! Я еще вчера ведь об этом спрашивала. Вы, конечно, и Морозова Василия не знаете. Он мне обо всех делах писал. Подробно. А я уж забоялась: думаю, как бы старика-отца не сгноили. Теперь какие времена! А приедешь, чем поможешь, — верно? В горничных я служила, уж такое место, чай, везде добуду. Без места не просижу. А вы из каких будете?

— Пишу в газетах. Корреспондент, называется.

— А-а!.. — протянула Таня уважительно. — Что же вы по третьему классу? Это, чтобы лучше описывать?

— Денег нет, — усмехнулся уклончиво собеседник.

— А-а!.. Что же — вам мало платят?

— Гроши...

— Скажите! Пиши, и все задаром. Тоже ваша служба не из простых. Ох, делы, мои матушки! Гляжу я: все наровят на даровщину. Вот у нас возневанский ткач. Ему какая цена? Сколько он может выработать, хоть в лепешку расстарайся?

— Ну, сколько?

— Да полтинника в день никак не выработает, разве 35 копеек на круглую, а мука нынче до рублика догоняет, — вот и живи, вертись! Век в пыли да в грязи, какое их житье! А уж если семейный, то тут тебе прямо гроб. Вот жизнь!.. Я побыла в горничных, увидала, как наши господа живут. Вот это жизнь: и тебе сладкий кусок, и тебе и ванная, и тебе и музыка, какая хочешь: хоть рояль, хоть граммофон, и тебе платье не платье, живи да по гостям езди.

— Так чего же ты в ту грязь к отцу едешь? — спросил мужик, оглядывая недружелюбно Таню. — И то тебе и то, а ты на Ямы к ткачам едешь.

— То-то вот, дедушка, мне-то оно не то: им и то, а нам совсем другое.

— Другое! Чай, крохи и тебе по времю в рот летали. А ты вот не около бар, ты около земли походи, будешь за тем куском сыта. Ты вот ее, землю, паши — она тебе что скажет?

— А что трудно на земле, дед? — живо спросил блондин от окошка.

— Трудно! А ты думаешь, легко? Мы так решим: ткачам не уважать. Они голос подают, и мы за ними. Мы тоже свою земельную забастовку повернем. Деревня пролетела на войне, что твоя мякина. И там и тут — шаром покати. У меня вот два сына, два ткача. Хорошо. А ты спроси — кто кого кормит?

— У вас зато, дедушка, воздух чистый, у мужиков, а у нас — клетка, — насмешливо ввязался в разговор помятый человек в кепке и с узелком в руках. — На фабрике содома и гоммора, а домой придешь, воды хлебнешь и ложись на пол в ряд в штабеля; у нас пятнадцать человек в комнате, а комната вот что это купэ. Вот и вышло: тебе да мне, по всей избе. А у нас семейные есть, да и девки...

— Ну, нынче и девки, — откликнулся кто-то с полки. — У нас в Возневанске, говорят, в целости без греха только у Кукуева бык да у Гундобиных—старик. Вот те и девки-однодневки! А еще тоже нашего протоирея спросили: «Как, ваше преосвященство, насчет женского целомудрия какой взгляд имеете?» «Да—говорит—при святом крещении целомудренны бывают, попадаются». Вот те и девки...

— Ну, да, — охотно согласился человек с узелком. — Девки ли там или как, — все равно. У нас была койка,

на ней муж с женой спали, так мы — смехота! — мы им взяли в сумерки под койку звонок подвязали. Ночью — динь, динь!.. А мы ржать.

— Срамота, — сказала Таня, передернула плечами и посмотрела конфузливо на блондина у окна.

— Да вот, вам срамота, — огрызнулся человек в кепке. — А вы, поди, на хозяйских харчах забыли, как ваш папаша живет!

— И ничуть не забыла. Очень даже помню.

— Ну, помните, и очень хорошо. А у нас так: денные отработали, а ночным в три часа вставать, им спать не мешай. Вот, значить, и выходит: пришел с работы, поел и не шебарши, ложись и спи. А я вот книжки читаю, книжки. Это у меня, как запой. Лампу хозяйка не дает, так я со свечкой. Кругом храп на все гармонии, а я читаю. Один раз заснул, свечка догорела, да пол принялся гореть. Я сплю, а пол горит. Да, видно, сырой был: подымил-подымил да и сам потух. А то бы все живьем сгорели. Проснулись от дыма, уж меня жильцы читали, читали. Вот тебе и книжка, вот и почитай! В таких рамках какая жизнь—одна глупистика и никакой культуры... Не верно я, что ли, говорю?

— Условия! — откликнулся человек с полки. — Рабочая жизнь не жизнь, а одна прижимка. И ничего не попишешь.

— Ну, положим, мы им попишем.

— Эх, друг, человек не скотина, и не к тому привыкает. Велика сила твоя книжка. А что ты в той прижимке попишешь, что? Требования по начальству заявили. Новое дело! Да я тебе скажу: что оно, твое начальство, сладкую жизнь из пальца, что ли, высосет?

Одно слово — условия! У нас и начальство почти без штанов.

— Тоже, если все терпеть, и не так еще будет, совсем на шею сядут, — надув губки, сказала Таня. — Я своей барыне отбрила: «Заклепа ты, Заклепа Египетская. Как та булавками своих слуг колола, так и ты меня языком мучишь...»

— Не Заклепа, — укоризненно поправил человек с узелком, — а Клеопа.

— Клеопатра, — подал голос с полки. — Клеопатра Египетская, в паноптикуме показывают.

— Ну, все равно, мы малограмотны. Только я это сказала, как мне барыня паспорт в рожу швырк, и до свиданья. Вот тебе и условия! Никак, пора вещи собирать? Приехали.

— Ну, вот... — протянул с неудовольствием мужик. — Я думал: ты, мадама, к отцу-то с подарками, по своей охоте, а ты...

— По своей охоте, дедушка, — засмеялся человек, свешиваясь с полки, — только выпь на болоте, да и та вопит...

Все захохотали, подымаясь с мест. Поезд задерживал ход, видимо, подходил к Возневанску.

При выходе на перрон блондин и Таня столкнулись, и та опять осмотрела его полновесным взглядом.

— Куда вам ехать-то? Вы, чай, и улиц наших возневанских не знаете.

Тот неохотно сказал адрес.

— Так едемте на извозчике вместе. О чем думать! Вот вам и экономия. А там я от угла пешком дойду.

— Ну, едемте.

Пока усаживались, два оборванца просили на водку.

— А, Гурыба! Ты все еще жив? Глядите, какой голиафа. У нас здесь коты в почете. Ну, трогай, извозчик, трогай. На, Гурыба, три копейки, больше нет. Это из нашей деревни земляк, моего отца двоюродный брат. Вот умрет, наследство останется... — и Таня весело и игриво засмеялась.

В утреннем освещении она была проста и хороша. И вместе с краснощекой бодрой женщиной было забавно влетать на извозчике в этот большой несуразный город с бедными домиками, складами, тумбами, столбами и утренней суетой.

— Вас как звать?

— Станислав.

— А по отчеству?

— Сергеич.

— А вы не поляк? Нет, будто не поляк.

— Вы поляков не любите?

— Нет, я так. Я общительная. Я всех люблю. И поляки люди.

— Так я не поляк.

— Да я и так вижу. — Таня хитро на него покосилась и прибавила тише: — Вы из этих. Уж я вижу.

— Из кого?

— Ну, вижу. У меня в Москве глаз наметался. Я с Митенькой тоже виды видала. Вы из социалистов студенческих, верно?

Станислав рассмеялся.

— А вы переодетая курсистка, да?

— Что вы? Что вы! Сохрани, боже! Я совсем малограмотная. Вот я песни хорошо знаю. Я и «Вихри» знаю.

— Это какие вихри?

— А враждебные. Кабы все записывать. А только наши старые лучше. «Чудный месяц» — знаете?

— Знаю.

— Я ужасно общительная. Что ж вы у Кукушкина и жить будете?

— Нет, я там на время.

Таня придвинулась и зашептала:

— А вы к нашим приходите. Я вас с такими орлами сведу! Я у нас всех знаю. Вот адрес запомните.

Станислав адрес запомнил, но сказал:

— Вы меня, Таня, не за то принимаете.

— Ну, уж, ну, уж, у меня глаз наметанный, вы мне не говорите! Зачем бы вам в чужой город, да в такое время, да к Кукушкину, да с книжкой и от газеты, зачем? Образцов товаров с вами нет, родных у вас нет...

— Вы, Таня, будто сыщик...

— А что говорить! В такое время тоже губу не распускай. Вот наскочили на простенькую, а другая проведет и выведет. Извозчик, стой, стой! Я здесь на углу слезу. Отсюда пешком дойду. Вот, пожалуйте, Станислав Сергеич, в кассу моя часть. Ух, корзинища тяжелая, ну да мне близко! Прощайте. Адрес не забудьте. Спасибо за компанию. С вами доехала и не заметила...

Когда извозчик от'ехал, и женщина с корзиной скрылась за углом, стало радостно и смешно. Подумал:

«Женщина быстрая, с натиском. А если шпик, то я круглый простофиля. Орлы!.. Какие это у нее орлы? Митенька... Песни знает... Вероятно, хорошо поет...»

И завозилась в голове какая-то однообразная, тягучая песня, ахающая, раз раз — подымают и бросают, где это? Ах, да! Это в Казани, у пристани. Грузчики на пристани. Вот так:

Ой, Та-ня...
Ма-та-ня.
Хорошая
Какая!..

Извозчик обернулся с усмешкой:

— Вот, барин, как вас женка, извините, к себе расположила. Ажно запели... Тут с ними, с ядреными, запоешь... Н-но, чего стал, колченогай!.. Кнута не видал, н-но!.. А у нас фабричные стакнулись, урезку времю рабочему и прибавку тарифа требуют. Всю власть из губернии на ноги подняли. С самим губернатором нипочем — он слово, а они ему два. Вот оно, волнение какое!.. Н-но, колченогай!..

4. СТЫДЛИВЫЙ ДОМИК

Ранним утром, когда еще висела сизая марь над домами, Анна Рыжова, старая ткачиха, сидела на пороге своей хатенки и мутными глазами смотрела в улицу.

— Здравствуй, Акимовна!.. — говорили проходящие. А кто торопливо добавлял:—Аль гостей ждешь?

— Гости завсегда могут быть, от гостей не откажешься,— уклончиво говорила Анна. — Проходите, чего стоять.

— Ну, теперь, Анна Акимовна, — кринкул весело паренек, — все те гости возле управы гарцуют,

задали им встряску. Мы теперь сами к ним в гости пошли.

— Ну, да, не больно веселись. Мы к ним, а они к нам. Без надзору не проживешь. Чего стоять, проходите!

Чудно в такое время не слышать гудка и просто так сидеть на пороге, будто без дела. Бывало, бежит Анна чем свет, спотыкается за младшею шустрою сестрою: опоздаешь на 5 минут, и полдня работы вычтут. Фабрика — гу-гу-гу!.. Зовет. Сухо, жарко в корпусе, обхватит шумом, огни ослепят. А машины-станки, как звери на цепи, бьются и воют. Все на одном месте, а суета какая! Встала к станку, и сама, как железка мертвая, как этот станок без мысли: следи, крути нитку, не зевай, следи... А руки бегут сами, тоже машинные, глаза впились, как копья, не оторвешь... Но вот пошла, потекла боль в спине, от спины уползла в грудь, вот наливаются свинцом ноги; и к концу смены глухо кашляет Анна, горбится и тычется около основы все бестолковей, не по делу, все больше зря... Вон мимо проходит мастер Ефим, чужой стал, и не глядит; куда теперь глядеть! А сам облысел, как коленка. Тоже не мало дней отсчитал, охочий! А было время... Да мало ли что было!..

И чудно Анне, чудно старухе, как это она сидит без работы на пороге и думает, о чем хочет. Вот просто так. Порожняя. Будто всю выпили до донушка и поставили, как кувшин, на крыльцо. А люди идут, торопятся. И у всех одна лихорадка. Опять туда...

— Здравствуй, Акимовна! Давай ходу, с нами за компанию.

— Нет, я тутоти. Находилась я с вами, нагляделась.

— Что так? Будто мало еще ходила?

— Мы ходили. Когда? В девяносто пятом, вот когда ходили. Да и раньше ходила. И забыла, сколько раз. Я этих губернаторов не одного видала. Хоть разные, а все на одно лицо. А казацкий пряник с каких годов помню... Вот что...

— Привычна, значит, Акимовна. Привычна.

— Проходи, голубчик. Что тебе у крыльца глаза сушить...

— Ох, Акимовна, и секретная ты женка, ей-богу!.. А Сергея Капитонова вот не усекретила.

— Мы их скоро всех выпустим. Проходи.

— Ну, я от вас, Анна Акимовна, всем властям предержащим и всем их пуговицам блестящим поклон передам.

— Да смотри, как бы...

— Нет, они чтой-то пока с нами без нагайки... Мы им сегодня рабочую думу на ноги поставим под окно, у них своя управа, у нас тоже своя будет... Тут мы всласть с хозяином и поговорим.

Бегут ткачи вприпрыжку и женки. Смех, шутка. Не то, что на работу. Вот сдвинулся народ! Чистая лихоманка затрясла. Юрк-юрк из каждого домика, один за другим, картуз на глаза, и слиплись в целую толпу. Прошли, пробубнили, как на смену. Только веселей, чем на смену. Нет, фабрика порожняя теперь подождет. Теперь не спеши: забастовка!

Избушка Анны, пожалуй, самая убогая на всей улице. Она так искривилась и так присела, будто сама стыдится своей немудрой видимости. Зато во дворе, сзади избушки, растет клен, дерево большое, и кустики смородины, и тут столик и скамейки, — хорошо:

это все дело рук Василия. Тут можно, в этом садике, в уюте, чайку попить. Уголок укромный, весь сжатый гнилыми постройками: домик, заборишко, сарай, и даже с вышкой, с сеновалом. Впрочем, нет ни коровы, ни сена. Пахнет гнилью, мухи от нужника прилетают бронзовые... Но в майское утро ничего — вполне можно за столиком под кленом чайку попить.

В избушке Марья Рыжова, сестра Анны, хлопочет около печки, Василий Морозов неуклюже подкладывает углей в самовар и дует сверху. Угли в его могучих руках крошатся и ломаются. Снизу из-под самовара угольная пыль и пепел разлетаются по полу.

— Ну, мех кузнечный, дунул, что твоя лошадь на весь пол! И без того в грязи спим.

— Не ругай меня, Марьяша, что я так люблю ее...— поет Ермак и обнимает сзади Марью.

— Ну, ты, битюг! Не лапь. В церковь со мной не хочешь, а ночью подползаешь... Трепло!

— В церкву, Марьяша, нам несподручно, я неверующий...

— Втирай очки больше, так я тебе и поверила. А что на пять лет я тебя старше, это ты высчитал хорошо. Однодневка. Без винта ты, парень, лезешь ко всем почем зря. Не лапь!

А сама как рада: заливается радостной мягкой улыбкой, глаза вспыхивают, и усталое высохшее лицо ее с преждевременными морщинами делается моложе и красивей.

— Угодница ты моя!.. — говорит Ермак, целуя Марью в шею.—С тебя бы богородицу писать, вот только мальчонка у тебя на коленях нет. Меня посадить, так мал больно.

— С вами такими мальчонка живо будет. Враз набухаете.

— Ах, Марьяша, какие слова! Ты ведь, как-никак, сознательная.

— Сознательная! Пусти. С тобой — стукнет Анна в окно, а я и не услышу. Ты бы шел к ним. Еще сцыал-демократ, а только бы тебе около девчонок — подолы им обвивать.

— Какие задушевные у тебя выражения, Маша! Ну, как ты звонка, страсть. Тебе бы около управы речи говорить.

— И скажу. Не боюсь я никакой управы. Я вчера на Талке два слова сказала, так были очень довольны.

— Ерой! Однако, ты гляди: если Анна в окно стукнет, ты мигом сообщи. Тут у нас народ первый сорт. Провалишь, скандал будет. Скипел!.. Ну, тащу. Да! Однако, Марьяша, я и забыл, совсем запамятовал, у меня просьба. Дай-ка сорок копеек.

— Ах, вот ты к чему подбираешься, бес лукавый! За тобой и то сколько! Ты куда же деньги девал?

— А мать намедни дочиста все выбрала, в деревню пошла... Ей-богу!

— Ой, врешь. Ой, врешь. Опять пиво лакал. На, два двугривенных, непутевый...

И Марья Рыжова — рада сделать одолжение — копается, достает деньги и, стыдясь, сует их Морозову. А сама, чтобы глаза отвесть, — в окно.

— Анна-то, Анна сидит. Наш подзорный. Поди наскучило.

Ермак кладет деньги в карман, шлепает Марью и, выпятив грудь, уносит самовар в садик.

За столом четверо тихо разговаривают. Отец, как патриарх, сурово поглядывая в свои неизменные очки, сидел среди трех юных. Впрочем, один не так уж был юн: в гнилых желтых зубах держал он мундштук и курил без передышки. Большие черные волосы лохмами крутились на голове, которую он беспокойно вертел туда и сюда, встряхивал ею, качал вперед и назад. Пальцами с грязными ногтями нервно крошил по столу бумажки. Пеплом неряшливо сыпал всюду: на блюдечки, на бумагу, на рукав Лакина, и даже Отцу на толстый сморщенный кошелек, который тот загадочно положил перед собою. Четвертый — безусый белокурый юнец в студенческой тужурке и в фуражке с темнозеленым околышем. Он блеснул своими светлыми веселыми глазами и вдруг выскочил из-за стола и перепрыгнул через куст.

— Ну, решайте, решайте! Будет зря время терять. У меня ноги затекли.

Афанасьич солидно поправил очки и сказал, сердито глядя на Лакина:

— Тебе, Мишук, ехать. Ты свой, ты их махом раскачаешь. А там вертайся.

— Позвольте, Отец. Я протестую... — положил руку на кошелек Афанасьича человек с гнилыми зубами.

— Мы посылаем на ответственное дело совершенно зеленого работника.

Лакин вспыхнул и хмыкнул своим орлиным носом.

— Поднять Шую для нас очень важное дело, это сигнал будет по всему району, — продолжал непоседливый человек с гнилыми зубами, — да-с! Это дело, во-первых, надо чисто сделать, во-вторых, я бы Лакина пока без контроля к рабочим с речами не подпускал...

— Ну, ну, — сказал Отец, и покачал головою. — Ты, товарищ Одиссей...

— Что? — в упор спросил товарищ Одиссей.

— Что? — ничего. Больно кошелек мне испакостил, — спокойно ответил Отец, и все засмеялись. Отец стряхнул со стола пепел и продолжал: — Я Мишу не хочу обижать, я ему так не скажу. А в общем, много не говоря, что ты, Одиссей, имеешь против?

— Я скажу так: Лакин чорт-те что в своих речах выворачивает, у меня волосы дыбом; у него тут и тексты, и Христос, и всякая ерунда... беллетристика какая-то, окрошка. Это идеология мелкого кустаря, но не пролетария. Мы что — стихи, что ли, будем с некрасовской начинкой рабочим читать? Али дело делать? Нам не это надо, некогда с пустяками. Я тебе, Михаил, впредь буду для речей конспекты писать, и ты, заметь, сверх оного ни буквы не моги... Как же его такого в Шую послать, чего он там на свободе наболтает!

— Покорно вас благодарим, — сказал ехидно Лакин и погладил ладонью макушку головы.

Так он всегда делал, когда выступал перед большой толпою. Но тут он растерянно поглядел на Одиссея, вспотел, крякнул и больше ничего не нашелся сказать.

— Тут обижаться нечего, — развязно и не смущаясь продолжал Одиссей, стукнув мундштуком по кошельку Афанасьича. — Дело какое, матушки! Тут нечего амбицию разводить. Я предлагаю, Трифоныча на это дельце сунуть.

Студент приблизился, снял фуражку и, откинув назад темно-русую волнистую шевелюру, хотел-было что-то

сказать, но Отец, опять смахнув пепел со своего кошелька, перебил его:

— Ой, ой!.. — протянул он иронически, побарабанил пальцами и ухмыльнулся в бороду.

Одиссей покраснел.

— Ну, что — ой, ой?

— А так. Ой, потому что глупо. М-да!..

— Это почему?

— Студентика... Шую подымать?.. Ты, братец Одиссей, чаю не хочешь? Вася, ставь сюда. Товарищи, чаю?

Морозов поставил на стол самовар, сдунув бумажки и пепел на землю; от его богатырского дуновения сдвинулся даже кошелек Афанасьича.

— Пожалте, — отрезал Василий и тоже сердито поглядел на Одиссея.

— Товарищи дорогие, позвольте вот что сказать, — начал бархатным голосом студент: — я еще тут у вас не осмотрелся, я зеленей Миши Лакина, вы меня не законопачивайте пока в Шую — ну ее! — дайте сперва Возневань ощупать. Потом, как видите, я еще не готов: я шкуру студенческую должен спустить. А вообще, не знаю, чего достопочтенный Одиссей возражает: Миша Лакин, как я думаю, горяч и ловок, и дело сделает лучше многих других.

Лакин опять вспыхнул, как мальчик, погладил макушку и пробормотал:

— Покорно вас благодарим.

— Ты, Миша, не конфузься, — сказал Морозов, сам конфузливо краснея. — Ты у нас теперь первый оратор, нечего усы рукавом обтирать. Я бы на твоем

месте, мать честная! — и Морозов стукнул по столу кулаком, — всю Шую переворотил!

У студента выскочила на лбу поперечная строгая морщинка, и он прибавил к жесту Морозова:

— Очень хорошо! Еслиб все так горячи были!.. А дядя Одиссей напечет вам, Миша, в руководство с десяток конспектов. Вместо лепешек. Вы по ним и жарте... а?

— Покорно благодарим,— опять сказал Лакин, готовый от смущения перед этим студентом провалиться сквозь землю.— Как велите, так я и сделаю. Решайте. Мне ехать, так мне; кому другому, так я дома останусь...

— Тебе ехать, Михаил... — сказал внушительно Отец и посмотрел сурово на Одиссея. — Тебе ехать, Михаил,—повторил он, все так же глядя не на Лакина, а на Одиссея. — Я Шую знаю — во, как свои пять...— и он растопырил пальцы. — И Миша там будет, как цыган в седле. Таких там и надо. А опосля и Трифоныча можно будет сгонять туда для пущей важности...

Он налил чаю на блюдечко и, подув, стал пить, все так же смотря в упор на Одиссея.

Одиссей сдался.

— Слушайте, товарищ Трифоныч, — неуверенно поманил Лакин студента. — Если я еду, и кто знает... то позвольте вам на всякий пожарный случай одну связь передать. Вам это больше подойдет. Связь тут у меня интеллигентская.

— А зачем мне?

— Вы по той линии можете пустить сбор денег в пользу забастовщиков... Там золотое сердце.

— О, дело, дело! — воскликнул Отец. — Касса наша слаба. Сейчас мы нашим профессионалам грош медный даем, так жить нельзя. А тут нужда пойдет по всей округе, только давай. Деньгу, братцы, наколачивайте, как можете. Вчера Дунаев на площади картуз пустил...

— Да, живешь на десятку, чорт-те что, — оживился Одиссей. — У меня с голодухи ноги, как деревяшки, стали.

— Вы, товарищ, на десятку, а мы по нашей простоте на шесть, — проворчал Отец. — Нужда крепит дух...

— Ну, насчет духа... — окрысился Одиссей.

— Нет духа, одна голодуха, — так, что ли? — усмехнулся Отец, поднося тонкую бумажку к очкам, и методически разрывая ее на равные мелкие части.

— Вы, Отец, философ известный, — отвернулся от него Одиссей и навалился через стол к Лакину, стряхивая пепел ему на ладонь.

— Миша на меня сердит... А что у тебя за связь такая интеллигентская?..

— Да вот, я Трифонычу... — отстранил его хмурый Лакин.—Им, как студенту, там как раз. Не всякий туда вхож может быть. Это Лиза Замуравкина, управляющего Гундобиных дочь. Она вам, товарищи, содействие окажет... Вот я записочку... Вот это, видите, как...

И Лакин, об'ясняя адрес студенту, страшно заволновался и снова покраснел стыдливо, как барышня: этому молодому, радостному студенту будто вместе с адресом и запиской отдавал он самое дорогое, открывал свою тайну, и ему даже было хорошо де-

лать такую жертву; подумал: «Отрубил, и раз навсегда. Раз навсегда... А дело выиграет».

— Ты что, Миш, губами двигаешь? — сердито сказал Отец.

— Я ничего, я что... — растерялся Лакин.

— То-то... Ты, смотри, в Шуе не сядь. Нам еще такие нужны. Ты вороной не будь.

— Федор Афанасьич!..

— Я, брат, сорок шесть лет Федор Афанасьич, мне очки не втирай. Золотое сердце!.. Знаем, кому свои оды таскаешь...

— Федор Афанасьич!..

— Ну, ладно, ладно... Дело твое. Я только к тому: у меня через три дня из Шуи чтоб здесь быть. Чтоб не засыпаться. Вот я о чем. Ты в три дня не только Шую, а всю округу остановить должен. Вот был бы ты тогда парень на-ять, а не какой там Грязновский Мишка.

Лакин от длинной речи Отца радостно просиял и с готовностью ответил:

— Мы, Федор Афанасьич, покорно благодарим. Доверие партии оправдаем...

Отец, будто не слушая и хмуря брови над очками, осторожно раскрыл наконец свой загадочный кошелек и, роясь в нем мешкотно и неохотно, как кащей, вынул на стол один за другим три пятиалтынных.

— Вот, Миша. Тут из кассы тебе сорок две копейки чистоганом. Это из партийных средств на билет. Три копейки с тебя сдачи.

— Покорно благодарим, Федор Афанасьич. А у меня с собой ни копья...

— Ну, как же! Как так ни копья! Кто пятиалтынник разменяет? Никто. Эх, вы, фабриканты! Вася, ты уж сбегай, друг, в лавочку, не поленись, растопи монетку.

— Сейчас, Отец. Впрочем, у меня два двугривенных кругленьких есть, да ведь тоже с ними не разойдемся. Сейчас.

В это время Марья Рыжова неожиданно показалась в дверях. У нее был взволнованный вид, и она сделала какой-то знак рукою.

— Текай, — вдруг скомандовал Ермак. — Текай! Полиция!

Все вскочили. Отец поспешно хлебнул чай с блюдечка, сунул кошелек на ходу в карман и поковылял за другими. Четверо быстро, как мыши, юркнули в сарай; оттуда, откинув две доски, была дорога на соседний дворик, а там пустырь и переулок. Один Ермак тяжело остался на месте, на ладони разглядывая пятиалтынный. Марья стояла, разинув рот.

— Ну, что? — шепнул Морозов. — Кто там? Что? Что ты стала?

— Да ничего. Зачем они все побежали?

— Как, зачем? Вот дура! А что ты сказала?

— Да я ничего. Я не про то.

— Да что же ты! Ты что, об'елась чего? Ты знак-то какой указала?

— Да я не тот знак. Они так вспорхнули, что я опешила. Я тебя только вызвать хотела.

— Тьфу!.. — плюнул Ермак. — Это ты все с амурами своими крутишься! Каких делов натворила! Осрамила ты меня теперь на всю партию.

— Сам ты с амурами крутишься — сердито сказала Марья. — Я тебя вызвать хотела. Иди, Таня Капитонова приехала из Москвы.

— Да что ты! — весело вскричал Ермак. — Так бы ты, нескладная, и говорила сразу. Таня... Где она?..

И слегка оттолкнув Рыжову, Морозов побежал в комнаты.

5. СТАРИКИ И МОЛОДЫЕ

Упарившись с корзинкой, Таня сидела и вытирала со лба пот. В полутемной комнатушке, среди убогой обстановки, казалась она ярко-весенней, чужой, будто пестрая птичка с воли сама залетела в клетку, сидит и чирикает. Анна не стерпела, оставила свой пост и ахала около Тани.

— Таня! — влетел в комнату Ермак, и половицы заходили под ним, и где-то на полках звякнуло посудой. — Вот сюрприз, вот сюрприз!.. Чуяло мое сердце, сегодня с утра, как гадальщик, жду и жду кого-то... А это, значит, вы ехали...

— Сердце сердцу весть подает, — сухо вставила, стоя в сторонке, Марья.

Лицо ее вытянулось, стало иконописно, губы она подобрала.

— Здравствуй, Василий. Ишь, какой!.. Давно вас не видела, соскучилась. Да вы тут все будто чужие стали. Отвыкла. И тесно-то как у вас, господи! И темно. Как-то вы тут?

— В тесноте да не в обиде, — сказала Марья. — Живем, не ругаемся. И пооткусали бы друг другу носы, да

вместе приходится жить. В него плюнешь, в него и поцелуешь... Хы!..

— Ну, ты, Марьяша, и скажешь другой раз, аж уши вянут, — обернулся на нее пугливо Морозов.

— В Москвах не живали, белокаменных палат не видали, с господского стола не едали, не обессудьте...

— Ну, ладно, ладно... Она у нас — язык, как бритва. Она и Китаева заговорила. Да что же мы! У нас ведь в саду самовар. Пожалуйте, Татьяна Тихоновна, нашего возневанского откушать... У нас там, что твоя дача. Вот, посмотрите...

— Господи, господи, и как давно я!.. А где отец? — боязливо посмотрела она на всех по очереди. — Где старик?.. Вы тут, а отца-то не вижу.

— Отцы у нас теперь молодцы, шустрей молодых стали,—заговорила Анна.—Вроде как бы в бегах твой Капитонов. В бегах суматошный.

— Как в бегах? Как так?

— Ну, ты не бойся. Далеко не убежит: не молоденький. Теперь, матушка, и ждать не долго, скоро и наша верхушка. Прав, закону потребовали.

— Так что ж с ним? Аль и его, как дядю Сережу?..

— Нет, нет, Татьяна Тихоновна, зачем такое, будет и одного, — успокоил ее Ермак. — Ничего такого не подозревайте. Идемте. Ваш папаша, потому как Китаев указал на них полиции, что он главный будто был насчет тачки, хотя и ложно, так он, папаша, взял наши советы в разум, куртку в руки да и айда, значит, тихим манером на жительство к Дарье Ивановне... Только и всего. И вся конспирация...

— Вы тут, Вася, без нас выросли как! — тихо сказала Таня, услышав странное слово и оглядывая Ермака.

— Росли, росли, Татьяна Тихоновна, да и выросли. Эх, Марьяша, когда догадлива, когда нет... кабы на радостях половиночку раздавить.

Марья разлила чай и сердито буркнула:

— Люди пошли на митинг, люди депутатов избирают, а мы тут половиночки. Пейте чай, да веди дочь к отцу...

— А где же?.. — обвела Анна глазами садик.

— Покель ты, сестрица, порог берегла, твои гости — фюить!.. — пиши пропало. Сделали тут с Василием дельце, дураки... Ладно, садись, Анна, к столу... А я к печке пойду.

— Сердитая какая, — шутливо поглядела ей вслед Таня. — Она всегда такая?.. Ох, Вася!.. — и Таня, стрельнув глазами, погрозила Ермаку. — Ну, со свиданьем. А что это у вас за гости были?

Через полчаса могучий Ермак нес на спине корзинку, за ним спешила Таня.

Старенький домик в Новой Рылихе, где жила Дарья Ивановна, мало чем отличался от хибарки Анны.

Хозяйки и хозяина не было дома. Два старика сидели на скамье, один из них и был Капитонов. Он был вз'ерошен еще более, чем раньше, и походил на старого воробья зимою; перед ним лежал кусок черного хлеба, который он густо солил.

— Наши... — тихо сказал Капитонов, увидя вошедших и не подымаясь со скамьи. Потом уставился на дочь: — Ты, что ли?..

— Здравствуй, отец. Да что ты, будто со сна?.. И чудные какие вы тут все стали!

— Приехала... Чего же ты приехала-то? — удивился Тихон. — Ну, садись, коли так. Вот гляди, Спиридон, вот дочка моя. Вот каки они таки из столиц ездиют...

— Гляжу, гляжу. И то вижу: красавица. Дочь-то твоя, Капитонов, красавица.

— Вся в меня, — спокойно сказал Капитонов. — А что в корзинке?

— Вещи. Ведь я совсем, отец, приехала...

— Вещи... — разочарованно протянул Капитонов. — Что ты говоришь — приехала?

— Ну, да, совсем. Я свою барыню Заклепой обозвала.

— Да что ты! — ужаснулся Спиридон. — Зубкову-то! Да как же это ты?..

А Морозов прыснул от смеху.

— Вся в меня, — кивнул головою Капитонов. — Так их, сволочей, и надо. А нет ли чего поесть в корзине?

— Ах, господи! Да у меня там колбаса копченая, а я и забыла. Да вот — пирожки с мясом, это мне экономка Даша в газету завернула и сунула. Да вот... — и Таня, оживившись, стала вытаскивать еду.

— Ну, ты все-то не разоряй. Не разоряй. Вот колбасу сперва. А это убери. А чай-то пила? Ну, пила, и ладно. Дядя Спиридон, есть-то хочешь?

— Спасибо те, гостинчика-то из Москвы и я попробую.

— То-то, старина, — сердито заговорил Капитонов, смачно чавкая.—А ты все пилишь меня, все стругаешь. В деревню, в деревню, а почто в деревню? — они,

мало обращая внимания на Таню и Василия, видимо, продолжали какой-то горячий спор.

— А то и говорю, Капитонов, что переждать надо, пока не уляжет. Смута пошла, народ сдурел, одно слово — бараны. На рожон прут. Ну-ка, отрежь еще гостинчику-то...

— Ты так не говори, Спиридон. Ты без понятия.

— А что! — закричал вдруг старик и поднял руку: — Без какого такого понятия? Меня что? Ты, что ли, кормить будешь? А? Кто меня уболтворит, кто,— хозяин или ты?.. Отрежь один кусочек, занятная колбаса, давно такой не едал...

— Почему такому ты так кипятишься, дед? — спросил Василий.

— У тебя вот не спросился! Порядок жисти нашей от бога идет, его так своими руками не произведешь. Ты думашь: я неграмотный, я в газетах читал. Как где царя нет — крышка.

— Да рази мы против царя, — сказал Тихон. — Вот, не подумавши, сказал. Мы хозяину востребовали наши пункты, а там яко до царя, да — плевать, мы в это дело вовсе не встреваем.

— А чего не встревать, — возразил Василий. — Девятого января...

— Тиши не шуми, — испугался Спиридон, поглядел в окошко и заморгал бесцветными глазами. — И вобче какие собченья вы не устраивай, я за вами не ходок.

— А что тебе, дед, очень хорошо живется? — не унимался Василий.

— Я не мильенщик, чтобы жить в удовольствие. Рабочему человеку и приходится век в нужде проводить. Что ж с того!

— Так на кой тебе, дед, такой порядок хреновский нужен? У тебя при нем ничего, а ты говоришь — хорошо.

— А ты ловок больно! Ты лучше дашь? Да? Ты меня накормишь? — опять вскипятился старик. И вдруг, как ребенок, уставился на Таню, которая открывала банку с кильками. — Гляди, гляди, чего, Тихон, твоя дочка колупает!

— Не разоряй зря, — испугался Тихон, но кильки были уже открыты, а вилка лежала на столе.

— Э-эх, мать твою разэк!.. — подцепил старик Спиридон одну вилкой и положил на язык. — Вот так селедочки! Давай, хозяин, хлеба.

— Ночевать-то приходите, Татьяна Тихоновна, к нам... — застенчиво сказал Ермак.

— Спасибо. Да я, чай, здесь. У вас там... Что уж!

— А что у нас?

— Да ну вас! Марья Рыжова мне нос откусит. Нет, я здесь, с отцом. Марья больно зла.

— Ты Рыжову не кори, — внушительно сказал Тихон. — Марья девка правильная. Ты не кори...

А Спиридон в это время смачно глотал, пьянея от еды:

— Э-эх, едят те, вот так селедочки! Чать, в Москве не бунтовались, коли таки едят. Выдумали каких, ай-да столица, Тихон, а? — он прищелкнул языком. — Тиша, ешь, ешь... У нас по-деревенски говорят: что спил да с'ел, то барин не выбьет... Хи-хи-хи!..

— То-то тебе, — сердито поглядывал на него Тихон, — это тебе не деревня. Не разоряй, больно хорошо лежат. Не разоряй.

6. ГУБЕРНАТОРСКАЯ ТРОЙКА

Утром 15 мая, разглядывая в большое окно управы городскую площадь, набитую народом, Валерий Аполлонович мог убедиться, что сегодня людской муравейник кишит еще более деловито и сплоченно. По толпе то и дело пробегали, образуя быстро замыкающиеся коридоры, заботливые вожаки, выкрикивая и подымая руки. Там и тут возникали, крутились живые воронки; толпа перемещалась стройными кругами и при этом колебалась так равномерно, точно дышала вся вместе за один раз.

— Чистый крестный ход, — сказал кто-то сзади губернатора. — Коловорот!

— Только не поют — «Нищетою богатая», — сказал прокурор. — Да оно и так видно, чем они богаты.

— Столпотворение, — вздохнул Кожеловский. — Беспорядок! Толчея ног и умов. Кабы военной силы прибавить... — но увидя гневную краску на лице губернатора, он прикусил язык.

— Начальство лучше нас знает... — уныло прошептал он прокурору. — Конечно...

— Что-с?.. — сделал брезгливую мину Иван Иванович. — Вы насчет военного воздействия, господин полицмейстер. Аллегро выдирается, так сказать?

— Никак нет, совсем-с не про то. Господи боже мой, вот времена! Нигде нет поддержки. Отказываюсь понимать.

— Несут! несут! — вскричали Жаки.

— Что несут? — испугался Кожеловский и протиснулся к окну.

— Стол несут. Стол. Трибуна. Не извольте беспокоиться.

— Тьфу! Я думал, человека несут.

— Несут несчастного, несут... — пропел прокурор и, прикоснувшись к губернатору, вздохнул. — Скусно, как говорят макаки. Совсем скусно. Валерий Аполлонович, мне говорили, будто мы приглашены на чашку чаю к Марье Ниловне Несюниной, в Кохму...

— Да, да, представьте, — оживился губернатор. — Мне утром у Дергулева сия обольстительная Мария Египетская, известная за пределами губернии, нанесла визит. — Приятно улыбаясь и поглядывая в бинокль, он продолжал: — Я ей осмелился сказать дерзость. Я сказал: «Так как вы Ниловна, то ясно, что вы египетская львица. Со мною, вам под стать, жираффа — Иван Иваныч».

— Что же она вам на это ответила?

— О, она была обворожительна! Она не задумалась. У нее соболиные брови. Она сказала, этак двинув бровями: «Боюсь, ваше превосходительство, что вы будете тот самый нильский крокодил, который проглотит меня и с моими косточками...» Вы подумайте, Иван Иваныч! Ха-ха, хороши косточки!

И оба рассмеялись. Жаки тоже смеялись. Кожеловский почтительно отступил на три шага, делая вид, что ничего не слышит.

У другого окна тумбой стоял старший фабричный инспектор со своей свитой; два фабричных инспек-

тора, Полубенин и Кирпичев, высунулись совсем в окно и переговаривались с толпою.

— Куприян Куприяныч! — кричал какой-то человек снизу, размахивая кепкой. — Чем тут политику разводить, вы бы шли на стол. Пора к делу переходить.

— О каком деле кричишь? Какое на площади дело? Вам говорили — по фабрикам, — сделав из ладоней трубку, кричал сверху Кирпичев.

— По фабрикам не хотят.

— Не пойдем по фабрикам! Не пойдем! — крикнули внизу около окна. И злобный крик побежал по толпе. — Не пойдем! Не...о...о... о!..

— А вы что? Свои законы предписывать собрались? — желчно крикнул Полубенин. — Законы?

— Закона нет, нет закона, чтобы людей не слушать! — кричали снизу. — Мы что вам, мы не гулящие люди. Мы дела хотим! Дела требуем!

— Дела! дела! дела!.. — понеслось по толпе. — Е...е... а...а!.. — побежали звуки в даль, пока не ударились в двери лавок, которые по галереям спешно запирали испуганные продавцы.

Свирский оттиснул своих помощников и крикнул зычно:

— Пока не прекратите шум и гам, никто к вам не выйдет.

— Шум, шум, шум!.. У-у-у!.. — побежало по толпе.

Где-то раскатился смех, где-то дружным плеском захлопали в ладоши.

На стол вскочил Дунаев.

— Кто это? Кто такой? — спросил губернатор, тревожно разглядывая в бинокль юркие движения ората-

ра. — Иван Иванович, это ваш совершеннейший двойник. Только чуть пониже. Поглядите.

— Шутить имеете привычку, ваше превосходительство. Неужели я могу походить на такого санкюлота?

— Ваше превосходительство! — забасил Саваренский, — это и есть тот самый... одна из особо зловредных личностей. Вот бы удобно арестовать.

— Вы с ума сошли! Да нас сейчас разорвут на части. Чего вы хотите? Все в свое время. Следить надо пока во все глаза, следить...

— Слушаю-с.

— А что он кричит?

— Тише, женки, не визжите, — говорил Евлампий. — Приучайтесь к рабочему парламенту, к рабочей палате... Разве не слышите, господа инспектора спокойствия и тишины от нас ждут?.. Эй, товарищи! Не шуметь, и не кричать, и никого пальцем не трогать. Уговор дороже денег.

— Не тронем! — крикнула толпа и, повернувшись к управе, как один человек, подняла руки: — Не бойсь! Вылазай! Вылазай! Эй, вылазай, хомяк, из норы!..

— Тише, товарищи! Зачем так выражаться: про инспектора скажем — толстый хомяк, про губернатора — тощий козел али теленок, про голову — хитрая лиса и так далее. Тут у нас что пойдет? Зачем так!

Хохот пробежал кругом, и все стихло.

— Видите, как вы напугали господ лавочников, именитых мучников и потомственных галантереев. Поглядите. Как они спешат! А и напрасно все-таки они закрыли на замок свои лавочки: не воры и не грабители мы, нет, не жулики какие. Пора бы перестать

думать, будто им, господам, честь, а нам, голышам, только нагайка есть. Пущай не беспокоятся, не живем на чужой счет, мы к чужому труду не привычны. Пусть не меряют на свой аршин. А теперь, товарищи! — Дунаев снял картуз и помахал: — прежде всего этот картуз пускаю в оборот. Жертвуйте, кто что может в пользу бастующих. Изберите еще десяток сборщиков, и пусть обойдут с фуражками. А кто главный казначей будет?

— Царский, Царский! — закричали около стола.

— Странника! — крикнули далеко. И понеслось по толпе: — А-о-а!..

— Кто за Царского, подымите руки.

Лес рук поднялся вокруг Дунаева.

— Царский! Царский!..

Выбран был Царский.

Дунаев обвел толпу своими быстрыми глазами, та стихла, и он продолжал:

— Ну, товарищи, фамилия у нашего казначея надежная, авось не украдет народную деньгу, как иные прочие, — и Дунаев подмигнул и кивнул на управу. — А теперь, так как картузик у меня кругом пошел, мне можно поклониться и в эти окошки. Дорогие власти и хозяева! Ждем. Возневанские рабочие от вас ждут ответа.

— Фабрикантов! Фабрикантов! — загудела толпа. — Давай, где голова! Давай фабрикантов!

Свирский, красный, как бык, расталкивая толпу, шел к трибуне. За ним с трудом пробивались и два помощника. Дунаев живо спрыгнул со стола и помог влезть грузному инспектору.

— Господа!..

В этот миг неловко, опасаясь оступиться, забрались на трибуну Полубенин и Кирпичев. При виде их хохот расплеснулся по кругам, и головы рабочих закачались.

— Ишь, губернаторская тройка! Наше вам!

— Эти не разнесут!

Полубенин, тощий, в очках, бледнея, держался за Кирпичева. Кирпичев, на целую голову выше Свирского, со своею бородкой скобкой был похож на старинного нигилиста. Он, как рыба на суше, все время раскрывал рот, но ничего не говорил.

— Господа, — повторил Свирский, — будьте добры, потише. Еще раз подтверждаю, что фабриканты предлагают вам выбрать уполномоченных. Они будут неприкосновенны.

— Ага! — пронеслось вокруг стола. — Неприкосновенны! Не обманываешь?

— А как выбирать? как выбирать? — крикнул маленький ткач протискиваясь к самому столу и будто пытаясь коварно схватить за ногу одного из тройки.

— Выбирать можете, как вам удобнее. По фабрикам было бы лучше. Ну, а не хотите, можно и здесь.

— Здесь, здесь, здесь! — закричала толпа. — Приступим! Не расходись! Здесь!

— На бульваре, рядом! — крикнул Дунаев, и резкий его выкрик подхватила толпа.

— На бульваре! На бульваре! Хорошо Дунаев сказал. Чтоб посторонних не пущать. На бульваре!

— Так. Хорошо,—продолжал Свирский, подбоченясь, будто был на изготовке к камаринскому. — Очень хорошо, господа.

— Хорошо, да не дюже, — крикнул ему в ноги маленький ткач. — А где нас, ваше благородие, посадишь? Куда наш совет посадишь?

— Господа, с разрешения его превосходительства, господина губернатора, я предлагаю вам мещанскую управу. Губернатор идет вам навстречу.

— Ладно. Идет! Он идет и мы идем. Мы без щепетильности: в мещанскую, так в мещанскую, переводи нас в мещане.

— А с Каустиком рядом не хошь посадить? Боишься?

— Господа!

— А на чорта нам с ним рядом!

— Господа! Прошу вашего разрешения нам трем,— Свирский показал на своих коллег, — присутствовать на ваших заседаниях. Это облегчит...

— Облегчит, облегчит! — загудела толпа. — Сиди! И ты сиди, и они пусть сядут. Не жаль. Сиди!

— А все, глядишь, лишнее ушко начальству будет, — ехидно, вставил ткач, но голос его заглушило движение толпы, хлынувшей к бульвару.

— Великолепно! Поразительно, — изгибался прокурор, пожимая руку Свирскому. — Это более пышно, Петр Петрович, чем вчера. Почему они вас не качали? Вы, милостью божией, даровали этому народу редкостную конституцию!

— С разрешения Валерия Аполлоновича, — поклонился Свирский, косо взглянув на губернатора.

Тот, бледный и волнуясь, впиваясь глазами в движущийся поток рабочих, прошелся около окон и тихо и виновато обратился к голове:

— Семен Мареич, вы не находите?..

Ярость и злость были написаны на желтом лице Дергулева; он взметнул горделиво широкой блестящей лысиной и, заложив руки назад, быстро отошел от губернатора, будто не расслышав его слов.

— Теленок, — шептал Дергулев, дергая головою: — совершенное теля... Надо писать министру...

7. КАУСТИКОВЫ ГОСТИ

Свежая боевая сотня донских казаков в'езжала в город по нарочно растянутому и запутанному маршруту. Это было в то самое время, когда у Семена Мареича Дергулева собралось маленькое секретное совещание; секретное от егермейстера двора.

Лихо-залихватски были сдвинуты удалые казачьи фуражки без козырьков, едва сдерживая полет пышных чолок. Покачивались внушительные пики в такт рубленой песне. Сто здоровых глоток гаркали дружно, пугая серые домики обывателей и ткачей. Впрочем, женки и девки пялились все-таки в маленькие окошки из-за гераней и фикусов, а голоштанные ребятишки плясали почти под копытами лошадей.

Из-под кочек, из-под пней
Лезет враг оравой.
Гей, казаки, на коней —
И айда за славой!..

— Гей, гей!.. — кричали мальчишки.

— Ишь, за славой! — вздыхали женки и крестились боязливо на длинные пики.

На врагов, чертям на зле,
Налетим мы бурей,
Это наше ремесло —
Целоваться с пулей.
Эх, зудит моя рука —
Будет, братцы, рубка:
Помолись за казака,
Белая голубка!..

Этой богомольной «белой голубкой» и был Семен Мареич. Узнав по телефону приятную новость, он широко перекрестил свою лысину и сказал:

— Слава тебе, хоть одна радость за все эти трудные дни!..

Маленькое секретное заседание, кроме головы, состояло из Ильи Петровича Замуравкина, прокурора и фабриканта Рыбулина. Созвано оно было на предмет предотвращения новой опасности: опасности неразумных действий со стороны егермейстера двора.

«Судейские крючки, тонкие штучки, — думал голоза, приглашая прокурора в союзники. — Хотя с ними и надо ухо востро держать, но от них и польза может быть не малая. Смекалисты потому. К тому же, если ему сунуть умело, то из таких крючков веревки можно вить...»

«Что касаемо Ильи, — думал голова, когда звонил Замуравкину, — без него нельзя: государственный ум, только всегда опаздывает на пять минут. Без Ильи, однако, нельзя».

Но по своей бестактности прокурор, привыкший церемониться только с чиновниками, приехал не один, а с другом Рыбулиным, у которого остановился. Так на совещании и очутился незваный гость, с которым Семен Мареич все же по обычаю крепко поцеловался.

В глазах солидных людей Сергей Аверьянович Рыбулин был человек неосновательный—«психик», как говорили возневанские купцы. Вся его фигура не походила на выработанный веками прочный и простой по своему физическому складу тип промышленника. Нет, этот «психик», казалось, был задуман каким-то чудаком ученым и выскочил из аптекарской реторты: большая голая голова на тщедушном теле, ярко-красные чувственные губы, ассирийская рыжая борода, всегда ровно подстриженная. Сам чистенький, аккуратный, выступает будто по линеечке и всегда вселяет опасность какого-нибудь неожиданного колкого оборота речи. «Люди как люди, а этот, как юла на блюде. Кто его знает, куда он прыгнет», — говорили почтенные возневанцы.

Знали хорошо, что Рыбуля в бога не верит, и нет для него ни пятницы, ни среды, но он же, Рыбуля, вместе со старозаветными Гундобиными, кому-то на зло выстроил красивую церковь да еще заделался церковным старостой. В доме у него тысячи мудреных книг и музей всяких редкостей: старинные монеты, фарфор, шкатулки, японские ширмы и альбомы, китайские из кости истуканы и всякая ерунда. Вся семья Рыбулина жила в Петербурге, имел он дружбу с высокими особами, а в доме возневанском развел молодую женскую прислугу и турецкие нравы. В туфлях и халате приходил иногда в контору. Водились за ним и такие чудачества, которые особенно были не по нутру трезвым торговым людям: он не признавал кредита и счетов — по счетам не платил. Фабрика все же не могла жить без кредита, и контора Рыбулина, благодаря чудачеству хозяина, должна была вертеться,

как бес перед заутреней: Рыбулину опасались отпускать в долг. Иные за эти причуды так и звали его грошовником, иные—купцом на козьих ножках.

Вот этого-то рыжебородого гостя прокурор затащил к Дергулеву: не была ли в этом насмешка ехидного губернского чиновника над важным возневанским миллионером? Кто знает? Но Семен Мареич решил, что дело выше всего, Рыбулин — так Рыбулин, и скрепился.

Разговор шел скачками о том, как обойти губернатора, соблюдая такт, и как усилить боевые меры и ликвидировать недопустимую и пагубную гуманность.

— Еще так, еще неделька, господа, этакой манной каши, и мы покатимся в тар-тарары, — говорил голова, искоса и недовольно поглядывая на фигурку Рыбулина, который ходил со своею бородою, как маятник, по огромному ковру. — Прошу внимания, Сергей Аверьяныч.

— Я внимаю.

— Он выпустит своими затяжками из нас весь дух. Вы понимаете, что это преступно, преступно-с...

— Что преступно? — спокойно спросил Рыбулин.

— Да, совершеннейшая правда... за это нас всех из Петербурга по головке не погладят, — поддержал Замуравкин.

— За что «за это»? — опять притворился непонимающим Рыбулин.

— За Советы-с! — вскипятился Дергулев. — Я отвечаю за целость капиталов всех владельцев фабрик, в том числе и вашего, Сергей Аверьяныч. Я выбран стоять на страже, и что ж?.. Мы устраиваем сами разбойничьи гнезда голоштанников, мы сами,..

— А это занятно, — усмехнулся «психик»: — рабочий парламент! Зрелище новое, никогда не видал. А разве вы не находите, прокурор, что это очень удобно: иметь на виду головку, и во всякое время, при желании... чик! и вся недолга... Что это?

Рыбулин вздрогнул, и все насторожились. Откуда-то несся шум: га-га-га!.. Потом к нему прибавился отрывистый лай собак и визг и крик человека: Га-га-гав! Га-га-гав!

Замуравкин отбежал в дальний угол и затрясся: недавнее сказалось. Прокурор побелел и на цыпочках подошел к двери, нервно хватаясь за ключ. Но ключ не слушался. Вдруг Дергулев хитро улыбнулся и отстранил прокурора:

— Пустите, Иван Иваныч. Это пустяки. Я по звукам слышу, Сирота чудит...

И он выбежал на мраморную лестницу.

Внизу пьяный Мефодка, плохо держась на ногах, целился из охотничьего ружья в великана-швейцара, который, почти присев и закрыв лицо руками, что-то визжал и кричал. Две охотничьи собаки около замызганных в грязи сапог своего хозяина ретиво лаяли, поглядывая то на швейцара, то на Мефодку.

— А-га-га-га!.. — кричал Сирота. — А в хорду мочишь? В хорду мочишь?

— Мефодий Иваныч! Мефодий Иваныч! — всплеснул руками Дергулев. — Да что же это такое?

— А? Что?

— Да вы так человека можете убить!

— И убью.

— Что вы, Христос с вами, опустите ружье.

— Ну, опустил. Ну, что? Все это дьяволово семя сводить с лица земли надо. А-га-га-га!.. Он мне говорит: никого не велено принимать. Никого. Ты понимаешь, Семен. Он думает, я — никого! Здравствуй, Семен. Я к тебе прямо с паршивого болота, у меня забастовка.

— У всех забастовка.

— У всех? Почему у всех? Я тебе говорю: у меня забастовка. Мой Сидор с утра, подлец, мне устроил... Я дал ему в морду, и он забастовал. Я пешком, без кучера... я коляску бросил... Болотом пер, понимаешь... Дай рюмку! Эй, кто здесь? — он обернулся на лакеев. — Живо! Водки сюда!

Лакей бросился по лестнице и быстро вернулся, держа на подносе рюмку водки.

— Ду...ду...дубина! — пришел в ярость Сирота. — Что ты принес! Ска-а-тина! Две рюмки, жива!.. Да колбасы...

Лакей опять опрометью бросился верх и вернулся с двумя рюмками и бутербродами на подносе.

— Пей! — крикнул Сирота великану. — Пей, иродово семя! Все вы холуи, халдеи, бунтовщики. Пей, забастовщик!

Тот взял дрожащей рукою рюмку.

— Ваше степенство, Мефодий Иваныч, завсегда язвить изволите, — сказал лакей, придвигая поднос к Мефодке. — Кому это неизвестно, у того родимчик может приключиться.

— А-га-га-га!.. — затрясся в смехе Сирота и, чокнувшись со своей недавней жертвой, опрокинул рюмку и закусил колбасою. Вынул рубль и положил лакею на поднос. — А ты... В другой раз будешь!.. — обра-

тился он опять к великану: — Надо знать, как Мефодия Иваныча чтить... Ну, Семен, где, какие у тебя секреты?

Шумно, в грязных сапогах, с собаками ввалился Мефодий в комнату и затрепыхался, толкаясь то в одного, то в другого.

— А борода, борода! Рыжебородый Тор! Рыжий красного спросил, чем ты бороду красил... Господа! Представьте!

— Сядь, Мефодий.

Мефодка повалился на диван.

— Представьте! Я наткнулся в лесу на целое заседание иудо-масонов, тоже секретное. Га-га-га!.. Вы здесь, они там. Но мне вежливо сказали: «Лохматый пес, иди, пока цел...» Ловко? И Мефодка должен был итти от них, пока цел. И они позволяют, они позволяют себе оскорблять... оскор... — тут Мефодка задержался, бессмысленно хихикнул и вскрикнул конец слова с особым удовольствием: — Я жалобу мою тебе, Семен, в груди принес. И ты, Семен, во всем ответишь. И ты, Илья, мудрец, и ты, и ты на козьих ножках. Я триста рублей пожертвовал, и у меня нет защиты. Я требую личную охрану, я требую огородить... огородить... Вы что? Что вы тут? Знаете ли вы, куда мы идем? Куда мы идем? Я спрашиваю вас.

Семен Мареич позвал лакея.

— Сними с барина сапоги и дай подушку. Сейчас, Мефодий, мы никуда не идем.

— А-га, Миша, — увидал Сирота лакея и, с удовольствием укладываясь на подушку и подавая одну ногу и другую, бормотал: — Ты тоже, холуй, тяни,

холуй, тяни, но я хуже: я, брат, анархист, я Пру-пру-прудона читал... Слышал?

— Слышал, — бойко ответил лакей.

— А что ты слышал, чортова кукла? Повтори, кто я?

— Антихрист.

— Ну, и дурак! Бери сапоги и по-пошел вон...

Тут Мефодка выругался матерно и сладко вытянул ноги.

— Пра-а-далжайте, господа. Я слушаю. Я слу-у...

Скоро густой равномерный храп покатился по комнате, и секретное заседание было перенесено в более глубокие покои Семена Мареича.

Вечером в тот же день белокурый телеграфист Витя Ласточкин, большой специалист на гитаре, и другой молодой почтовый чиновник Митя Купидонов, с немалым интересом читали письмо прокурора Ивана Ивановича Чернявского к Маргарите Оттовне Леонтьевой. Впрочем, это нисколько не помешало прокурорскому письму дойти по назначению.

8. ПИСЬМО ПРОКУРОРА И ЕГО КОПИЯ

Вот что прочли Витя Ласточкин и Митя Купидонов:

«Дражайшая

Маргарита Оттовна!

Хранить, как зеницу ока, нашего благородного рыцаря и следовать во всем Вашим предписаниям, предписаниям Вашего сердца, стало для меня — увы! — задачей не по-плечу.

Воздух самый этого бессмысленного города отравлен химическими красками, и день каждый нам преподносит какую-нибудь нелепость.

В душном воздухе молчанье,
Как предчувствие грозы...

Увы! если бы только молчанье. Но вот уже два дня рычит город премогучий, как именуется сия священная Возневань в одной местной песенке.

Наш благородный Валерий, опьяненный алхимией толпы, даже не уклонился от роли трибуна. Вы подумайте: речь губернатора с бочки перед раз'яренной толпою! Но... но...

Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется...

Помня Ваши драгоценные советы, Ваши планы о выводе стихии из города хотя бы ценою волшебной флейты (эта флейта в руках у Кожеловского, и он недурной флейтист), я должен сказать, увы, что инстинкт музыканта ныне оставил нашего благородного друга.

Еще нам далеко до цели:
Гроза ревет, гроза растет...

Ослепление идеей народовластия, сей недуг, охвативший в наше время даже высокие круги, имеет место в этом лихорадочном городе повсюду — от лачуги ткача до покоев губернатора. При таком положении надеяться на чудо—единственный исход.

Но ослепление так очевидно, что и чудо было бы безнравственно: кто сеет ветер, должен пожать бурю. Горькие слова! Но сегодня мы посеяли, с благоволения благородного Валерия, совет рабочих депутатов, т. е. я уже могу Вам писать о начавшейся и их превосходительством утвержденной возневанской революции. «Се время помощи», как говорят отцы церкви, заметьте, дражайшая Маргарита Оттовна.

Нигилятина и разврат подпольный здесь явно, не укрываясь, разгуливают на площадях и в рабочих окраинах. В этой лихорадке, день за днем, нам вне всякого сомнения только и остается, что преуспевать на горшее. Ах, давно и пророчески писал поэт:

И этот клич сочувствия слепого—
Всемирный клич к неистовой борьбе,
Разврат умов и искаженье слова—
Все поднялось, и все грозит тебе.

Чего можем ожидать, если почтенные фабриканты, не краснея, заявляют себя сторонниками анархиста Прудона, того самого, который заявлял, что собственность — есть кража. А на книжных полках в доме, где я гостеприимно принят, я нахожу толстые томы Карла Маркса, Герцена и Лассаля и, перелистывая их, вижу отметки красным карандашом, знаки восклицания и другие знаки восхищения... Се время помощи!

Впрочем... мы успеваем за докукой государственной веселить и наше бедное сердце. Дорогой Валерий всегда был истинный артист.

На-днях мы едем к местной львице с соболиными бровями на чашку чая. Я не мало не сомневаюсь, дражайшая Маргарита Оттовна, что сладкий миг хоть как-нибудь скрасит трудные дни нашего рыцаря.

Я думаю, не пора ли, бросив излишнюю конфузливость, бить отбой. Нельзя от поэта и философа ожидать сазоновской полицейской тактики: быстрота и натиск, руки загребущие, нагайки большущие. Я думаю, дуэт Сазонова и Кожеловского был бы прекрасен и вполне своевременен, к тому же здесь имеется очень густой и крепкий бас—Саваренский, который далеко пойдет.

Не лучше ли, охраняя карьеру и незапятнанное, чистое, как хрусталь, имя нашего Валерия, охраняя самую его жизнь, отозвать Вам его супружески в тихое лоно дорогой семьи. Но... но... уста мои молчат. И все это между нами.

Ваш неизменный, целующий
ручку не только карающую
Иван Чернявский.

Возневанск, 15 мая 1905 г.»

Копию этого витиеватого письма, написанную мелким почерком Купидонова, Арнольд Федорович Левенец получил только 16 утром.

Он долго и глубокомысленно стоял около письменного стола, смотря в одну точку; потом быстро прошел в угол и там свирепо потер руки и сказал раздельно:

— Ка-ра-шо.

Потом прошел в другой угол и сказал так же:

— Очень даже ка-ра-шо.

Вышел, спустился, щелкая шпорами, с лестницы, надел шинель и, расправляя перчатки около зеркала, опять сказал:

— Ка-ра-шо.

Дежурный жандарм вздрогнул и посмотрел вопросительно в металлические глаза начальника. И вдруг Левенец сделал крутой оборот и кратко отдал приказание:

— Примить шинель!

И, скинув шинель на руки жандарма, быстро побежал, щелкая шпорами, вверх по лестнице.

Проходя мимо помощника, Левенец четко сказал, не глядя на него:

— Вас радовать должно, ротмистр. Мы вошли в канун великих событий. Ка-ра-шо!

И убежал в кабинет.

9. ПРОБА

Когда на бульваре окончились шумные выборы в Совет, Евлампий Дунаев нырнул в толпу и, быстро работая плечом и локтями, пробрался в ближние переулки. Как ни интересно было пойти на первое заседание, Евлампий предпочел черновую работу по спайке боевого ядра: только оно на своих плечах могло вынести стачку и могло повернуть дело так, что от всех загорающихся и потухающих событий мог остаться нужный и настоящий след.

К дому Безрукова окольными путями пробирался Дунаев. В каморке Семена Ивановича Позолотчика

(Балашова) сидели Станислав и Терентий. Тихо постучавшись и погладив по голове Петьку и показав ему мимоходом, где живет «ой» и «ай», Евлампий сел на койку Позолотчика, искоса поглядывая на новую столичную птицу.

Семена Иваныча не было в каморке: он орудовал в Совете. Евлампий разложил перед собой на газете еду и пробурчал:

— Вы, товарищи, продолжайте.

Недоверчиво и испытующе мерял глазами нового гостя Дунаев, будто прощупывал его: подгадит или нет. Но делал он это довольно ловко, не показывая виду и будто занятый едой.

Терентий говорил тихо, но быстро. Заведя длинную речь, он вдруг встряхивал головою, пересаживал пенсне и начинал о другом. Торопливость и сухая деловитость переплетались в его словах, при этом он что-то успевал пометить карандашиком у себя в блок-ноте, вынуть из кармана какие-то бумажки, быстро оглядеть их и заботливо сунуть в другой карман.

— Экономическая база, товарищ Станислав, города Возневанска — не только капитал, но и большие земли. В руках фабрикантов огромная в губернии площадь, — при этом Терентий будто торжествующе посмотрел на собеседника и сунул ему в нос бумажку.

— Это что?

— Список. Количество земли у каждого тузообраза. Возьмите. Наш безуездный город счастливо выделяется: в нем нет ни студенчества, ни интеллигенции, ни третьего элемента. Мы оголены, товарищ Станислав.

— Хм! — промычал Дунаев и прибавил, окая по володимирски. — Оголены, верно. Обобраны...

— Нет, я не про то, Евлампий. Я хочу сказать: у нас классовые противоречия выложены, как на доске. Ясно, просто, видно. Угнетение—до конца, и никаких переходов, никакой культурной замазки... Мы живем, слава богу, без так называемого общества и без общественного мнения. Зоология — и все. Поняли?

— Как не понять, — ответил за Станислава Дунаев. — Отлично поняли и давно.

— Сила и власть здесь — анчоусы безголовые. У них ничего блестящего и показного, никакой официальной эстетики, мы живем без бюрократических бакенбард... У нас брюхо.

— Ха-ха-ха,—рассмеялся по-детски Дунаев.—Я твои слова на Талке скажу, право скажу.

— У нас нет дворянского элемента. Словом, мы Робинзоны. Наши купчики медленно, но верно скупили кругом все земли и вытеснили с лица земли благородных паразитов. Новый наш паразит, у него — патент.

— Патентованный, выходит, — ухмыльнулся Дунаев.

— Делячество, выжимание деньги — вот и вся наша культура.

— Да у вас тут Америка, — усмехнулся Станислав.

— Угу! — наклонил голову Терентий.

— Как расписал, ловкач! — увлекаясь картиной Возневани, воскликнул Дунаев: — А ну, еще что?

— Социалистической интеллигенции, а также и кадетской мякоти у нас нет, разве так: один-два — и обчелся. Наша мелкая буржуазия без воротничков: подрядчик, кустарек и служащий, у них ни эсерства, ни меньшевизма. Черная сотня? Да, для нее расчищается почва. Вся эта злобная мелочь уже окрысилась

на нас. Я думаю, у нас за спиной кое-кто тормошится, но это что-нибудь вроде огородников со Сластихи... Да и то едва ли. Что-то пока не слышно. Просто — болото и обывательщина. Среди рабочих у нас — ни зубатовщины, ни гапоновщины...

— Очень недурно.

— Да. И в наших рядах чистота. Тактических разногласий в нашей группе нет, мы с пеной у рта не спорим... Наши коноводы — вот! — и Терентий показал на Дунаева: — У них руки в мозолях.

— Ну, был грешок... — уклонился от похвалы Дунаев и конфузливо посмотрел на свои ладони. — Был. Спорили. Мы политики осторожные, а коноводы наши острожные... Но позвольте свернуть в другой переулок. Вот наладили музыку, чур, братцы, дело не портить. Чтобы не подгадить.

— Вы про что, Дунаев? — спросил Терентий.

— Да кому что, а мне одно. Дело складываем по кирпичу, своими руками, тут без опаски нельзя. Чур, братцы, того... — замялся он, подбираясь к вопросу медленно и на ощупь. При этом смерил глазами Станислава. — Не понимаете? Насчет царя, говорю, полегче, вот я про что. Как бы из рук народ не упустить, еле-еле держим. Темнота. Круто повернешь, шварк — и намахают. Ходи веселей!

Станислав добродушно улыбнулся. Чувствуя, как горит внутренним огнем весь этот небольшой щуплень-кий человек с острой бородкой, похожий на уголек; как осторожно, точно заботливая мать ребенка, ведет он шаг за шагом тысячные полки рабочих, он задумался: издалека, из Москвы все было просто, по схеме и сверху вниз. А, может быть, поучиться сначала

надо, поучиться у этого подлинного мастера искусству сливаться с массой, искусству водительства? Даже зависть почувствовал Станислав: то, что лежит за спиною Дунаева, никогда не будет уделом другого...

Но Терентий просто заметил:

— Евлампий подходит к рабочему, как пастух к овце. Видно, когда-то прошел он и эту школу.

— Да, да, голубчики! В пастухах я был. Вы восчувствуйте! Особенно насчет женок молю. Ох, капризны! Ох, капризны! Потрафить им — все равно, что свистульку из песку сделать. Не потрафите — знаете, братцы, что с вами вытворят?

— Что? — смутился Станислав.

— Обо...

— Ну, ладно, ладно, — замахал карандашиком Терентий. — Ты, Евлаш, всех пугаешь. Однако, Трифоныч смотри как дело повел и с первого разу. Небось, потрафил!

— Трифоныч! — и глаза Дунаева засветились. — Нам у него учиться. Да ведь, товарищ Терентий, не все они Трифонычи. Верно?.. Ну, братцы, собирай монатки и айда на Талку.

Вышли от Позолотчика с интервалами, по одному, как было условлено, но держа друг друга в виду. Дорога была длинная, и Станислав, поглядывая, как юрко уходит вперед Дунаев, будто ныряя среди прохожих, о многом успел подумать, но что будет говорить,—не мог себе представить. Обрывки старых знакомых оборотов лезли в голову — но все было не то, не то... Какую-то романтику сбил ему Дунаев своими речами, и потерялась у него вера в силу своего слабого слова. Когда, перелезши через насыпь железной до-

роги, увидел широкое пригородное поле и на нем большие черные пятна рабочих толп, забыл Станислав, что пришел учить и звать: ему захотелось обойти всю эту толпу, все поле, послушать и посмотреть... И несколько легче и проще стало, когда увидал кое-где солидных людей с зонтиками и в шляпах: это были техники, граверы, рабочие более высокой марки... А вот и околоточный и еще кто-то в шинели. Да, здесь еще пока настоящая идиллия!

Но когда после Дунаева Станислав влез на бочку и встал под напором тысячей глаз, ему стало вдруг легко и сладко, будто подхватила большая мощная волна, и речь его поплыла твердо, но не прямиком, а как ручей, обходящий камни... Первое одобрение, первые хлопки вернули самоуверенность. И вот уже Станислав держит в руках толпу, и просторно стало ронять слова, рука простирается то к лесу и голубой дали, то к городу труб и серой пелены. «Хорошо, — думает Станислав,— пробу выдержал», и под шум и аплодисменты прыгает с бочки.

Вот и Евлампий. Смеется. Хитро, насмешливо щурит глаза.

— Ну, как?

— Как?.. А вот давай спросим женок.

Подходит к кучке ткачих.

— Здравствуйте, землячки!

— Здравствуй, землячок. Ты, что ль, первый-то говорил?

— Я. А вот как второй-то?

— Длинный?.. Ты ему скажи: руками-то поменьше махай.

— А что?

— Да то! Знаем, чего в воздух тычет, знаем. Тень антихристову на нас наводит. А мы — грамотные, понимаем. Ты ему скажи: «Не тычь, Иван Кузьмич».

— Ха-ха-ха!.. — расходится язвительный смех волной по белым платкам, и Станислав спешит укрыться невидимкой в толпу работников более высокой марки.

10. ДЕПУТАТЫ

...Ночь. А с рассветом
Вспыхнет гордое знамя борьбы —
Загорятся рабочим советом
Рабы.

Ив. Шувалов

Сто пятьдесят депутатов — много мужчин и несколько женщин — построились на бульваре десятками, плечом к плечу, весело поглядывая друг на друга.

Было около пяти часов дня, давно никто ничего не ел, но людское море плотно и со всех сторон обступало представителей, угрожая захлестнуть их и смять в беспорядочную толпу.

В первых рядах депутатов суетился мало заметный Семен Иваныч Позолотчик; как дирижер, размахивал он руками и в большом возбуждении отдавал какие-то приказания.

Больше всего беспорядку вносили женщины, забегая, как овцы, с той и другой стороны депутатского отряда; вскакивали на скамейки и пронзительно кричали наказы выбранным.

— Эй, Дарья Ивановна! Ипутатка!

— Ау, вот я!

— Крепко за нас стой. Насчет женок похлопочи. Слышь?

С разных мест короткие беспорядочные реплики выкрикивали одновременно несколько ораторов, перебивая друг друга.

— Варвару-то, Варвару-то выбрали, смотри-ка, какая сурьезная! Варварушка, от мужиков не отставай!

— А то!..

— Михей, дядя Михей! Смотри, начальству не сдавайся. Все пункты...

— А? Что?

— Все пункты...

— Женок-то, женок-то что набрали! Гляди: раз, два... Ты по платкам считай. Два десятка.

— Двадцать одна штука, наша сила все больше. Против мужиков им не поднять!

— Где поднять! Зато у них голос пронзительный.

— Ну, итти, что ли? — подталкивали депутаты, передних.

— Подождем. Надо выслушать. Чу!.. Во, гляди, оратор.

Старуха неуверенно стала на скамью, держась за чье-то плечо; платок ее с'ехал в сторону, седые жидкие волосы сбились. Она протянула худую, как соломинка, руку и долго жевала губами, не в силах вымолвить слова. Около нее стихло; головы обернулись к ней, и женки сочувственно вскричали в один голос:

— Говори, говори, Секлетея! Говори! Постойте итти! Она сечас вам скажет.

— Говори, старая! — крикнул бойкий маленький ткач захлебывающимся от радости голосом. — А то умрешь, не скажешь. Говори!

Но старая Секлетея, глядя в толпу депутатов и будто ничего не видя, только в волнении жевала сухими губами, и никак не слышно было ее тихих слов.

— Что ж ты?.. Эх, мать!..

— Стой, ребята, не кричи. Чу!.. Заговорила.

Старуха, наконец, набрала воздуху, вздрогнула, платок совсем свалился с ее головы, и она всхлипнула:

— Управители наши!.. Роди...

И залилась слезами.

— Эх, ма!.. Все, что надо, все сказала, — говорили сочувственно в толпе: — управители!.. Кабы управители были, и плакать бы старой не пришлось.

— Трогай! — крикнул что есть мочи Балашов.

— Трогай! — пронеслось по рядам, и ядро депутатов двинулось к Мещанской управе.

— Господи, благослови, — крестились кое-где женки. — Дай вам бог...

— Бог, бог! — передразнил бойкий ткач, забегая вперед и любуясь депутатами: — Тут наша сила, а не бог!..

Толпа лилась серым шумным потоком по ту и другую сторону, перекликаясь со своими избранниками. Около здания управы депутаты подтянулись, гордо подняв головы; отделились из первого ряда несколько расторопных человек с Семеном Иванычем во главе и встали у входа, проверяя каждого: мандатов не было, но был список, сколоченный наскоро из разных лоскутков бумаги с пометками карандашом; друг друга знали в лицо.

Зал Мещанской управы был не очень велик, и выбранные заполнили его целиком. Со стены смотрел огромный во весь рост портрет государя, не мало удивленный появлением неожиданных гостей. С не-

которым удивлением смотрели на твердо усаживающихся депутатов и виновники сего торжества: старший фабричный инспектор и его коллеги, словом— губернаторская тройка. Понимали: дело зашло далеко и как-то оборачивалось неожиданно; трудная работа предстояла им, надо было этой тройке вывозить собрание, как предписано, в сторону хозяйских интересов, а это все равно, что круто свернуть экипаж с большака на проселок, из'еденный рытвинами и грязной дождевой водою.

— Об'являю заседание открытым,— отрубил Свирский, шевеля седыми усами и упорно вглядываясь в депутатов.— Прошу выбрать президиум, председателя и секретарей. Намечайте кандидатов.

Самыми опытными оказались гравера. Быстро овладели они положением, им все было понятно, их не пугало чужое слово «президиум», или, как некоторые говорили,—«президиум»: гравера Авенира Евстигнеевича Ноздрина провели в председатели. Зато подпольщики, спохватившись, провели своего секретаря — Николая Грачева. Выбрали еще двух секретарей и казначея.

Шум удовольствия и ликования прошел по залу, когда под аплодисменты президиум солидно занял место за столом, покрытым, как полагается, синим сукном, и вежливо оттеснил в сторону губернаторскую тройку.

— Товарищи,—спокойно начал председатель,—спокойно,— но за председателя страшно заволновались женщины-депутатки, у них захватило дух при первых словах председателя,— даю слово для заявления госпо-

дину старшему инспектору, после чего мы приступим к выработке повестки дня.

— Повестки дня! — шопотом пробежало по рядам, и особенно были довольны женки — председатель не хуже людей: знает, когда и какие слова говорить. Повестка дня — а седьмой час вечера; значит, так надо. — Молодчага Авенир, отшил Свирского!.. Свое начальство.

— Тише! Тише, депутаты, — сказал Ноздрин и сел.

— Господа депутаты, — начал Свирский, охорашиваясь и очевидно и сам довольный своими новыми и торжественными словами. — Настоящее совещание рабочих, созванное соизволением... гм!.. господина начальника губернии... гм!.. есть явление новое, пока нигде не наблюдаемое, даже и в столице.

— Польстил и нашим и вашим, — сказал Позолотчик.—Выжига человек, знает что сказать.

— А Полубенин, глядите, как набок искривился: будто муху с'ел.

— Пристяжная, она всегда набок.

— Т-с! Тише.

— Граждане! Уважайте самих себя. Прошу сохранять спокойствие, — сказал Авенир и вежливо отмахнул инспектору, как власть имущий: — Продолжайте!

— Господа депутаты фабрик...

— Рабочих... поправил кто-то.

— Ну, рабочих. Разницы не вижу. — И уже более нервно, краснея и потея, старший инспектор повторил: — Господа депутаты рабочих должны усвоить, что только деловое, спокойное отношение к вопросам может привести разногласия их с хозяевами к благопо-

лучному разрешению. Только так вы сможете, работая здесь и совещаясь скромно и дельно, охранить интересы всех рабочих. Улучшение быта рабочих—есть задача трудная, ответственная, особенно в наше время, когда война подорвала финансовый базис многих крупных предприятий.

— Пой, пой, день-то твой... — ворчливо заметил кто-то. — Базис.

Но инспектор продолжал:

— Вашими неумеренными требованиями вы, конечно, только расшатываете свое же положение, поэтому... гм!..

— Довольно! — сказал, вскочив, Позолотчик. — Знаем твой базис. О чем говорить! Ты, ваше благородие, лучше нам то скажи, как с нами господа фабриканты будут разговаривать.

— Господа фабриканты,—поморщившись сказал инспектор, — поручили именно мне принять просьбы от фабрик...

— Требования!

— Ну, требования. Не вижу разницы. Но через меня вы можете разговаривать с фабрикантами.

— Вы кончили? — вежливо спросил Ноздрин, разглядывая снисходительно инспектора, который, красный, вытирал пот со лба.

Вся речь инспектора, задуманная хорошо, была смята.

— Нет, я не кончил. Я многое еще хочу сказать. Я имею смелость рекомендовать собранию выделить маленькую комиссию для более успешных переговоров с фабрикантами...

— Не надо! Не надо! — загудела аудитория и долго не могла успокоиться, несмотря на звонки Авенира.

Позолотчик встал на стул и заговорил быстро, не обращая внимания на жесты и звонок председателя:

— Товарищи! Нас выбрала громада в сорок, а то и все пятьдесят тысяч трудового народа. Они — там, за нашей спиной, они ждут. Мы не уроним своего достоинства. Мы знаем, за спиною у кучки хозяев стоит другая громада — драгуны, казаки и всякая такая... Позолотчик махнул рукой. — Но, товарищи! Бог не выдаст, а свинья не с'ест. Пусть хозяева не погнушаются притти к нам, сами ли или через своих выбранных, и пусть здесь в Совете заслушают, чего мы хотим, и здесь нам ответят...

— Вы кончили?

— Кончил.

— Товарищ Балашов, я прошу вас более не прерывать господина инспектора.

— Мне трудненько, господа; вас много, — начал инспектор, — и вы не научились еще слушать; но я думаю, будет сделано так, как вы найдете нужным. Позвольте передать вам пожелания и волю начальника губернии. Дело в том, что есть необходимость отпечатать некоторые об'явления.

— На то есть Шуя! Печатайте там!

— Граждане, Шуя тоже может не сегодня-завтра...

— Ага! — прокатилось по рядам: — Докукались.

— Товарищи! — опять вскочил Позолотчик. — Мы не в праве нарушать забастовку. Пока идет забастовка, нет типографий для губернаторских бумаг!

— Нет! Нет! — загудели депутаты, и зазвонил тревожно звонок в руках Авенира.

Два инспектора встали, и вся тройка, насупившись, совещалась угрожающе на виду, пока зал гудел от криков.

Наконец, Ноздрин успокоил депутатов.

— Граждане, собрание депутатов, — предлагаю, — заслушав пожелания губернатора, не сочло себя в праве разрешить хотя бы и частичное нарушение забастовки. Кто за, — прошу поднять руку.

Все подняли руки.

Свирский опять утер лицо платком и продолжал:

— Я должен раз'яснить. Господин начальник губернии мог бы и не спрашивать и не просить. Достаточно взять отряд, оцепить типографию...

Крик возмущения прервал слова инспектора, и ему стоило большого труда перекричать собрание:

— Прекрасно! Прекрасно! Его превосходительство и не собирается вступать в вооруженную борьбу с вашими решениями. Это была лишь просьба. Не хотите, — как вам будет угодно. Заканчивая мои сообщения, господа депутаты, я прочту вам записку о приеме господином министром финансов депутации рабочих от общества взаимопомощи рабочих г. Москвы.

И тягучим чугунным голосом инспектор зачитал сухую записку, думая этим, последним своим козырем поразить воображение рабочих. Один за другим ускользали слушатели в коридор, и там оживленно подталкивали друг друга:

— Вот упарили!

— Утерся!

— Хитрая бестия, в хозяйскую трубу трубит.

— Невидаль какая! Министры, дескать, с вами разговаривают. Поздно спохватились.

— Вот вас бы, мужики, в инспектора-то,—сказала Марта.—И был бы толк.

— Ой, Марта,—ответил Позолотчик.—Как я с непривычки такой мундир надену, да я и в полах позапутаюсь...

— Ха-ха-ха!.. А мы из него два скроим: один тебе, другой Евлахе.

— Кончил! Кончил!—закричали у стеклянных дверей.—Идите, Авенир говорит...

И депутаты один за другим стали протискиваться опять на свои места.

Тройка сидела сконфуженно, тихо переговариваясь, и Свирский с отсутствующим лицом то и дело поглядывал на часы, хмыкал и сурово впивался глазами то в портреты по стенам, то в лица депутатов.

Говорил гравер Ноздрин. Ровный, спокойный голос его, без сучка и задоринки, хорошо ложился в ряды депутатов; уютная тишина, наконец, утихомирила страсти, задумались женки и перестали кашлять и харкать ткачи.

— Тридцать лет труда, товарищи, отгравировались на моих ладонях, и думаю, что я по моему рабочему стажу сумею, не виляя, проводить вашу волю и ваши решения. Много было пережито, и всего довелось повидать. Видел я издевку хозяина над рабочим человеком очень часто и знаю нашу нужду. И до фабричной инспекции и при ней жили мы не красно, и нашу боль в камерах инспекции частенько называли просто мелочью. От такой охраны труда мы бегали за тридевять земель. Теперь мы вылили нашу боль на улицу; все видят: правы наши требования. Однако мнутся и медлят господа фабриканты, прикидывают

на счетах, а казацкие сотни на всякий случай подтягиваются к городу. Однако...

Тут тихо, на цыпочках вошел полицейский надзиратель и с глупым лицом, подойдя к Свирскому, зашептал ему на ухо.

Авенир остановился, глядя вопросительно на инспектора.

— Виноват! виноват! — вскочил Свирский. — Вы об этом...

— Долой позицию! — загудела Марта: — О чем шушукаются! Прекратить!

— Прекратить, — зашумели делегаты: — Не задерживать!

— Граждане рабочие, — сказал надзиратель с ужимками: — маленькая справочка. Сею минуту-с, и я покидаю ваш зал заседания. Можете продолжать...

Прижимая к боку шашку, он торопливо, как побитый, засеменил мимо рядов к двери...

Первое заседание кончилось за полночь. Бледные вестники майского утра наползали над присевшими к земле крышами; белесые полосы, как чьи-то дороги, потянулись между облаками; на окраинах прогорланили и стихли петухи; надрывались собаки; зашелестел по тощим деревьям ветер; один звук цеплялся за другой, и постепенно, минута за минутой, со всего города будто кто-то тихо снимал тончайшие кисейные покровы, обнажая все более и более домики, укрывшиеся в черноте, слепые окошки, тумбочки, скамейки у ворот и вон, наконец, у крылечка двух точно застывших в ожидании женщин.

Сестры Рыжовы прислушивались к приближающемуся шуму и говору:

— Идут... Чу!.. идут.

— Идут наши выбраны...

— Идут...

— Да они ли?..

— А э!.. голос знакомый... Будто наш ткач Михайлов.

Далеко кто-то пропел, нажимая на каждое слово:

Но мы подымем гордо и смело знамя вели...

— Стой, — вдруг совсем близко раскатился голос: — Спят. Наши ткачихи. Разбудишь!

— Вот и вышло, вели, да не довели... — засмеялся третий.

Не замечая Рыжовых, группа веселых ткачей прошла мимо.

— А Василия-то, значит, нет? — спросила Анна, зевнула и обернулась к домику.—Я-то думала, и он в депутаты ушел...

— А на кой он нам, твой Василий, — сердито окрысилась Марья.—Нечего по пустякам и думать. Прошли твои выбраны, иди-ка, Анна, иди спать...

А сама опустилась на ступеньку, сгорбилась, положила голову на руки и прижала к подбородку колени:

— Я тут посижу, завтра не на работу. Вон — чу! Опять ткачи идут... Иди, Анна...

И новые тонкие покровы сдернула прохлада с улицы, и четче долетели новые шаги и говор. И опять мимо, не замечая, прошли депутаты, переговариваясь и споря.

И не было опять Василия.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

1. ОПЯТЬ ГОГОЛЬ

— И куда поедешь? Куда? Такой у тебя зуд и в мозгах — сверло; а самому надо лежать... Наполеон! То на дачу, то отложить — семь пятниц, уж ехать бы, что ли, на дачу от греха. А туда на фабрику не езди, не езди, прошу, пуще расстроишься. Ей-богу, Илья, ей-богу, сон я видела...

— Мама, вы бы записывали ваши замечательные сны: сонник выйдет, — снисходительно сказал Митя, надевая фуражку и поспешая за отцом.

Наталья Львовна оторопела, топнула и зашептала сквозь слезы:

— Грубые вы мужики, упрямцы!.. За отцом-то смотри. Старая тормошня, оторвут ему рабочие голову. Читала я твой дневник: и ты допрыгаешься.

— Мама!.. — обернулся Митя, моргая красивыми глазами, и не зная что сказать от неожиданности.

Но отец желчно кричал внизу:

— Ты что там застрял? С бабами? Слушай ее, дуру, она тебя научит на печи лежать. Я жду, сударь.

— Иду! Иду-у! — крикнул Митя и, еще раз обернувшись, погрозил Наталье Львовне:

— Мамаша, ах, мамаша!.. Уж успели! Все наперекор устраиваете... Вы бы за Лизкой лучше смотрели: она-то у вас красавица — красная...

И убежал.

«Красная», — подумала тревожно Наталья Львовна.— «Господи! Что он заганул? Что?»

Лизы не было дома. Наталья Львовна, вздыхая, осмотрела ее стол, полку с книгами, этажерку, шкатулочку, старые письма нашла. Вот Валя Рыбулина из Питера пишет: это старье. Давно читала. А вот записка; нет, целое письмо:

«Многоуважаемая

Елизавета Ильинична!

Наша романтическая встреча на кладбище была полна поэзии и тайны. Я восстал перед вами, в час Вашего раздумья и грусти, как некий выходец из темных могил. Неправда ли?.. Если бы у меня был вкус на Зинаиду Гиппиус, я, конечно, продекламировал бы Вам:

В стране, где все необычайно,
Мы сплетены победной тайной..

или что-нибудь в этом роде. Ну, конечно, ну, конечно, никакой тайны, да еще победной, у нас с Вами нет, и я лишь просто навязчивый плебей. Но я и раньше, до кладбища и до подслушанного «в топоры», один раз Вас видел в кружке и дал себе слово с Вами познакомиться. Вы тогда меня не заметили. После же Вашего восклицания по Бакунину — «в топоры»,—я в восхищении, я опять увидел тургеневскую Елену и у меня захватило дух. Где же пролетарскому какому-то

Мише было оценить Вас: это люди пыльные, без воображения.

Не отвергайте моего дерзкого письма и не думайте, что я наглый и страшный человек, атаман шайки. Ах, во мне качается вечный маятник—«не герой он и не рыцарь»,—ибо я уже почти интеллигент, и отсюда—во мне для Вас не может быть ничего страшного. Например: меня очень притягивают сладость тишины и синее озеро успокоения.

Я к монастырскому житью
Имею тайное пристрастие.
Не здесь ли бурную ладью
Ждет успокоенное счастие?..

Так часто, вместе с упомянутою выше Зинаидою (тоже покойничек), меня тянет, как и многих, многих русских странников, тихая келья под елью. Но время, но безумное наше время подхлестывает крылья. И вот я иной...

Сейчас у меня на столе лежит прошлогодняя книжка «Нового пути». Еще только в декабре некий мудрец этого журнала так неустрашимо начинал статью:

«Господствовавшее всего несколько лет тому назад увлечение марксизмом в настоящее время можно считать вполне поконченным».

Это вчера. А что сегодня? Подумайте, кто, кто здесь покойничек, автор или марксизм? Вы все-таки прочитайте «Бобок», очень любопытно.

На Ходынке, говорят, трупы целую ночь и утро стояли в тесной толпе, толпа двигалась,

и синие трупы сдавленных людей шли как будто вместе с нею, шли тоже за кружками и подарками. Иные из нас подхвачены сегодняшнею буйною стихиею, массою, как говорят марксисты, и— трупы, трупы идут в ногу с толпою. Вот почему, когда Вы звонко и задорно воскликнули «в топоры», я злобно из моего угла позавидовал Вашему красному здоровью. А ведь сам я немножко синенький...

«Заблуждение — трусость», — говорит Ницше. А трусость — заблуждение?.. Ах, как я завидую Вашей храбрости! Но если трусость — заблуждение (а оно, несомненно, так), то стоит только подумать, только раскинуть мозгами, чтобы освободиться от нее.

В городе наши власти не мало уже начудесили, они спустили воду, и она потекла самотеком. Она потекла, куда хочет, куда должна течь по закону притяжения. И я бегу с этими вешними водами. Но не знаю, по какому закону, я хочу все-таки смеяться: мне вспоминается петух, есть такой у Гончарова — помните? — Гроза. Перед грозою курам и петуху ветер раздувает хвосты, и они бегут, бегут... Это называется — итти вперед. Впрочем, Вы не шутите: я хотя и гончаровский петух, но тоже член возневанского Совета...

Мы постановили прекратить винную продажу (т. е. просить губернатора о запрещении) — конец опьянению! А Бодлэр говорил: «Опьяняйтесь!»

Итак, как видите, крах, крах всяческому индивидуализму (и покойничкам). Словом — «в топоры»,

Если бы проникнуть на совещания наших отцов города, этих «дергулей», мы с вами, подобно митрополиту, вероятно, воскликнули бы: «И не победоносно и не благолепно, а очень даже горемычно». Пишу это затем, чтоб Вас чем-нибудь повеселить.

Да, русская история, русская жизнь, как думает и Василий Розанов (Вы знаете такого блистательного философа?) пошла каким-то электрическим двигателем, и возневанская ткачиха отныне некоторый толчок в этой механике. Боюсь, что она в своем рвении снесет все, что плохо лежит. А наше самодержавие (чур, между нами!) ведь плохо лежит... совсем завалилось.

Для чего я все это с такой неосторожностью написал Вам?.. Да просто потому, что мне хочется говорить с Вами. И как бы уютно было вместе с Вами еще раз на кладбище у собора послушать тихих покойничков... Приходите...

Гоголь».

— Господи, боже мой!.. Что за Гоголь?.. Час от часу не легче. Но у Гоголя в сочинениях этого нет... А, быть может, все это списано у Гоголя, и все это простая шутка? Ах, недаром снится все этот белый противный платок!.. Не доведет он до добра. Надо это странное письмо Митеньке показать. Гоголь... Вот от мыслей и от тревоги лопнет голова и разлетится так себе на черепки. Как о самодержавии пишет! Разве теперь уже разрешено так? Аннушка! Аннушка!

— Что, барыня?

— Там, у Мити в комнате, над диваном, голубушка, там посмотрите... Толстая такая книга — Гоголь. Вы принесите ее сюда. Потом, вот еще что... Что это я хотела сказать вам?

— Про Гоголя?

— Нет, не про то. Про Гоголя я уж сказала.

— Про обед?

— Нет, не про то... Ах, господи, что это такое!.. Вот, как заноза торчит.

— Про ваше новое платье?

— Да нет! Не про то. Дача, дача!.. Вот про что. Через два дня едем на дачу. И больше, чтоб не откладывать!

— А что Илья Петрович скажут?

Наталья Львовна стукнула по столу:

— Ехать! Ехать! И больше, чтоб со мной не разговаривать. Вы всегда, Аннушка, под меня подкопы подкапываете... Я знаю вас! Я умру. Принесите... Ну, нечего плакать — и пошутить нельзя. Ну, смотрите, какие все нервенные стали. Принесите, голубушка, мне Гоголя.

2. СУПОСТАТ

Несмотря на точные ежедневные отчеты своего управляющего, в которых тревога все росла и росла, вразумительные письма Гундобина были успокаивающего свойства. Хозяин писал Замуравкину: неделя, другая, и стачка, конечно, рассыплется; только не надо делать уступок и надо глядеть, да глядеть, чтоб все было цело, все на своем месте, чтоб не буянили и не крошили хозяйское добро.

Поэтому старый служака, исполняя беспрекословно волю матерого хозяина, каждое утро неизменно обходил владения Гундобиных, заглядывал на фабричные дворы, где стояла жуткая тишина, подолгу сидел в конторе, ко всему приглядывался и прислушивался. Сегодня вместе с Митею и двумя угодливыми служащими высшего ранга Илья Петрович медленно обошел снаружи красные корпуса, все окинул хозяйским зорким глазом и решил, наконец, заглянуть на рабочие спальни. Здесь внизу под окнами кипела жизнь, бегали и кричали как ни в чем не бывало голощтанные ребятишки, сидели на солнышке ткачихи. Завидя тощую, юркую фигуру Замуравкина, рабочие спустились с лестниц группами, и скоро около входа в спальни Илью Петровича обступила целая толпа.

— Где Николай Иваныч? Управляющий здесь! — загудели торопливые голоса. — Эй, Николай Иваныч! — перекатилось по окнам и коридорам.—Иди сюда, вот он

— Зачем мне Николай Иваныч? — сердито спросил Замуравкин, немного попятившись.—Эго кто? Кузнецов, что ли? Зачем он мне?

— Идет! Идет!—раздались голоса.

Двое рабочих, Кузнецов и Сикавин, быстро спустились с лестницы и встали перед управляющим. Обтрепанный, но вызывающий вид их мало понравился Замуравкину.

— Главари, что ли? — спросил он, оглядывая особенно внимательно пожилого Кузнецова, бывшего и раньше на плохом счету.

— Депутаты, Илья Петрович.

— Новое дело! Депутаты!.. Ну, что ж. Ткач, что ли?

— Помощник бердовщика, Илья Петрович, — затопился Кузнецов, вынимая и развертывая своими веснусчатыми желтыми руками какую-то бумагу.

— А ты? — обратился управляющий к другому.

— Ткач Сикавин, — угрюмо ответил тот, обжигая Замуравкина большими черными глазами. И прибавил: — из крестьян.

— Так. Очень распрекрасно! — Илья Петрович недовольно отвернулся.—Теперь у вас свое правление. Совет да комитет, а дела-то и нет.

Рабочие хмуро молчали.

Кузнецов, наконец, расправил бумагу и протянул ее Замуравкину.

— Это что за филькина грамота? — брезгливо спросил старик, не беря бумагу в руки.

— Требования! Требования! — закричали кругом. — Возьми!

— А вы, когда с фабрики шли, вы говорили со мной?.. Требования! Гулянка у вас на уме, гулянка.

— Гулянка? — выступил, шамкая, старый, сморщенный, как башмак, ткач.—Я старей тебя, мне годов и не счесть, и ты, ваше степенство, пешком еще под стол ходил, вот, а я, стало быть, уж ткал... Я уж ткал...

— Наши требования,— вмешался Сикавин, оттирая шамкающего ткача,—мы передали через инспектора. Это копия вам. Примите. Тут добавления специально.

— Что—специально?—вскричал Илья Петрович, теряя самообладание под напористым взглядом депутата.

— А насчет бани и насчет прачечной. Просим устроить.

— Гулянка! — опять заворчал старый ткач при общем молчании.— Едрена капалка!.. А ты, стало быть, без куражу, ты требования людей прими и уважь. Люди писали, люди... Вот, гляди, на твоей работе, а!..— И он раскрыл рот и засунул туда грязный палец.— А!.. Все зубы потерял, сносился... Гулянка!

Илья Петрович, чтобы прекратить лишний разговор, взял бумагу и надел очки.

— На чем это? Что за письмо?

— Это на гектографе,— сказал Митя, беря тонкие листочки.—Позвольте, папа, я прочту.

— Вот наверху, что это? Прочти.

Митя прочел нарочно громко и отчетливо:

— Российская социал-демократическая рабочая партия. Возневанский комитет.

— Так. Дальше.

— Дальше тут лозунг.

— Какой лозунг? — скороговоркой произнес Замуравкин, вбирая в воротничек голову и багрово краснея.

— «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» — прочел Митя тихо и опасливо, поглядывая на отца.

— Ага!.. Так.

Илья Петрович перевел дух, пошевелил беззвучно губами, смертельно оскорбленный, и вдруг, выхватив бумагу от сына, сунул ее быстро старому беззубому ткачу.

— На, возьми. Возьми это!

Круто повернулся и, семеня старческими ногами, будто выдираясь из репья, пошел в сторону от толпы.

— Илья Петрович! Илья Петрович! — бежали за ним рабочие.— Илья Петрович!

Тот остановился, обернувшись, и поднял руку:

— Не могу. Не могу-с!

— Что так, ваше степенство? — угрюмо сказал Сикавин, беря бумагу от старика-ткача и снова протягивая ее Замуравкину.

Илья Петрович замахал руками, будто отталкиваясь, и закричал визгливо:

— Незаконно! Незаконно-с! Не могу! Насмешка! Насмешка!

Рабочий Кузнецов, весь дрожа от волнения, стал тыкать в воздух пальцем и, запинаясь, об'яснять:

— Дозвольте, Илья Петрович. Куды пойдем? Куды пойдем? Народ нас поставил. Должон я говорить или нет? Как же так?..

И он обвел глазами толпу.

Толпа рабочих загудела:

— Кака така насмешка! К чему зря бельтешить? Возьми нашу бумагу. Хозяину пошли. К чему произвол? Правов не имеешь! Возьми, коли дают.

— Не возьму-с! Неофициальных бумаг не беру. За эти бумажки в тюрьму сажают. Их не то что читать— их жечь!.. жечь!..

— Ать, говоришь! — выскочил из толпы беззубый ткач.—Едрена капалка! Супротивник народу ты, супостат. Вам таким скоро — крышка!.. крышка!

Во двор, желтея кантами, тихо в'ехали три казака, из расквартированных при фабрике. Медленно, надменно покачиваясь в седлах, двигались они вокруг толпы, молча прислушиваясь к беспорядочному говору рабочих. Толпа угрюмо отошла к спальням, а Замуравкин со своей свитой повернул к конторе.

— Напрасно волнуетесь, папаша,— говорил Митя, кусая от смеха губы и еле поспевая за отцом, который почти бежал вприпрыжку.— Народ, как народ. Они, как дети: они в бумажки играют.

— Будь они про... про... прокляты, иродово семя!— вскричал Илья Петрович.—Я с мальчишек, с мальчишек, с малых лет, трудом, лямку тянул, а не супостат! Супостат! Им дурь в башку, дурь!.. Фабрики остановили — это что? — Илья Петрович обвел глазами корпуса.— Они жизнь, они жизнь в молчанку, в яму, трахтарары, а сами без штанов, дурье!.. Супостат! Я им по-покажу — супостат!

И не в силах более остановиться, отстраняя руку сына и все время на ходу бормоча и брызгая слюною, Илья Петрович побежал к коляске.

3. ЦЕНЫ НЕТ

Когда тундобинские лихачи подкатили к Елисею Ивановичу, Замуравкин успел обмякнуть и отойти и даже шутил, здороваясь с женою Жохова:

— Ехали в ворота, а скамеечка пустая, и Елеси нет. Где же, говорю, Елеся? Почему не сидит, ноги свеся?..

Был у Жохова обычай: целое утро сидит на солнышке, у ворот своего завода. Если тепло, сидит в одних подштанниках с красными полосками, коленки гладит. Идут мимо в ворота жоховские рабочие и отвешивают хозяину степенные поклоны.

Каждому от Елисея Иваныча ответ по рангу: одному кивок, другому скажет: «Здравствуй», третьему скажет: «Почет...» А есть и такие, что подзовет и по-

даст один палец, в крайнем случае—два. И то хорошо. Всю кисть руки Елисей Иваныч подавал только городским тузам. И всем говорил «ты», всем читал нотации, а встречного мальчишку любил и за ухо ухватить.

— Избранные...— наклонился Елисей Иваныч к уху Замуравкина, шекоча ему нос бородою и волосами, но шептал так громко, что все слышали: — Я шантрапу не зову. У меня трепла нет...

Илья Петрович, не дослушав, боком проскользнул в маленький зал, заставленный громоздкими цветами. Там, под портретом Жохова с медалью, сидел Левенец и сзади его какой-то тонкий с хитрым лицом; отдельно за столиком сидели, будто ворожили, Безруков и Сережа Куражев; Сережа румяный, как маков цвет, пышущий силой и здоровьем, похожий на Санчо-Панчо. Неизвестно, откуда повелось, но в городе его звали — Санчо-Панчо. В дальнем углу стояли племянник фабриканта Зубкова, молодой щеголеватый человек, военной складки, куривший сигару, и с ним рыхлый, будто кривобокий, мясник Можжевелов.

Замуравкин с места зорко огляделся всех и подумал: «Товарец второй сорт». Потом вместе с Митей внимательно обошел зал и всем пожал руки.

— Ну, сколече нас? — спросил Елисей Иваныч, поддергивая широкие брюки, и стал считать, тыча в каждого пальцем.— Со мной — девять, а с моей бабой — десяток. Священная дружина. Ну, больше некого ждать. Жена, веди к чаю.

Гостиная собрала всех в круг, стало теснее, и сразу открылся общий разговор.

— Велели мне вас, радетелей, собрать, я и собрал,— сказал Елисей Иваныч, — а кто велел — молчок. Одно слово скажу: дошли до-ручки. С народом сладу нет. Был я пророк, да не хотели слушать. Еще когда-когда я говорил: и придут гоги и магоги, железные носы, они и пришли... Говори, Федор Кузьмич.

Печник встал, молча повел козлиною бородою, и перекрестился.

— С начатием, благослови, Христос, чтобы дело, а не одни слова. Страна в погибели, нет отпора, нет. Ну, дай бог! Мы тут с Митей Замуравкиным думали-передумали. Пущай Митя доложит.

Илья Петрович остановил сына и встал:

— Прежде я два словечка, уважаемые. Что видим? Сказать вообще, видим — власть спит. Власть не хочет понять, что народ — море. Трудно его всколыхнуть, ну, а если всколыхнулось — сметет все. Душу народную так развратили, так избаловали, что нам будто только того и осталось, что кричать «караул!» До чего дошли: стали даже умалять священное значение царей — помазанников божьих, выставляя их тиранами. Возбуждают зависть к высшим сословиям. Злобу сеют. Раззор жнут. И вот в сей дикой пляске пора нам подать свой голос. Пусть про то Митя говорит.

Митя, сидя и ни на кого не глядя, начал тихо и вкрадчиво. Но при первых его словах, Елисей Иваныч хлопнул себе по коленке и прохрипел:

— Дело говорит! Дело! Дал бог Илье сына. Поди ж ты!

— Папаша мой, да и вы, извините, Федор Кузьмич, и вы, Елисей Иваныч, прошу прощения, говорили так себе, вообще... Конечно, спать ни к чему, и ма-

гоги какие-то там на пороге, конечно; и погибель, и отпору нет, и море... И насчет души... Конечно. Да что из того? Москва со свечки сгорела. А нам как? Наше дело тоже с маленького начнем, оно и выгорит. Не страна там и море широкое, а вот тут, тут, Возневанье, у нас под носом, так сказать... Наши ткачи-рогали, вот они!..

Тут Митя неуклюже встал, расправил свои широкие плечи и прислонился к стене. И вдруг стал говорить быстро, точно сердился:

— Стачку надо подорвать. Мы тут с Федором Кузьмичом тишком на каждой фабрике залучили своих: где пяток, а где и десятки. На это дело пожалуйте ассигновку. Мы своих людей собираем, и у меня вот инструкция есть...

Митя вынул бумагу и положил на стол.

— Здесь. Точно. Здесь все указано. Что и как им делать. Но это большой секрет. Как начнет буря спадать, тут работа своим будет большая. Да и сейчас — работа тонкая. Как у них, так и у нас. Но за нами — престол и сила капитала. Наша перетянет. У них тех, кто из подполья руку к пирогу тянет, у них нам не вред малость и подучиться. Говорю, словом: как они, так и мы. Понятно? И вам по торговой части, а также и в мелком ремесле, людей надо вылавливать и в кружки тащить: огородники, мясники, мучники, возчики...

— Ай, Златоуст! — воскликнул Жохов; — всех в дело пустил, вот это так. Держите меня: а то целовать буду!

— Нет, целовать еще рано, — сказал Митя и стыдливо улыбнулся. — Вашу работу, Арнольд Федорович,

мы поможем развернуть. Тут нажим надо первой пробы. Мы через наших нащупаем вам нити и дорожки, и те пришлые чужеядные элементы, которые надо поспешно, ни мало не медля, выловить, выловить! На его превосходительство тоже надо влиять, да-с... тут надо глаз, мы должны быть влиятельны...

— Имею сказать, — завозился Левенец. — Потом я буду сказать... Очень прошу... Дальше...

— В первую голову стачку надо дискредитировать. Стереть ее в пыль, в грязь! Это на очереди. Надо отшатнуть, с одной стороны, высшие кадры, умеренных, в манжетках, с другой—напугать темных, отсталых.

Илья Петрович посмотрел на сына боком, кашлянул и горделиво прошептал:

— Ах, мошенник! У меня перехватил... Да как кстати!..

Митя положил руки в карманы и в увлечении, будто говоря сам с собою, заходил по комнате, бросая слова:

— Итак. Я требую финансов. Я требую поддержки. Я требую энергии. Спать некогда!

Левенец обернулся к тонкому и толкнул его:

— Слышали?

— Новая звезда, новая, господин ротмистр. Любодорого слушать!

— О! Я вам и не то говорил.

Митя подождал, когда их громкий шопот кончится, подошел к столу и, время от времени ударяя костяшкой руки о стол, продолжал:

— Я пущу по городу нищих. Я вытащу их целые толпы. Сбор в пользу забастовки. Мы наводним город. Скандал! Позор!

— Ловко! — воскликнул Куражев. — Валяй, Митя! Эх, валяй!

— Я напущу рабочих на священные кружки, те кружки, которые около икон на каждой фабрике. Мы спустим с цепи кощунство, мы вытащим гроши жертвований из этих кружек — и посмотрите! — как завизжат возневанские богомольные женки.

— Батюшки! — сказала жена Жохова и остолбенела под горячим взглядом Мити.

— Далее! Мы должны проникнуть в Совет депутатов...

— Гм!.. — громко заявил о себе Левенец и перемигнулся со своим хитрым соседом.

— Да, мы из Совета должны сделать болтологию и все время там пускать — пшик!.. пшик!..

При этих словах, шипя злорадно, Митя выносил вперед свой увесистый кулак и потом, сразу разжав его, показывал будто некое извержение, или фонтан. Должно быть, то был фонтан красноречия.

— Я поставлю, смею вас уверить, рискованные операции — головокружительно! — захват типографии, экспроприации...

Илья Петрович крякнул и, побледнев, повернулся на стуле: «Переборщил».

— Не бойтесь! Мы ни одно дело не доведем до конца. Мы лишь, как они. Мы лишь пустим скандал за скандалом, чтобы отшибить охоту, мы на-смерть испугаем этих дураков... Я не о вас, господа, я говорю об остальных, о рабочих, — и вот тут... — Митя передохнул и, торжественно подняв руку, вдруг стал ею неистово махать, с остервенением, со злостью: — ... вот тут казаки — и пороть, пороть, пороть!..

Ему не дали кончить, яростно захлопали и закричали, а Сережа Куражев ураганом сорвался с места и, уронив стул, заключил оратора в свои крепкие об'ятия.

— Ну, Илья! — кричал Куражев. — Сын у тебя — цены нет! Золото сын. Веди нас, веди, веди, Митрий Ильич, бери мою казну... Вот! Вот!.. Сколько тут?..

Куражев стал рыться по карманам и швырять на стол измятые бумажки.

— На, бери, куда куражевское не пропадало! Жертвую на общее дело. Валяй! С начатием! Ежели шлея под хвост, то тут... На, бери! Да мы, братцы, горы, горы сдвинем, реки выпьем!.. А что, Елисей, будет водка у тебя, старый сыч, али нет? — неожиданно изменил он голос и круто обернулся к хозяину.

Смех и крик заглушили его слова:

— Ура, Санчо-Панчо, ур-ра!..

Сережа махнул рукою и в изнеможении сел. Взлохматив свои льняные кудри, он принялся бережно расправлять и подсчитывать набросанные на стол им и другими кредитки.

— К следующему заседанию Бюро, — поднялся Левенец и заговорил жестко и отчетливо, делая остановки там, где не следует, и нажимая в выражении на союзах и предлогах. — Я буду мой просить заслушать... обширный доклад. А пока... на первый раз... я скажу... Связь с делегатами — карашо. Мы шире разовьем сеть... Мы и я... Дмитр Ильич... Очень-то было карашо, что...

Пока он строил свою речь из хрупких разваливавшихся черепков, Митя около стола, утупив глаза в куражевские бумажки и не слушая, еще смаковал

внутри свой красочный план и гордые слова. Новое увлечение захватило его. Что было раньше? Вздор! Вот он, Митя, выступает на широкую арену... Пришел час и для Митеньки... Хотелось набрать кучи, толпы людей и вот так их смять, смять в кулаке, как эти жалкие кредитные бумажки. Ага!.. Прекрасная Марья Ниловна! Вам придется теперь говорить, как с равным, как с защитником... И вся эта мелочь — тупая деревяшка Левенец, который долбит, как из водостока капли, и земляной дед Жохов, выкорчеванный, как корень дерева из земли, со своими щупальцами, и козел Безруков, у которого мысль — коротыш, и Санчо-Панчо, и этот щеголь с сигарой, — все они... Вот что называется — много ли вас на фунт идет? Их скрутить да сунуть им в руки бечевку, бурлаки-дураки пусть тянут, пусть вытаскивают Митю на зеленый бережок. Эх, Русь, рабья страна! Если да нажать, да чуточку напору, ну и нахальства, то из тебя, моя дорогая, можно веревки, веревки вить!..

И вдруг Митя вздрогнул.

Глаза!.. Что за пронзительное жало и пошлые кривые губы? Почему искривилась такая злая усмешка? Это к кому? Из-за спины Левенца, что он — давится или смеется? Положительно мерзкий тип. И знакомое старомодное лицо. Кто это?

Митя стал с трудом вспоминать, и на широком женственном лице его, вдруг ставшем похожим на лицо Натальи Львовны, прошла мягкая волна или какая-то жалкая судорога.

Нет, надо спросить.

Тихо, обойдя Левенца, все еще сыпавшего стеклянным горохом, Митя подошел к этому тонкому гри-

маснику... «Да это не человек, это сплошной какой-то гоголевский нос!»,— подумал он, наклоняясь к незнакомцу.

— Вы что? — прошептал Митя.— Кажется, вы хотите сказать?

— О, я ничего! — вскинул тот нервно одним плечом и добавил ехидным шопотом: — Вам, Митенька, цены нет. Цены нет!

4. «ПЕРЕПИСКА С ДРУЗЬЯМИ»

— Барыня, к вам можно?

— Войдите, Аннушка. Ну, что у вас за такой секретный вид?

Наталья Львовна сидела уютно за своим столиком и читала «Выбранные места из переписки с друзьями». В книге было заложено и письмо другого, неизвестного Гоголя, с которым она время от времени справлялась. В руках Натальи Львовны карандаш, и она была горда тем, что вот опять сидит, как бывало, когда покойная мама подходила тихо к двери, говоря: «Тише, дети; Наташа занимается». Она увлеклась некоторыми местами, туманными, но вдохновенными, и легкая слеза не раз набегала на глаза Натальи Львовны.

«Вы должны ради меня начать вновь рассмотрение вашего губернского города...»

«Сверх характеров и лиц обоего пола, запишите всякое случившееся происшествие, сколько-нибудь характеризующее людей, или вообще дух губернии, запишите бесхитростно, в таком виде, как было, или как, в каком его передали вам верные люди. Запишите также две, три сплетни на выдержку, какие первые вам попадутся, чтобы я знал, какого

рода сплетни у вас плетутся. Сделайте, чтобы это записывание сделалось постоянным вашим занятием, чтобы на это был определен положенный час в день».

«Как хорошо, — задумалась Наталья Львовна, отчеркивая карандашиком: — Если бы иметь благородного друга, которому и писать изо дня в день, изо дня в день... Собирать сплетни!.. Да здесь их полный короб каждую неделю, и видно все насквозь, как в стекло, кто как живет и как чудачит, какими способами наколачивает деньгу и каким спускает... Какое было бы интересное занятие, и у нее, у Натальи Львовны, наконец, открылся бы свой особенный смысл жизни!.. Вот в городе ходили по рукам стихи N—ского будто бы прокурора. Но какая это пустышка! Прозой — и в письмах, в записках, в самом деле, отмечая все сплетни, можно вышить восхитительные узоры нашей жизни. Как бы это было занимательно и поучительно! Но позвольте, как это у N—ского прокурора:

...Любимов, франт, небес коптитель,
Стопы направил в ресторан;
Вот Полюров, зубов целитель,
На время руки скрыл в карман.
Потупив скромно в землю глазки,
Плетнева с Ямкиной сидят.
Ох, знаю я, под этой маской
Иного свойства мыслей ряд!
Порой до глупости спесивый,
Андронников самолюбивый,
На всех взирая свысока,
Прошел походкой индюка
За ним и Осполов...

Но тут вошла Аннушка.

— К Лизочке прошли какой-то беленький студент, молоденький, молоденький... А сами из себя крупный.

— Может быть, к Мите?

— Нет, к барышне.

— Какая вы сплетница, Аннушка!

— Да вы же сами велели, барыня.

— Ну, ступайте. Лиза уже не маленькая, она вольна видеться с кем хочет. Неправда ли?

— Ох, барыня... Что хочу вам сказать!..

— Ну, что?.. Вы всегда меня мучительно волнуете!.. Что?.. Нет, не надо, Аннушка, не надо! Ступайте.

Оставшись одна, Наталья Львовна вся отдалась сладкой тревоге и предчувствиям. Гоголь!.. Она шевельнула листы и опять прочла: «Крепитесь, молитесь и просите бога беспрерывно да поможет вам собрать всю себя в себе и держать себя...»

Умиление накатило на нее, и в слезах она поцеловала эти строки так, как священник целует строки евангелия за обедней. Но в этот миг, без предупреждения, дверь сразмаху отворилась, и влетела возбужденная Лиза.

— Ма...— Лиза запнулась.— Что это? Вы что? Гоголя целуете?

Наталья Львовна, чтобы скрыть смущение, приложила платок к глазам, но не выдержала и по-настоящему всхлипнула.

— Я могу Гоголя целовать. Я мать. А вот ты...

— Что я?.. Ничего, мама, не понимаю.

— Вот на, читай. Вот: «Все у нас теперь расплылось и расшнуровалось...»

— Это еще что? Что вам Гоголь — писание?

Но Наталья Львовна, водя дрожащим пальцем в золотом кольце по бумаге, опять прочла сквозь слезы:

«Дрянь и тряпка стал всяк человек...»

— Будет, мама! — топнула Лиза. — Что это такое? Тряпка-то кто?

— Да, девочка, ты вот волнуешься, что я целую того Гоголя. Смотри, смотри, милая...

— Что — смотри?..

Наталья Львовна с трудом встала и подняла торжественно палец, откинув рукав капота и блеснув браслетом:

— Знай, Лизавета, знай! Настоящий Гоголь никогда не мог бы сказать, что самодержавие на боку, что оно завалилось, что оно гниет, что оно...

— Фи, мама!.. — сделала Лиза гримасу и нимало не смущаясь: — Уже успели!.. И очень глупо.

И сразу повернулась на одном каблуке и бросилась к двери. Но, вспомнив, обернулась опять:

— Фи, мама, вы совсем меня завертели с вашим Гоголем. Но я к вам за делом шла. Сядьте, мама.

— Ну. Села. Что еще такое?

— Ко мне студент пришел.

— Знаю. Беленький и молодой...

— Фи, как глупо! Мама, я за это Аннушке такую бучу сделаю, вот увидите!.. Но вы слушайте. Собираются деньги в пользу рабочих, нужда там, — страсть! Мама, невозможно. Немыслимо. Слышите, мамочка...

Наталья Львовна покорно протянула руку к ридикюлю и сказала:

— А разве я что говорю? Ну, на... На три рубля.

— Мама! Мамочка! Вы с ума сошли!

— А что?..

— Но это же грош, грош, грош!.. — и Лиза затопала и, закрыв лицо руками, уже начинала всхлипывать.

— Ну, на, на!.. Постой, не кричи, пожалуйста. Ты бы так и сказала.

И Наталья Львовна стала торопливо искать ключ, прыгая не туда пальцами, потом другой, рылась в шкатулке, отпирала маленький ящик и, тяжело дыша, сунула, наконец, виновато Лизе в руку несколько бумажек.

— Сколько тут? — сердито сказала Лиза, насупив брови, и стала считать:—Тридцать. Я сейчас вам квитанцию принесу. А про Гоголя, мамочка, я вам не забуду.

И она выбежала стремительно от матери, хлопая на весь дом дверями.

Наталья Львовна, потрясенная сценою, хотела ей крикнуть вслед, но уже было поздно. Она только раскрыла рот и ничего не сказала. Три рубля, покоробившись, лежали сиротливо, отверженные, на книге; Наталья Львовна сошвырнула их с досадой в сторону, перевернула листок и прочла: «И плохо будет тому, кто об этом не помыслит теперь же».

Жуткая тревога охватила все ее хрупкое существо, и, встав с кресла, цепляясь пугливо за стены и мебель, она побрела из своей комнаты.

5. ИЗ МОЛОДЫХ, ДА РАННИЙ

Забастовка возневанских рабочих и, связанная с нею «государственная политика» так закрутили слабого телесно Илью Петровича, что только этим можно было

об'яснить, как это он так, сквозь пальцы, смотрел на революцию в своем доме.

Вот вчера Лиза за общим столом вдруг неожиданно ухмыльнулась своим мыслям и сказала вслух:

— Митенька, а какой же блаженненький этот губернатор!

— Почему это? — насторожился Митя.

А папа насупился и застыл вопросительно, держа ножик и вилку.

— Да где ты его видела, егоза? — вздохнула Наталья Львовна.

— Я слышала его знаменитую речь...

— Где? — спросили все трое.

— Около управы, с бочки. Я стояла почти рядом.

— Ты... сто-я-ла?.. — побледнев и раздельно пролепетал Илья Петрович.

А Митя вспыхнул и уронил вилку.

Но Лиза, загоревшись, продолжала, поглядывая на всех вызывающе:

— Ну, да, стояла. Ведь там не на что было сесть. Стулья употребляются только в управе для безгласных гласных, а здесь были одни голыши. Голыши и на голышах стояли.

— Лиза, перестань,—сказала мать.—Ты забываешься. Что ты болтаешь?

— Но это ужасно, как ты научилась сочинять,— затрясся Илья Петрович. — Как ты научилась врунистике!

Он не хотел верить.

— Ты подвергала себя опасности, — увесисто сказал Митя. — Площадь все время оцепляется. Один сигнал — и чорт знает что!

— Я была в платочке. Я шла с ними от самых Ям. Мама, это было упоительно. Я плакала, что я не ткачиха...

— Ты плакала! — завизжал Илья Петрович. — Ты пла... пла...

И, швырнув на стол салфетку, убежал в свой кабинетик.

— Это подло, — сказал Митя, — так издеваться над старшими — это... — И вдруг фыркнул и виновато поморгал своими прекрасными глазами на маму.

Наталья Львовна поцеловала в голову дочь:

— У тебя доброе сердце, но необузданный нрав. Вы с отцом кавказские человеки. Я тебя прощаю, Лизавета. Но ты не подстраивай больше таких спектаклей. Стыдно! Стыдно! Стыдно!.. — И неожиданно для себя от благодушия и доброты она перешла к выкрикам и слезам, топанью ног и прошаркала к себе в комнату.

— Так кончился пир их бедою, — ухмыльнулся Митя, потом встал, посмотрел сверху вниз на хрупкую и ясную Лизу и прибавил: — И чего мудришь?

— Молчи ты... марксист!.. — холодно ответила Лиза.

Когда же Митя, краснея и постепенно входя в азарт, начал читать ей проповедь, она вдруг дерзко перебила его:

— А как, дон-Жуан, поживает ваша Таня?.. И ваша Маня?..

И убежала к себе.

«По всей линии — бой. Все враги, все враги, — думала Лиза. — И даже мама: она самый опасный враг. Добрые враги хуже злых, с ними нельзя бороться...»

Сегодня, выскочив от мамы с тридцатью рублями, за тот коротенький путь — от комнаты Натальи Львовны

до своей, несмотря на свой быстрый полет, Лиза успела ощутить какое-то большое несчастье: ловушку, в которую она попала. «Противная мамка, она разбередила... Это письмо как раз для таких туманных, как она... «Дрянь и тряпка всяк человек...» Что это такое?.. А это было острое, как иголка, которая входила медленно, медленно... «Дрянь и тряпка»... Даже на момент, остановившись перед своей дверью, за которой ожидал ее студент с запискою Лакина, Лиза прижала руки к груди, будто испытывала. — «Да, боль ясна...»

Но некогда было думать.

— Вот видите, что я вам принесла,—внешне весело вбежала Лиза к этому ясному, внушительному студенту с серыми глазами.

Тот участливо и внимательно посмотрел на ее нервное лицо.

— А с вами там что-нибудь произошло?

— Нет, ничего. Вот — какие деньги!

— Красненькие и синенькие, — сказал Трифоныч, загребая их крепкой ладонью: — Вот еще синенькая... — добавил он.

Лиза вздрогнула, будто хлыст ударил ее по спине. Она быстро отошла к окну.

— Синенький... — сказала она сама с собою.

— Вы что?

— Бр!.. Гоголь!

— Что — Гоголь?

— Вы знаете, у Гоголя сказано, что мы расшнуровались?

— Где это у него сказано?

— Не знаю. Но сказано. Вы извините, что я на Гоголя соскочила. Я всегда прыгаю. Вот вам мои золотые часы, вы сами продайте их, и вот эта штучка: говорят, она очень дорогая. Я начну сбор, я буду их, этих, трясти... Вот Мефодка... Как рада, как рада, товарищ Арсений, что вы пришли: вы луч света в темном царстве!..

И она засмеялась.

— Это наша мама научила меня торжественности. Я сейчас к ней вхожу, а она говорит: «Дрянь и тряпка стал всяк человек...» Я тогда с нее за это — тридцать рублей.

Оба рассмеялись.

— Но вы очень хитрый, товарищ Арсений. Вы из молодых, да ранний!

— Как так?—изумился Трифоныч, и у него на лбу вскочила поперечная строгая морщинка.

— Вы все же ни звука о Лакине. Где он? Что делает?

— Бастует, как и все... — И добавил: — У парадного под'езда.

— Ну, да, конечно, хитрый! Вы думаете, я не понимаю: записка его простая, а трагическая. Но хорошо, что вы пришли... — И глаза ее стали вдруг влажны. Она сжала руки. — Эти дни в толпе и дома я так одинока. Не знаю, поймете ли вы... Я сейчас похожа на маленькую горошинку перца, которая утонула во щах. А кто раскусит: «Фи, — скажет: — какая горькая гадость!..» Нет. Право. Ходишь по земле, да все не так, все сбоку, даже зло берет. Нет, право. Я бы работу какую... Но с какого конца?..

Дверь отворилась, и, виновато цепляясь за предметы, вошла Наталья Львовна, церемонно поздоровалась и, смущенная, села.

— Вот наша мама! — воскликнула задорно Лиза, чувствуя прилив необыкновенной злости. — Она очень любит студентов.

— Пожалуйста, не трещи, — сморщилась Наталья Львовна и стала внимательно разглядывать Трифоныча.

На минутку воцарилось неловкое молчание, лишь было заметно, как бесится Лиза.

— По-моему, молодой человек, гоголевского в вас ничуть, ну, прямо никакой черты,—медленно проговорила, наконец, Наталья Львовна. — Лиза, пожалуйста, не дависъ, тут ничего смешного. Об'ясните мне, пожалуйста, молодой человек, вот вы ученый, что это значит:

«В стране, где все необычайно,
Мы сплетены победной тайной»?..

Она ждала замешательства от этого человека с ясными глазами, человека, такого же юного и крепкого, как и ее сын, только чуть, пожалуй, повыше его ростом. Но студент не смутился, он только поглядел с удивлением, взял фуражку, повертел ее, встал и заговорил спокойно:

— «... Сплетены победной тайной», — это я не знаю. Но в этом отрывке есть одна, хоть и старая, но не плохая мысль. Это то, что страна наша необычайна.

— Как так? Об'ясните, пожалуйста, — придвинулась Наталья Львовна.

— Ну да, здесь, конечно, поэтическая ошибка... То-есть, вернее, то, что называется — художественный

образ... Но пробуждение народа от векового сна— зрелище необычайное...

— Ах, вот вы как! — протянула Наталья Львовна. — Вы это так повернули? Скажите, вы читаете «Новый путь?»

— Нет, простите. Пока ни одной книжки. Кажется, если не ошибаюсь, это мистическо-декадентская окрошка... Впрочем, мне пора.

— Минуточку. Простите меня старую, что задержу вас... А вот...

«Похоже на экзамен, — улыбнулся Трифоныч: авось, не провалюсь. Впрочем, сырая, но добрая баба... Взялся за гуж...»

— Я слушаю, слушаю...

Наталья Львовна готовила решительный удар, в то время, как Лиза кусала губы.

— Как вы отнесетесь к тому, с кем вы претендуете иметь общее, — к Гоголю?

Трифоныч развел руками.

— С ним у меня только общий последний слог: голь... Но вы шутите? Вы принимаете меня за словесника, а я техник. Что ж я вам скажу? Гоголь, как Гоголь, ему в Москве собираются памятник ставить. «Мертвые души»...

— Что — мертвые души?..

— «Мертвые»...

— Синенький! — вдруг воскликнула надрывно Лиза и так, что оба—и мать и Трифоныч—вздрогнули от неожиданности и обернулись.

— Мама! Это, наконец... наконец... Мама!.. Вы отнимаете время. Вы отложите ваш допрос, мама. До свиданья, това... До свиданья, Арсений Иваныч!..

«Иваныч» — это счастливо и по вдохновению присоединила она сама. И быстро, точно танцуя, пошла из комнаты, махнув рукою в сторону мамы. Трифоныч поклонился и, радуясь концу визита и концу экзамена, пошел за нею.

«Кажется, не провалился...» — улыбнулся он, поспешая за Лизой, которая вдруг обернулась, пропустила его вперед и сказала:

— Вот я вывела вас из страны фараонской, теперь вам только есть манную кашу... Но вы... Нет, вы из молодых, да ранний!

6. ПОКИНЬ, КУПИДО, СТРЕЛЫ!

Майские пряные сумерки были хороши, если бы не этот едкий фабричный запах, который, кажется, пропитал своим настоем даже клейкие листы молодых берез. Майский жук тупо ударился о фуражку Мити, будто хотел его отметить: глядите, идет победивший с поля сражения! Сраженные и косноязычные остались там, у Елисея Ивановича, и победой было даже и то, что выбрался на простор улиц от них, пьяных. Умны были трезвенники — папа и Левенец: они уехали раньше...

Митя искривился и захохотал. Он вспомнил, как чуть не подрались кудрявый Сережа, ухарь-купец, и этот подозрительно-насмешливый человек, этот назойливый гоголевский нос.

Сережа Куражев повалился на колени перед картиною — поле какое-то, рожь, сосны, чорт ее знает, Шишкин, что ли, — и бил нещадно в свою молодецкую грудь, встряхивая льняными кудрями.

— О, Русь... — рычал он в экстазе. — О, Русь!..

— Орешься?.. — ехидно заметил нос. — Вставай, купец. Сейчас я спич скажу. И в твою честь.

И он поднял высоко, над головами всех, худою тонкою рукою рюмку, и одухотворенные пальцы его были, как проволока; впиваясь запавшими глазами в Куражева, в его широкое пьяное и рябое лицо и, противно двигая губами, смакуя свои слова, он продекламировал:

От начала и доныне
Замечал недаром свет
В каждом русском властелине
Лошадиной крови след.
Грубость речи и обжорство,
Засмеется — словно ржет.
Прямо конское упорство:
В каждом дюйме виден... скот.

— А-а, скот, скот! — взвизгнул, как ужаленный, Куражев и схватил за горлышко пустую бутылку.

Но руки его зажали в крепкие тиски угрюмый мясник Можжевелов и ловкий племянник фабриканта.

— Га-а-спа-а-да-а, — забормотал племянник, кашляя и перхая. — Га-а-а-спа... Бюро! Бюро негласного содействия. Пра-а-шу!..

— Не в бюро дело. Пусти! Вы слышите, что он сказал? О ком он сказал? О ком речь? Пусти! О русском властелине он сказал.

— Ошибка! — воскликнул, танцуя и подпрыгивая на одном месте, нос. — Передержка! Я сказал: «В каждом прусском властелине...»

— Про немца, слышишь, — урезонивал угрюмый мясник. — Садись, Санчо, про немца можно. Левенца здесь

нет... Граждане и отцы!.. За здоровье немца — Бюрнегсод!..

«Бюро негласного содействия» — выдумал Левенец. И эту вывеску приняли. Он же придумал адрес «для телеграмм»: Бюрнегсод...

Пока пили за Бюрнегсода, истинно-русского немца, Митя ловко улизнул, ощупывая в боковом кармане солидную сумму, основу фирмы — Бюрнегсод.

Если он был пьян, то чуть-чуть, не пьянее этого майского жука, который сам, глупец, просится в руки: он опьянел вешней силой, вешними соками земли.

Стоило бы махнуть, — взять извозчика и лихо гнать за десяток верст к Марье Ниловне; уподобиться буйному Мефодке, гакать, разбудить ее, ясновельможную красавицу, и дерзко, как равный с равным, вступить в единоборство с ее упругими бедрами... Но благоразумие и выдержка прежде всего. Вот «наш девиз боевой». Кто ступил на канат борьбы, тому пахнул в лицо роковой ветер, и тот не должен качаться: крепко, крепко держи баланс!.. Митя вспомнил улыбчиво свое детское увлечение бухгалтерией — там тоже баланс, но тот баланс — пустяковый; вспомнил увлечение мирными и просторными, как майский вечерний купол, русскими песнями, их пела Таня...

И подходя к изученному до тла дому Замуравкина, где длинный, длинный знакомый забор и вот — настоящий пышный сад и майский запах сирени, около фонаря Митя по-новому раздул ноздри и жадным нутром ощутил свою неизрасходованную еще молодость и силу... Свет фонаря упал на его голову, так же тупо и тихо, как и тот майский жук, и тень от его ног качнулась и с'ежилась зловещим живым пятном...

С этим маем и с этими вешними запахами пусть придет то новое, чего раньше не было у Мити — дерзание!.. Молодой председатель Бюро, браво, браво, Митя! Однако все захотели спрятаться за его широкую спину!..

И вдруг на Митю набежало что-то знакомое, волна страсти. И как захотелось, так и вышло: услышал с переливами, но приглушенный голос: «Митя!» Да, это знакомый голос. Обернулся.

Таня выскочила откуда-то, из притолок, и теплой дрожащей волной припала к нему:

— Митя! Митя! Митенька! Радость моя!..

— Приехала? — изумился Митя. — Вот, шалая, подстерегла! Ах, шалая!..

И он сжал ее, будто нашел в первый раз и не хотел выпустить.

— На ловца и зверь, — нагло посмотрел он в ее глаза и обдал легким винным угаром. — Как же ты прискакала?

Стояли у калитки.

— Так и прискакала. К тебе прискакала. Соскучила по глазам с поволокой.

— С поволокой-то оно с поволокой... — протянул Митя, подымая глаза к дому: вверху свет, и у мамы, и у сестры, и эта Аннушка — ей до всего дело.

Он опустил руку в карман, другой прижимая Таню.

— У, мягкая!.. А ухватки кошачьи.

В кармане нащупал ключ от садовой калитки, — идея! Вдруг послышались голоса.

— Постой.

И Митя подошел к самой калитке. Звонкий голос сестры: альт. Еще чей-то голос, как будто неохотный. Хриплый голос дворника Харлампия.

— Сюда идут,— шепнул он Тане.— На, ключ. Держи ключ. Обойдешь забор, за угол, поняла? Там через канаву мостик, калитка в сад. На, отопри и там жди у прудика. Скамейка есть. Там купидон, купидон — понимаешь? Клумба и купидон. На скамейке жди.

— Митенька, страшно... — зашептала она. — Ой, страх!.. А ну — собаки.

— Собак нет, — сердито сказал он и с сожалением оттолкнул мягкую Таню. — Иди. Не пугайся...

— Митя!..

— Иди, тебе говорят! Фу, растяпа! Слышишь, сюда идут...

Таня изогнулась, точно кошка, которая хочет прыгнуть, крепко сжала ключ в руке и почти побежала мимо фонаря, по забору. Башмаки ее вонзались в песок тротуара, и этот быстро удаляющийся скрип и шорох юбки взманили Митю.

Но в тот же миг приблизился голос Харлампия, щелкнула щеколда, и в Митю почти уперся, выскочив из калитки, рослый молодой студент.

— Вы ко мне? — спросил Митя, отступив от калитки. — Вы были у меня?

— Нет, не у вас, — спокойно ответил тот. — К сожалению, не знаю, кто вы.

— Дмитрий Замуравкин, — гордо и покровительственно ответил Митя и протянул руку.

— Очень рад. Фремде.

— Фремде! — воскликнул Митя. — Да неужели вы тот Фремде, старшего грязновского механика сын?

— О, нет. Простите. Я совсем другой Фремде. Это мой однофамилец.

Фремде постоял молча одну секунду и прибавил:

— Май. Хороший вечер. До свидания!

Он независимо протянул руку, перешел улицу и быстро пошел по той стороне.

«Однако, — подумал Митя: — Ко мне никакого внимания. Нахальный юнец. Если не ко мне, то значит был у сестры. Ясно: сих дел мастер».

Думать было некогда.

Митя тоже перешел улицу и, прячась в тень, пошел за студентом. Сначала, в порыве, он не успел как следует и сообразить, зачем это нужно. Но — Бюрнегсод!.. Бюрнегсод!.. Вы узнаете о нем, господин Фремде!

«Не следует упускать никакого случая, чтобы расширить наши сведения о том угрожающем клоповнике, который таится в щелях, рядом с нами, и которому предстоит основательная чистка. Мы нащупаем вам нити и дорожки и те пришлые чужеядные элементы... — вспомнил он свою речь на сегодняшнем историческом собрании: — да, мы нащупаем вас, господин Фремде!»

Студент сначала шел вразвалку, не слишком быстро, будто раздумывая — куда свернуть... Повернув в переулки, он вдруг ретиво зашагал, точно спасался от Мити. «Не видит, простота, — подумал Митя: — Желторотый!..»

«Интересно узнать бы, много ли у тебя однофамильцев... И зачем такая шушера таскается к сестре? Лизавета — это булавка... Дура будет, если упустит Мефодку. А папаша — толченый сухарь...»

Фремде странной дорогой шел впереди: он колесил по переулкам. Насмешка? А еще фуражка политехнического института (заметили, молодой человек, за-

метили!): простой истины о преимуществах прямой линии не знает... Опять свернул.

Не упустить бы борзого юнца.

Митя прибавил ходу и, повернув за угол, вдруг наскочил на стоявшего Фремде.

— Пардон!.. Ах, это вы? — оторопел Замуравкин.

Фремде молча и внимательно разглядывал при тусклом свете уличного фонаря записки, расклеенные по забору: странное занятие!

— Что вы читаете?

— А вот...

Митя с трудом прочел:

«Продается стол и шкап. Спросить...»

На другой:

«Продаю очень хорошую за от'ездом гармонь, двухрядку...»

Так. А это что?

«Ищу работы по домашнему делу нащет кровельных работ. Могу делать ведра, коробки и прочее...»

— Что же вы здесь нашли?

— А вы что нашли? — насмешливо спросил Фремде.

— Я — ничего.

— А я — первые ласточки голода и безработицы. Это стачка исподволь наклеивает на забор свою историю.

— Гм! — ухмыльнулся Митя. — Вы из меня дурака хотите сделать.

— Зачем же трудиться, — загадочно ответил Фремде, и от голоса этого юнца все закипело внутри Мити.

— Учиться политике по заборам — праздное занятие...

— Так же, как учиться быть политиком, шагая вдоль заборов...

— Ах, вот как! Вы напрасно, господин Фремде...

Фремде шел, прислушиваясь, и Митя шагал с ним рядом.

— Майский вечер вы сами одобрили... Я люблю дальние прогулки... И, наконец, чорт меня побери!..

— Что, наконец?

— Я иду, никому не отдавая отчета.

— То-то, от вас винцом попахивает.

— Что?

— В таком состоянии обычно не отдают отчета. Однако, я спешу. До свиданья!

И он опять, круто свернув, перешел переулок и быстро зашагал в темноту.

«Положительно, конфузная история», — сказал Митя и, тихо повернув, задумчиво постоял...

Сделал несколько шагов и присел на скамеечку около какой-то лачужки.

«Бюрнегсод, и всякая такая немецкая чепуха. По милости тоже толченого сухаря Левенца внешним сыском занимаются не мелкие филеры, а люди широких государственных замыслов... Глупо. И еще раз глупо...»

Женский голос вывел его из задумчивости, и он прислушался и присмотрелся. Наискось, у другой избушки, темнели две фигуры: один как будто сидел в канаве — мужской голос, другая — на крыльце

— Конечно, это он прошел мимо, — сказала женщина.

— Что же ты не остановила его?

— Он был не один и с кем-то спорил.

— Может быть, он придет потом?

— По времю, как он назначил, надо бы притти.

— А, может, не он был? Ну, я на часик.

— Ты куда?

— Да никуда. Сказал, приду.

— Да иди, иди, кто тебя держит! Иди. Заговелась, поди, твоя Татьянушка!

— Тьфу, Марья!

— Не плюйся, богатырь. Пригодится воды напиться...

— Эх, Марьяша!..

Голос был виноватый, и сердитый, и ласковый.

Митя вспомнил Таню и вскочил со скамейки. «Надо же быть таким комиком, чтобы охлаждать себя этими вздорными переулками!»

«Глупо. Трижды — глупо».

Он внимательно осмотрел лачужку, где стояли два человека, и, двинувшись по переулку, стал считать домик за домиком; восемь насчитал он до угла; значит, восьмая эта лачужка, где ждут такого гостя, как Фремде. Ясно: такие студентики по ночам не ходят задаром. Бюрнегсод! А ведь оно и вышло: бюро негласного содействия.

«Но как далеко он меня завел!»

Митя стал запоминать переулки и дорогу, но волнение, подземное, нахлынувшее опять при мысли о Тане, спутало работу, полезную для Бюро. Митя заторопился.

И как хорош был пряный вечер, несмотря на едкий спирт фабрик, и сколько было молодой вешней силы, и надо же было какому-то безусому Фремде перейти ему дорогу!

Митя нетерпеливо перешагнул знакомый мостик и рванул садовую калитку. Только теперь заметил он, что ржавые петли ее были со скрипучей музыкой,

Шелест листвы над головою, протянутые руки ветвей, охватили его, и он быстро и уверенно, ломая ветки, пошел знакомыми тропинками и аллеями, вдыхая жадными ноздрями влажные запахи. Потом от нетерпения пошел прямиком, попадая ногою то в мягкий грунт, то наступая на сухую ветку.

Вот и купидон.

Женская фигура на скамейке.

— Та... — и он, откинувшись устало к спинке скамьи, замахнулся-было, чтобы обхватить Таню.

— Нет, не та, — ответила Лиза и отодвинулась. — Как испугал! Идешь целиной, точно медведь.

— Лиза, зачем ты здесь? — с неудовольствием воскликнул Митя.

— Это мое любимое место. Безносый купидон.

— Да, все это так. Но...

— Что — но?..

— А кстати... — и Митя постарался сделать свой голос ехидным и колючим. — Лизочка, не можете ли вы мне сказать, зачем это к вам ходит такой этакий Фремде. Часом, весьма конспиративный юноша.

Лиза встала, не отвечая, и обошла кругом четырехгранной тумбы, на которой примостился купидон.

— А, кстати, Митенька, — сказала она таким же, как и Митя, голосом, но едва сдерживая смех: — зачем это вас на этой скамеечке дожидалась зубковская Таня?

— Таня! — воскликнул в раздражении Митя и вскочил.. — Где она? Я хотел передать... я хотел... Она ушла? Ты можешь всякую глупость думать. Я лишь десять рублей хотел передать в пользу баулинских, а ты,..

Лиза смеялась около купидона, обняв тумбу и дотрагиваясь пальцем до того шершавого места, где был отбит нос маленькой статуэтки.

— Вот видишь! Ах, Митя! Ах, Митенька!.. И какой ты добренький!.. А знаешь, в старину пели:

Покинь, покинь, Купидо, стрелы!..

7. ВИХРИ ВРАЖДЕБНЫЕ

Хорошо, когда песнями пляшет
Молодой, рабочий забор...

Ив. Шувалов

«Эх, ма!.. Да не дома!..» — крепко вздохнул Ермак, прижимая подмышкой гармонь и шагая по переулкам. Ему было стыдно в эту ночь и жаль Марью, и как будто в своих делах зачурался он от общей тревоги; но и никак нельзя было не пойти в Новую Рылиху. «Пустое дело — баба, а без баб и города не стоят... Люди, конечно, за делом, а я за бабой...»

Ноги сами поворачивали к Рылихе, хотя ночь была напоена другой заботой, и в мыслях было суетно и надо бы по правилам подождать Трифоныча: вдруг — придет... Перебрал по клавишам гармони и, запинаясь и фальшивя, заиграл какую-то длинную и тягучую:

Эх, ма! Да не дома.
Дама, да не на полатях.
Эх, на полатях, да не с милой...
Смилой, да не любит!..

Но нудная музыка скоро оборвалась, Ермак устыдился этих спящих окошек и сунул гармонь опять подмышку. Ускорил ход.

Сонные пустые переулки понемногу начали тормошиться, откуда-то поползли люди, будто кто среди

ночи дунул в эти улицы живой жизнью. А вдали людской гул встал волною и рос, рос все сильнее, все выше. Вот топот и текучая молва настигли и захлестнули Ермака; одна, другая группа возбужденных людей в нервной спешке стали перегонять его.

«С Талки, — подумал Ермак. — Кончилось. Люди ходили за делом, а я... Навела девка сухоту, любила, а ничем не подарила».

Перед домиком Дарьи Ивановны Ермак опять пробежал пальцами по клавишам, но кто-то нагнал его и остановил за руку.

— Ты, что ли, Васенька?

— Таня!.. Эх, Таня!.. Ну, здравствуй! Гуляешь?

— Гуляю, да без музыки, — сердито оборвала его Таня.

— Что это вы, Татьяна Тихоновна, сердиты так? Аль нет хороших?

— Хороших много, да милого нет.

И Таня села около домика Дарьи Ивановны и посмотрела себе на ладонь.

— Садись, Василий, гостем будешь. Зла я как, как зла, как зла, а ты, друг, попал под руку!

Ермак положил гармонь на скамейку, сел рядом и протянул руки к Тане.

— Что — зла. Ты гляди мне в глаза, эх, Таня! Без тебя заглох широк двор.

— Тьфу!.. — огрызнулась Таня и опять посмотрела на ладонь.—Буду я тут с тобой в любовь играть; так мне вот твой хомут и привиделся!

— Какая вы, однако, дерзкая, Татьяна Тихоновна, — уныло сказал Ермак. — Куда вы бегали? Что у вас на ладони?

— Ключ.

— От каких-таких сундуков?

— От митенькина сада ключ. Замуравкина. Что? Видал?

— Как не видать, — сказал Ермак сурово, беря в руки гармонь. — Слышали мы, Таня, про твои амурчики, только, гляди, этот друг на всех вдруг. А? Ключ-то есть, да ничего не отпирает. А?

— Отстань. Не береди. — И Таня встала. — Не отпирает!.. Люди забастовку ведут, а ты тут про чужие ключи запускаешь, эх, ты, Васенька!..

И она вдруг ловким ударом вышвырнула из его неуклюжих рук гармонь и, сев к нему на колени, прижалась, обняла его срыву и поцеловала, громко чмокнув в жаркие губы:

— Вот, так!.. Так бы я Митеньку целовала, кабы не мой нрав. Пусти!

Спрыгнула и засмеялась.

— Разлакомился, Вася! Ну, будя, будя, толстая губа, идут... Толпа народу идет. И все с Талки. Чего это они говорят? Чу!..

Шли старики, медлительно покачиваясь и махая руками. С ними толпа женок. Задние — молодежь — быстро обогнали их и шумно, как горох, просыпались мимо Ермака и Тани.

— На спальни идут, — сказал Ермак. — Это полушинские, я знаю.

Новая большая группа выкатилась и быстро придвинулась своим гулом из черноты переулка; зазвенели, как черепки, высыпанные из мешка, женские голоса, послышались вздохи и причитания старух.

— Отец, — сказала Таня, уловив за текучим говором хриплый взволнованный голос Тихона. — Ишь, оратай! Он у меня прямо, как пророк Иван Креститель.

Высокая фигура старика Капитонова, сопровождаемая большой гурьбою женщин, остановилась около домика Дарьи Ивановны.

— Ну, ты, испытующий сердца и нутренности. Прощай, — сказал древний старик Спиридон, высунувшись из толпы.—Сводил ты меня на сборище, спасибо тее, наслушался на всю жизнь. Вижу теперь, они имеют власть затворить небо.

— Чего ерундишь? — сказала Дарья Ивановна, усаживаясь к Тане. — Произвол капитала об'яснили тебе, вот тебе и твое небо.

— Ты, тетка Дарья, про то не скажи. Конь рыжий ты знаешь зачем наружу вышел? зачем?

— Какой такой конь?

— Красный конь, — вот какой! И сидящему на нем дано взять мир с земли и чтобы люди убивали друг друга.

— Казаки на твоем коне, а не люди; из ума, Спиридон, вышел, — сердито сказала Дарья Ивановна. — Вот три речи слушал, самого Станислава слушал, а все как был, так и есть.

— Не, — сказала какая-то женка: — не, Дарьюшка, ныне и стар заколебался. Только не так, видимо. Довели, проклятые, народ до нитки!

— Будет каждому по делам его, — воскликнул вдруг Тихон с необыкновенной силой, и женки тесной оравой наперли на него, дожидаясь, что он скажет. Капитонов бурливо перевел дух и притянул старика.—Ты, Спиридон, сказал — конь красный. Так слушай. Не

конь, то-то тебе, не конь, а хлаг. Востребовали мы свои пункты под тем красным хлагом, социал-демаркатическая партия, а она им, как анафема, как бесу крест. Гундобинский супостат, бают, как глянул в очки, так ажно затресся... То-то, тебе!

— А ты читал, сударь, писание? Читал? — приступил к нему близко Спиридон и погрозил пальцем перед самым носом Тихона: — Не читал, так про то и не говори. Большой красный дракон знамением явися на небе и с семью головами...

— Ох, матушки!—где-то вздохнула доверчивая женка.

— Я те об'ясню — красный дракон! — рассвирепел Капитонов и злобно поднял руку: — Не верьте ему, женки! Мы плотной теперь стеной стали под красное знамя, а это — что?

— Ну-ка, что? — ехидно спросил Спиридон.

— В царские дни видел казенный хлаг? Три полотнища на том хлаге. Вверху белое, в середине синее, внизу красное. Белое — это что?

— Ну-ка, что? — опять присунулся Спиридон.

— Это то, что рисуют на белом коне. Оно — вот!— И Капитонов ударил себя по шее. — То, что сидит над нами, яко золоченый саваоф, в одной руке кнут, в другой пика. А как до рабочего народа, так его и дома нет...

— Ну, тише ты, — испугался Спиридон. — Тише, не ори. С ума сошел!

Но Капитонов, увлекаясь, возвысил голос:

— Синее — это что? Чиновники, бюрократы, фабриканты-брюхачи и синие мундиры, кои моего брата и до сих пор в муре гноят.. Сила их, сила, они синие, как мертвецы. И есть у них наемные шкуры, чтоб

нашего брата жать, жать, жамкать, аж бы сок из нас тек.

— Он и течет, сок-то... — сказала женка.

— А красное полотнище, — продолжал Капитонов, — то мы, мы сами, и сколько нас, трудящих, и не счесть, красна наша кровь, красна, но мы, браты, повернем хлаг алой стороною, мы своей волей повернем, на! Будет верх наш. На!

— Правильно, Тихон! — воскликнул в увлечении Василий, вскочив с гармоникой на скамейку. — И чего мы, братцы, в страхе закисли? А ну, товарищи, может, завтра в борьбе подыхать, так ночь пусть будет наша!.. Таня, эх, друг, «Варшавянку» знаешь?

И Ермак широко развернулся и повел плечами; ночь была уже окрашена в смутные отсветы утра, и восторженное лицо Ермака, широкое, с закинутыми кверху глазами, довольно ясно выступило над толпою около забора. Он запел под свою гармонь:

Вихри враждебные веют над нами,
Темные силы нас грозно гнетут...

Всклокоченный Тихон, несколько настойчивых женок и парней и с ними Таня, ухватившаяся обеими руками за грудь, подхватили песню:

В бой роковой мы вступаем с врагами,
Нас еще судьбы безвестные ждут..

С этой песней, захлебываясь от восторга, толпа двинулась по переулку, обрастая все больше и больше. Отворялись окошки и кой-как, наспех одетые люди торопливо выскакивали прямо из окошек, радостно присоединяясь к шествию. Впереди шли уже три лихих

гармониста, и с ними голосистая Таня; Тихон иногда оборачивался к толпе и, пятясь задом, размахивал, как дирижер, длинными руками. Демонстранты прошли окраины, прошли мимо спящего дома Замуравкина, под неистовый лай собак и заглушенные проклятия Харлампия, которые тот посылал со двора, не решаясь выглянуть из-за калитки. Дальше, в узких переулках шествие распылилось, и голоса потекли по разным направлениям.

Спиридон, оставшись один посреди улицы, недоуменно огляделся и, подождав бегущего человека, будто силясь его поймать, заговорил:

— Эй, милый! Вот, слышишь, так твою растак, жратья нет, жратья нет, а они...

Но тот, дикий в своем порыве, не слушал шамкающего старика.

— Ну, беги, беги!.. — выругался Спиридон ему в спину и плюнул: — Видно, у тебя жратья много, больно ты на песню охоч...

Но и Спиридон долго еще стоял около домика Дарьи Ивановны, напрягая тугое ухо: песня, обласканная гармошками, постепенно затихала и уходила, пока не растаяла в белесых потоках раннего майского рассвета.

8. ПРЯМОЙ, КАК ГВОЗДИК

Пока гундобинские лихачи, ретиво забирая вперед, уносили по улицам Возневанска Левенца на его квартиру, дело по охране порядка также не стояло на месте: Арнольд Федорович в коляске выудил от Ильи Петровича полезные подробности письма про-

курора. Как был забракован проект Дергулёва, проект письма-жалобы министру внутренних дел, и как умница-Чернявский предложил обойти губернатора с тыла и поразить его с самой чувствительной стороны. Едва ли можно было сомневаться, что почтенная губернаторша не оставит своего Валерия на столь опасном посту в столь тяжелое время.

И тогда-то, еще в гундобинской коляске, пошатнулся мир с его устоями в сознании честного служаки Левенца.

Распростившись с Замуравкиным, он сказал ему на прощанье, значительно кивая своим ясным лбом:

— О, Илья Петрович, ваш сын, — очень, очень карашо. Правильный установка и честный будет человек. Колоссальнейше ум! Второй Витте.

Замуравкин сделал кислую мину, и Левенец получил в ответ:

— Благодарю, Арнольд Федорович. Но я никогда не был сторонником ведомства казенных мерзавчиков — спаси, Христе — и, грешник, не очень долюбливаю либеральные виттовы пляски. До свиданья, дорогой.

И всю дорогу после этого Замуравкин кисло морщился и ворчал под нос:

— Немец-перец. Или уж так — спаси, Христе — без немца никак, а то и пропадем... Немец-перец, одно слово!..

Но не этот решительный отпор милейшего Ильи Петровича пошатнул устои Левенца, а новые пикантные подробности о письме прокурора. Иван Иванович, ближайший друг губернатора и заядлый либерал, ясно, ступил на скользкий путь: он выдал с головой Вале-

рия Аполлоновича и пошел против своих убеждений. Отсюда следовало, что где-то под всем этим лежала очень веская причина, и стыдно было подумать, — причина эта была взятка. Чернявского купили.

Арнольд Федорович от этих соображений о тридцати сребрениках так заволновался, что потребовал стакан кипяченой воды, лихорадочно выкурил сигару и, вынув лист бумаги, линеечку, решил тотчас же все упорядочить и привести в должный вид.

Он начертил старательно и точно, посредине бумаги, кружок и написал внутри его: «Письмо И. И. Ч.». От этого рокового кружка Арнольд Федорович провел три расходящиеся лучами линии. Первая упиралась в надпись — «Пр», вторая упиралась в надпись: «В. А. Л.» и третья — в надпись: «Дерг»; «Пр» и «Дерг» звучали для Левенца сурово и предостерегающе, вроде: «Тпру». «В. А. Л.» — звучало мягко и безвольно. Вверх от кружочка шла только одна линия; она упиралась в большой прямоугольник, внутри которого ротмистр написал:

«Письмо, как факт. Косвенное доказательство взятки. Подкоп под действия высокого лица в момент ответственнейших операций. Апелляция к семейственности от деловой гражданственности. Вторгательство в личную жизнь по поводу несовершившегося еще факта (смотри намеки на сладкий миг). Гимназичество с привлечением цитат из неизвестного поэта (для памяти: поручить Ф. Кукушкину обследовать, не запрещенный ли сочинитель). В выражении: «охраняя самую его жизнь» — не кроются ли какие сведения (или нити), проли-

вающие свет на то, что известно И.И.Ч. и укрываемо от охраны».

Этот прямоугольничек, сокрушивший товарища прокурора, очень многое уяснил ротмистру, и он, говоря про себя: «Да, да, да...» — красным карандашом, в обход всего чертежа, провел кривую дорогу к надписи «Пр».

Под «Пр», что должно было обозначать — прокурор, ротмистр написал синим карандашом: «Об'яснение с Пр., как факт. Если, то: за колкости и язык остроумнику закорючка. Поджатый хвост И.И.Ч. Кому он нужен? Поступить без об'яснений».

Далее синий карандаш поехал по бумаге быстро, быстро от надписи «Пр» к надписи «В.А.Л.», и тут ротмистр написал, не задумываясь, черными чернилами, очень мелко:

«Доклад начальнику губернии. Поразительность впечатления. Письмо в копии, как факт письма. Контакт в либерализации, что несовместимо. Бюрнегсод. Несомненно — повышение в чине и хороший служебный Бевегунг. Учитывая долг перед царем и родиной и меры укрепления порядка, — все же оставить без доклада».

Тут Левенец вздохнул и синим карандашом на всем написанном под буквами «В.А.Л.» поставил большой крест.

Черная чернильная линия, наконец, очень неуверенно и задумчиво поехала к надписи «Дерг», что означало дом городского головы. Здесь произошла задержка, и перо ротмистра вместо надписей стало нервно ходить по спирали, пока не перепрыгнуло в сторону, где медленно была нарисована рука, держащая факел; от факела поднялся огонь, и дым длин-

ными волнистыми линиями, которые, наконец, в обход всего чертежа достигли верхнего прямоугольника, окурили его и коснулись надписи: «Письмо, как факт».

Так мысли жандармского ротмистра совершили круг, но для всех осталось тайной, что должно было быть написано в правом углу, под надписью «Дерг». Подумав несколько и окинув схему общим взглядом, ротмистр лишь приписал в этом месте после «Дерг» очень осторожно — «Улев». Но и это не удовлетворило его: он так и так очертил букву «е», и вышло — «Улов». Но и это не остановило опыты Арнольда Федоровича, и он тщательно замазал новое слово, затем сложил всю схему аккуратно, в несколько раз, и сунул этот листок в свою записную карманную книжку.

После этого облегченно встал, потер руки и сказал:

— Ка-ра-шо... Ка-ра...

Всю ночь и следующее майское утро, 16-го по календарю, схема лежала в записной книжке без движения, но это не означало, что холодная мысль Арнольда Федоровича не работала по дальнейшему уточнению схемы.

В три часа ротмистр, натянув белые перчатки и приняв самодовольный вид, поехал к Семену Мареичу Дергулеву.

Это был первый визит Левенца в неприступный дом Каустика, но принят он был без всякого замедления.

Нужно сказать, что в городе уже было известно, как на вопрос егермейстера двора городской голова независимо пожал плечами и повернулся спиною, и от этого большая крепкая и упрямая фигура Каустика значительно выросла в сознании всех, имевших интерес к событиям города Возневанска. ..

И Левенец был очень польщен встречею на мраморной лестнице и угодливыми словами:

— Весьма рад вас видеть, достопочтеннейший... — тут Каустик быстро посмотрел в записную книжечку и добавил: — достопочтеннейший Арнольд Федорович. За делами и суетою с вашего приезда мы с вами, достопочтеннейший Арнольд... гм!.. — тут Каустик опять посмотрел в книжечку и покачал лысиной, — Федорович, совсем запарился... То с фабрикантами совещание, то с его превосходительством. Судите! Прошу, прошу. За делами и суетою мы и чашки кофею с вами по душам не выпили. Прошу.

Пропустив щеголеватого ротмистра вперед и услышав пение шпор, голова подумал:

«Вот невелика штучка и звенит, а, пес подери, куда-куда человека может ухлопать: жандарм!»

Усадив поуютней Левенца, Каустик стал ждать.

— Буду к делу, Семен Мареич, и прям, как говорится, — сказал ротмистр, сидя прямо, как гвоздик, и смотря своими голубыми и ясными глазами на хозяина дома. — Мною раскрыт заговор.

— Заговор, — встрепенулся голова. — Господи, помилуй! Да не может быть!

— Может, — уверенно кивнул белокурою головою гость. — Очень может!

И он не без удовольствия преподнес голове копию письма Чернявского к Маргарите Оттовне. Каустик внимательно прочел письмо и, читая стихи по два раза, думал: «Ишь, крючок, как запустил, тонкая штучка. Постарался Иван Иваныч!»

Прочитав, Семен Мареич непроницаемо посмотрел на Левенца:

— Иван-иванычевы штучки, штучки, штучки-с, а зачем, — не пойму. В чужих делах, хоть убей, не разбираюсь.

Ротмистр встал — прямой, как гвоздик.

— Но я должен буду доложить начальнику губернии...

Каустик тоже встал.

— Я должен буду раскрыть...

— Тсс, — сказал голова, взял его за металлическую пуговицу и обнял другой рукою, навалившись на плечо.

— Брось, дружок. Брось!

Глаза его прищурились, и он, чуточку подумав, вдруг быстро и ловко по ковру направился к двери. У двери обернулся и, махая вниз рукою, сказал:

— Минуточку посиди. Сейчас приду. Посиди, дружок, Федор Арнольдович. Посиди.

И ушел.

Вернулся он, действительно, быстро, и в руках его был конвертик, не запечатанный и без надписи, но внушительно топорщившийся.

Приблизившись к ротмистру, голова решительно и ловко отстегнул пуговицу его мундира и стал шарить конвертом по рубашке Левенца, но тот, покраснев густо, быстро помог конверту спуститься в карман. После этого ротмистр щелкнул шпорами и открыл было рот. Но голова не дал ему сказать:

— Шш!.. Достопочтеннейший! Отказа — не, не. Не приму. И обидишь, обидишь, дружок, на век. Мы с тобой и кофею не выпили, не то что... И не говори! Почитаю власть, почитаю. Для дела, губернатору — шш! молчок. Да слышь, — сядем-ка, друг, — в ногах правды

нет, — ночью звонил мне Замуравкин: рабочие с песнями и флагом ходят и всю, как есть, недвижимость покорежить могут. Спешить пора, дружок, спешить. И ты помоги, — ты не сердись на «ты», я всем «ты»...

— Семен Мареич! — воскликнул восторженно Левенец. — Верьте!..

— Верю, друг, верю. Ты вот помоги провести у губернатора, вот, — голова взял листок со стола, — а о письме — молчок!

Левенец с одобрением прочел заготовленное об'явление (почерк Замуравкина):

«Пока рабочие себя держали спокойно и чинно как на улицах, так и во время переговоров на площади, по вопросам взаимных отношений фабрикантов и рабочих, я не имел оснований прибегать к мерам воздействия на толпу. В настоящее время спокойное поведение рабочих омрачается единоличными случаями насилий над трудящимся людом, ничего общего с интересами фабричных рабочих не имеющими.

Кроме того, шествия с запрещенным пением, а также многолюдное скопление народа на городских площадях и улицах наносят ущерб торговле и, стесняя уличное движение, вызывают справедливые нарекания населения. Подтверждая мое об'явление от 14 мая и призывая к спокойствию, я на основании вышеизложенного с... сего мая не нахожу возможным более допускать многолюдные собрания на площадях и улицах, предупреждая, что в противном случае вынужден буду прибегнуть к удалению сборищ силою оружия».

— Карашо, — энергично сказал Левенец. — Вы во мне искали и нашли поддержку, верьте!..

— Ну, вот, и вижу друга. И спасибо тебе. Возьми, возьми и поезжай к превосходительству, и, друг, во век не забуду; ну, крепко целую, дружок... Эх, с умным и разговор короткий!

— Карашо, — сказал Левенец, сунул об'явление в карман, краснея, как мальчик, от поцелуя Каустика, но чувствуя необыкновенный прилив сил в груди.

— Они, дорогой, отказались представлять протоколы собраний своего Совета для просмотра, — воскликнул голова, открывая дверь ротмистру. — Они отказались! И вот вам прекрасный предлог для разгона дьявольского Совета.

— Карашо, — сказал ротмистр, выпятив грудь и ступая по коврам, как на параде. Он молодцевато щелкнул шпорами, поклонился и, прямой, как гвоздик, выйдя из комнаты, отчетливо зазвенел по лестнице солидного дома.

Вверху, как отеческое солнце, сияла лысина хозяина, склоненная над мраморными ступенями, и молодой ротмистр, натягивая перчатки, почему-то игриво вспомнил руку, державшую факел. Но там был дым и письмо, как факт, и затруднения мысли; здесь же никакого письма не было, только четкое об'явление и конверт в кармане, и все ясно и светло, как сама мудрая лысина Каустика.

9. ФАРМАЗОН

— Прошу, прошу! — кричал звонко своим женским голосом Сергей Аверьянович из другой комнаты, куда

была открыта дверь. Но сам не показывался. — Садитесь, Елизавета Ильинична! Очень рад. Мне Валя о вас часто пишет. Будто бы вы самая интересная во всем Возневанске... И я скорблю.

— О чем? — спросила Лиза, погружаясь в глубокое кресло.

— О бурно растраченной жизни, о молодости. Вы меня простите, как мне быть?

— А что?

— Да ведь я в халате.

— Переоденьтесь.

— Не могу.

— Почему?

— Принцип! Не могу итти против правил.

— Тогда выходите в халате. Я спешу.

Рыбулин вышел в красном халате с золотыми кисточками; рыжая ассирийская борода его пушисто лежала на красной ткани. Он сел. Лиза посмотрела и вдруг фыркнула.

— Простите. Вы настоящий смешной карла!

— Благодарю вас. Только, надеюсь, не Карл Маркс?

— О нет, совсем, совсем не он! Я хотела сказать — Карла из «Руслана»...

— Знаю-с, — сказал пронзительно Рыбулин, — и очень рад, что не Карл Маркс.

— Почему это?

— Потому, что вы видите перед собой поклонника неистового Фердинанда. Испанский стиль. Хорошо умереть молодым.

— И вовсе плохо.

— Хорошо-с. Вождь должен умереть молодым, ибо тогда водительство его останется в наших мечтах огненным. Вы знаете Лассаля?

— А это вам зачем? Водительство-то?

— Надо! Надо-с, Елизавета Ильинична. А вы в самом деле хороши. Талант! У вас редкостный, благородный стиль. Вы сухонькая, в папашу. И носик его. А ротик — Джоконды-с, да-с, Елизавета Ильинична!..— и Рыбулин изящно погрозил пальчиком. — От юности моея мнози борют мя страсти. Чем могу служить?

— Я взяла на себя сбор денег в пользу забастовавших рабочих.

— То-есть? — неопределенно спросил Рыбулин. — Какое обложение?

— Существует комиссия стачечного голодного фонда. Этой комиссии я сдаю собранные деньги. Все сборы идут на текущий счет в потребилку. Она по ордерам комиссии выдает нуждающимся товары.

— Ах, нет! Это пустяки, — отмахнулся Рыбулин.— Я не про то. Я спрашиваю: сколько-с? — и Сергей Аверьянович встал. — Сколько прикажете?

— Сколько можете.

— Сто? Сто могу. Больше — сверх правил экономии, — и он вынул деньги. — Помогаете мятежу? Вот-с. Десять красных.

— Там нищета и голод. Спасибо.

— Они остановили фабрики. Это бесподобно! Я жду, когда они начнут жечь их. Мятеж черни — пышная картина, достойная испанской кисти. О, я, как Нерон, хотел бы воспеть их на арфе!

— Брр!.. Что вы говорите, Сергей Аверьянович? Там такая трудная жизнь.

— Трудная-с?.. — и он приблизился к ней, взял ее худенькую ручку и долго рассматривал молча. Потом прошептал: — А Левенца не боитесь?

— Нет.

— И Шлегеля не боитесь?

— Нет, и Шлегеля не боюсь.

— Но прокурора, прокурора боитесь?

— Да нет же, и прокурора не боюсь.

— Бог мой! Так вы папы и мамы боитесь.

— Ах, нет! Ни чуточки.

— Тогда мы все боимся паука; пожалуйста, без возражений, — и он почтительно склонился и, нежно погладив, поцеловал ей руку выше кисти.

Борода его пушистая защекотала ей руку.

Лиза засмеялась и сказала:

— Паука очень боюсь.

И, быстро повернувшись, оставила его одного.

У крыльца рыбулинского дома, блестя на солнце атласными крупами, стояли гундобинские лихачи.

— Кирилл! Да никак это вы? — воскликнула Лиза.

— Так точно, барышня, это мы.

Был этот Кирилл всегда веселый подвижной замухрышка, мало похожий на настоящего кучера. И все у него было смешное: шапка с пером, кафтан, сшитый не по росту, клочками бороденка и напускная кучерская важность. Глаза же его живые были быстрее самых лихих возневанских лихачей.

— Кого вы? Вы папашу привезли?

— Так точно, самого, их степенство, Илью Петровича, — и Кирилл подмигнул Лизе своими хитрыми глазками.

— Долго он будет там?

— Не могу знать, Лизавета Ильинична. Они к их благородию, к самому прокурору.

— Ну, довезите меня, Кириллушка, до Мефодия Иваныча. Можете?

— Семь бед, один ответ, барышня. Для вас сделаем. Эх! Пущу коней во всю гундобинскую прыть.

Лиза радостно вспрыгнула в коляску, кивнув в окно красному халату; Кирилл ехидно осклабился, довольный своим участием в новой барышниной проказе.

— Ну, мои живые! Помяни, господи, царя Давида!.. — крикнул он и натянул вожжи.

Лихие кони подобрались, вдруг дернули коляску и полетели горячим вихрем по улицам Возневанска.

В это время Илья Петрович, сияющий и довольный, с видом именинника говорил прокурору:

— Дело пошло в ход, пружины нажали. Кредит Свирского пал. Был болтушка, и вышел болтушка. Мы тверды, никаких уступок. Совет — и тот нам на пользу, вот посмотрите: запретили сборища, и никаких волнений. Потому — клапан. Шито, крыто. Едут, слава тебе, Христе, драгуны. И Кожеловский, честный воин, прямо воскрес. Но глаз нужен... Мы отвернемся, а его превосходительство, тут как тут: обязательно начудит. И наша просьба, Иван Иваныч...

Вошел Рыбулин в своем красном халате, играя золотыми кистями. Он был похож на оперного героя.

— Просьба? О чем просите, Илья Петрович?

— Ни о чем особенном, Сергей Аверьяныч. Вот с вас малую толику на негласное содействие...

— Куда-с?

— На помощь властям предержащим, на утишение страстей...

— Я за разгул страсти, Илья Петрович, за полный разгул-с. Пожар и бурю! Видите, какого цвета халат? Не халат, а красное знамя!

— Халат, халатом. А свое пожалуйте.

— Папаша в дочку! Оба с квитанционными книжками. Одна на стачку, другой на утишение.

— Что вы изволите сказать? — и Замуравкин побледнел. — Дочка? Лиза? Что вы сказали, я вас не так понял?

— Дочка, говорю, ваша Лизочка, делает сборы для рабочих, а вы... Ах, я и забыл, что папеньки нынче не в счет! Нынче не спрашиваются. Мне обворожительные губки говорят: «жертвуй на голодный фонд», и я жертвую. Вам — на сытый? Это пикантно!

— Ох, насмешник! — пробовал Илья Петрович успокоиться, но руки тряслись. — На какой фонд вы дочке пожертвовали? И когда-с? когда-с? Не может этого быть! — и он вскочил вдруг, как ошпаренный, выкрикивая свои вопросы визгливо и злобно.

Рыбулин спокойно позвонил.

— Барину воды... Сколько?

— Что-с, сколько?

Сергей Аверьяныч насмешливо поднял золоченую кисть и, будто давая ее понюхать Замуравкину, заиграл ею перед самым носом старика.

— Сколько прикажете, сейчас принесу. Одну сотельную довольно-с?..

Замуравкин молчал, перебирая пальцами, и заговорил, отпив глоток воды, глухо и тихо:

— Чувства отца... Вы сами видите, Сергей Аверьяныч... Каково мне старику сносить!.. — И вдруг он

опять закричал: — Но я не потерплю-с! Я своими руками, собственными, я прямо к Левенцу отвезу-с!..

— А я, что ж, выходит — доносчик? — уперся в него Рыбулин.—Глупости, Илья Петрович, глупости...

И вышел.

Когда он внес торжественно сто рублей, Илья Петрович спешно собирался. Он сунул растерянно в карман деньги и, не прощаясь, стал уходить. Прокурор и Рыбулин вышли за ним на крыльцо. Илья Петрович посмотрел вокруг и кверху, поморгал глазами и тихо и молча пошел от крыльца. Но, сделав несколько шагов, он вдруг побагровел и крикнул злобно:

— Кирилл! Кирилл!

Рыбулин догнал его и, ухватив за борт сюртука, заговорил тревожно и торопливо:

— Вот что-с. Вы дайте мне честное слово порядочного человека, что вы дочери вашей ни звука, ни...

— Кирилл! Кирилл! — в ответ на это еще визгливей закричал, беснуясь, Замуравкин.

— К чорту Кирилла! Я отослал вашего Кирилла, вы поедете на моих лошадях... — и Рыбулин помахал лакею, вышедшему на крыльцо.

Но Илья Петрович, что-то бормоча, неистово оттолкнул всех, кто приблизился к нему — прокурора, двух лакеев и еще кого-то — и побежал к раскрытым воротам.

— Фармазон! — наконец, крикнул он издалека, обернувшись. — Психик, психик! Больше ноги моей, ноги!..

Рыбулин, подобно оперному боярину, стоял посредине двора, упершись руками в красный халат.

— Хи-хи-хи-хи!.. — надрывался он, встряхивая своей ассирийской бородою.

10. УПРЕТСЯ — ПЕРЕЛОМИТСЯ

Навалилась туча, и все ждут — когда же гром?.. Так было в доме Замуравкина.

Ходили на цыпочках, говорили тихо, с оглядкой. И если где-либо сильно хлопнет дверь или раскатится громкий голос, настораживаются и ждут: вот-вот... Доктор уложил Илью Петровича на несколько дней; и, лежа лицом к стенке, старик упрямо не хотел видеть ни жены, ни дочери, ничего не говорил и ничего не спрашивал. В мозгу его застряло какое-то «честное слово», о котором слышал в неистовую минуту на рыбулинском дворе, и он крепился и держал это не данное никому слово.

Кирилл был уволен в два счета.

Свернув покорно и увязав свои монатки, он лишь вызвал на крыльцо Лизу.

— Прощайте, барышня.

— Куда вы, Кирилл?

— Куда! У хозяина живи, а за скобочку, значит, держись.

— Да как же это?

— А чего ж близко принимать! Созорничали мы с вами: батюшке поперек проехали, и очень стало быть хорошо. А то живи, живи, да и не топни.

— Постойте, Кирилл. Это ошибка. Этого не может быть. Постойте. Я сейчас!

Все закипело в Лизе, и она решительно побежала к комнате отца.

— Не велели вас, барышня, принимать, — испуганно сказала Аннушка и загородила ей дорогу, но Лиза оттолкнула ее и вбежала в комнату.

Затылок отца с какими-то приглаженными будто косичками жалостно смотрел с кровати. Столик с лекарствами наводил скуку.

— Папа, вы спите? — настойчиво спросила Лиза.

— Сплю, — сказал отец. — Оставьте меня.

— Папа, мне очень важно. Почему вы уволили кучера? Он ни в чем не виноват.

— Оставьте-с меня в покое, — не оборачиваясь, жалобно пропищал Илья Петрович.—Не дадут и умереть. Аннушка!..

Аннушка была тут и что-то зашептала и замахала руками около Лизы.

— Фи, юродство какое! — в негодовании воскликнула Лиза и выбежала от отца.

Она написала записку Рыбулину и сунула ее Кириллу; уволенный кучер ухмыльнулся.

— Чего же вы смеетесь, Кирилл?

— Да так, барышня. Сколько ни прыгай, а быть в хомуте. Волнуетесь вы, а нам смешно. Время-то теперь какое, дошла забастовка, докатилась и до нашего столба! Пострадать надо. А вы волнуетесь. Не зря люди сказали: супостат, — бог и наказал за супостатство. А мы что! Мы даже рады, барышня, шутку-то вытворили, оно даже легче...

Митя один ходил с докладами к отцу, и ему Илья Петрович тайно изливал свои жалобы на непокорную дочь.

— Следи за Лизаветой, — шептал сыну: — Много она надурить может, вся в мать. У той и до сих пор пустяки в мыслях. В Кохму ее свези, там, я слышал, народ звонкий есть; отвлечь ее надо, отвлечь...

Но быстро, в заботах о делах, он забывал о дочери.

Лежа в постели, принял Безрукова, и пока Федор Кузьмич скрипел ему о новых событиях, невыносимо противна стала Замуравкину козлиная бороденка печника и его плешь: «Плешивый — человек фальшивый», — думал больной.

— Мы два, они три.,.—жаловался печник.—У них тайная рука орудует за нашей спиною. Угнали их на Талку, а они там ниверситет босяцкий открыли. И пошла муть, пошла муть...

— И хорошо, что угнали. Еще что?

— Не больно хорошо. Овин прогорел, а слепой проглядел. Сляпали один Совет, а за ним другой.

— Какой другой? О чем, Федор Кузьмич, мелешь?

— Малый Совет. Теперь у всех мастерков народ поднялся. Даже мои печники на боку дыру вертят. Кузнецы, шорники, маляры, кухарки голосистей сверчка стали. Вот-те и усмирили народ, вот-те и запретили! Хвать, похвать, ан дыра в горсти... Столпы повалились, а нам — как? Вставай, Илья, без тебя мы — фонари без свечки. Вот что!

Но Илья Петрович повернул затылок с жиденькими волосиками и жалобно взмолился:

— Оставьте меня. Оставьте! Все вы в подоле выношены. Оставьте!

Долго еще скрипел Безруков в комнате Натальи Львовны и, уходя, перекрестился:

— А все ж, матушка-хозяюшка, одно тебе скажу: он выручит. Уж он лежит, лежит, а недаром: упрется, переломится, а свое надумает... Дай ему бог!

11. КОСТЕР

И цвел в лесу мятеж.

Авенир Ноздрин

У портнихи Вари Чистовой Лиза устроила свой штаб. Здесь она под непрерывный говорок Вари переодевалась в скромное платье ткачихи и надевала ситцевый платочек. Это было и смешно, и занимательно, и чуть-чуть страшно. В зеркальце глядела такая уморительная рожица, будто и не Лиза.

Сегодня в сумерки обе они вышли из квартиры портнихи и спешно направились на окраину города, к линии железной дороги.

Около железнодорожной водокачки речонка Талка, мелководная и местами журчащая, как ручей, делала крутой изгиб.

— Вот, Лиза, смотрите, — указывала Чистова, — вот тот самый мыс, где с утра на мураве собирается теперь Совет; пленум, как говорят.

Их нагнал высокий молодой рабочий и, протянув руку Варе, улыбнулся:

— Что, товарищи-женки, мыс Доброй Надежды разглядываете? Вон у лесной сторожки нынче аудитория наша. Здесь воздух не как в Мещанской управе, здесь полицией и не пахнет.

— Почему выбрали это место? — осматриваясь и оглядываясь, спросила Лиза. — Если пустить воинский поезд, ведь он в вас из окон стрелять может.

— Да так, выбрал сам народ. Тут все самотеком делается. А стрелять будут, мы в бор подадимся. Платочек-то к вам очень идет. То-ли дело!

И он ухнул быстро с насыпи, размахивая длинными руками.

— Кто это? — спросила Лиза.

— Это Лапа.

— Узнал он меня?

— Конечно, узнал. Вы его не знаете, а вас он очень хорошо знает.

Внизу на лужайке большими группами толпились рабочие. В эту толчею вошли Варя и Лиза, медленно пробираясь к мостику и далее к лесу. Кое-где, на чем придется, возвышались говорившие, их слушали, и в то же время море людей колыхалось, перемещалось и, казалось, говоривших все время захлестывали волны. Но люди, обращавшиеся к толпе, были стойки, они словами и жестами наводили временную тишь, и зычные голоса их часто покрывали и разговоры, и отдельные реплики, и шорох ног многотысячной толпы.

— Товарищи, потише! — то и дело слышались голоса.

Около шеста, на котором трепыхался красный флаг, стояли торговцы: старуха с папиросами, конфетами и какой-то водою, подросток с селедками и дальше толстый человек в фартуке с хлебом и квасом. Около леса торговка кричала:

— Семечки, семечки, а вот семечки!

— Семя великого сеет, — улыбнулся на Лизу и Варю крепкий широкоплечий парень и прибавил: — Эй, мать, насыпь на копейку!

Он затерялся в толпе и вдруг около самого бора вынырнул из-за сосны:

— Еще раз! Гора с горой не сходится. Варя, держите.

— Не хочу.

— А вы, барышня, семечек не желаете?

— Спасибо.

Она взяла маленькую горстку.

— Наши лакомства признаете? — ласково улыбнулся парень.—Не то, что ваш папаша.

Лиза вспыхнула. Опять!

— Вы кто такой? — насупившись, спросила она.

Парень ловко смахнул картуз и поклонился:

— Честь имею вам представиться своею красотой: хоша и горький пьяница, а все-таки мастеровой!.. — и он раскатился ребячьим смехом.

Варя наклонилась к нему, и что-то тихо сказала.

— Доведу, доведу, — ответил парень. — За мной идите.

Он вывел их на другую лужайку и, часто оборачиваясь, шел впереди. Кругом опять гудела толпа, и в разных группах шли оживленные разговоры. Но некогда было прислушиваться.

— А кто этот парень?

— Да Вася Ермак.

— Узнал он меня?

— Ну, еще бы!

— Это грустно, — сказала Лиза, — ни к чему выходит моя конспирация.

— Их много, а вас мало. Вашего папашу тут больно хорошо поминают. Тут есть такие — и нашим и вашим.

— Какие? — не поняла Лиза.

— От гундобинских деньги берут, и от Безрукова, на собрания ихи ходят, и все здесь передают. Тут и про вашего Митю славушка пошла.

— У меня с ними, Варя, ничего общего.

— А кто говорит! Никто не говорит. Вас-то с другой стороны знают.

В углу, где лужайка зашла глубже в лес, на возвышении стоял оратор и говорил спокойно, без крикливых жестов, и кругом толпа, навалившись друг на друга, жадно ловила каждое его слово.

«Лекция, — подумала Лиза. — О чем бы?.. Как странно. Они слушают о Сен-Симоне. Вот он — Талковский университет! Вольная лесная академия».

Но Ермак, не задерживаясь, провел их через толпу, и они пошли по лесной тропинке. Сосны, будто взволнованные шнырявшими повсюду людьми, гудели вверху ровной волною; их красные стволы кое-где блестели отсветами заката.

Углубляясь в лес по запущенным тропинкам, через папортники и пахнущую хвою, все меньше рабочих встречали Варя и Лиза. Ермак впереди запел песню. Потом, остановившись, он подождал Лизу и сказал:

— Вот вы, Лизавета Ильинична, нынче и в платочке и тихо так выступаете. А тогда, я думал, того и гляди цветы в рожу швырнете. Страсть сердиты были, даже ногой топнули.

— Это когда — тогда?

— Не помните?

И вдруг она вспомнила, как встретила в лесу Лакина и этого широколицого парня, вспомнила все: и тот мягкий день, и гул лесной дороги, и тихий и ленивый Митя, и как нелепый Мефодка всю дорогу перекорялся со своим мрачным Сидором. И ей показалось, что это было очень давно... А ведь только дней восемь прошло с тех пор! Но как все изменилось!

— А где Миша Лакин? — спросила она, и будто ее что кольнуло.

— Миша молодец, — ответил Ермак, — Шуя-то враз остановилась...

Больше он о Лакине ничего не прибавил и стал опять забирать вперед.

«Она идет впереди, легко, как танцует. А я за ней карабкаюсь на утес. Ногтям больно...» — вспомнила Лиза чудной сон Лакина. И последнее, что он сказал грустно: «Гляжу, а ее нет...»

«Вот я. Миша, я здесь! — хотела крикнуть Лиза, и опять ее будто кольнуло. — Синенький... — вспомнила она. — И всего только восемь дней. А будто от'ехала от какого берега. Да, верно, — гляжу, а ее нет...»

Однотонно кипели кругом сосны, шарили по приблизившемуся небу; сырость и тьма обнимали крепко; и Лиза, ступая на траву, подумала: «Может быть, под ногой ландыши, а мы идем, не нагнемся, наступаем на пахучие цветы...»

«Так надо».

И вспомнила поклонника неистового Фердинанда. Он ей представился красным маком.

«Трудная жизнь, — сказала я ему, — а он, как шут, в красном халате, пугал меня всякими страхами, но всего страшней был выдуманный Нерон с арфой... Брр!»

Тут надо было свернуть за Ермаком. Лицо Лизы вдруг попало в липкую паутину между двумя елками, и ей показалось, что противный паук пробежал по ее руке.

— Ай! — крикнула Лиза, и ей стало стыдно своего малодушия.

А Ермак опять остановился темной глыбой и заговорил:

— Миша в тот раз, как вы ушли, с горя стихи мне стал читать, а потом кувыркнулся, ну, и прошло.

— Что прошло? — недовольно спросила Лиза.

— Горе, говорю, прошло. Я, как-никак, понимаю такое горе. А вы, впрочем, как хотите...

И Ермак опять прибавил ходу и быстро заколесил по траве, без дороги. Лиза хотела спросить подробнее, что такое он понимает.

Но вдруг между темными стволами увидела вдали, как первый привет — беспокойный кивающий огонь; пламя то разгоралось, краснея, то тускнело, заволакиваясь сизой мутью. «Костер! Это костер! — подумала радостно Лиза. — Как хорошо! Вот он, будущий пышный пожар, который снится не одному Рыбулину... Костер! Как хорошо!»

Уже запахло, обволокло лицо дымом, и слышны стали треск горевшей хвои, хруст шагов и человеческие голоса. Около костра, точно призраки, смутно стояли и сидели люди. Вдали, между соснами, как отражение, был виден другой огромный и буйный костер, а, всмотревшись пристальней, Лиза увидела слабо мерцавший — третий.

Но некогда было глядеть.

Варя подвела ее к суровому бородатому человеку в очках.

— Отец, — сказала она, — вот привела к тебе товарку. Встань-ка да поговори с ней. Дело есть.

«Отец, — подумала Лиза: — А я считала отцом Вари дедушку Тимофея. Как же так?»

— Поговорить можно, — сказал Отец и, сутулясь, поглядывая из-под очков, отвел ее в сторонку.

Когда этот человек держал ее за руку, Лизе показалось, что он ощупывал ее ладонь.

— Рука-то, гляжу, барская. А лицо плохо вижу, — сказал Отец. — Вы все, женки, для меня на одно лицо. Садись на пенек, гость будешь. Портниха, что ли?

— Нет.

— Ну, какое дело?

— Дело в следующем. Я, видите ли, часто бываю у Мефодия Сироты.

— Так. Знаю, — холодно ответил Отец и нагнулся ближе.

— Мефодий устраивает дружину у себя для охраны.

— Так. Дело!

— Так вот, я знаю у него в одном месте корзинка с револьверами, штук десять...

— Ераунинги? — оживился Отец.

— Не знаю какие. Случайно я видела. И вот, если хотите и мне поможете, эту корзинку можно бы извлечь.

— Как не хотеть! — вскочил Отец и заметался, топчась на одном месте. — Такой клад, да не хотеть! — Кого-то он высмотрел у костра и вдруг замахал рукою: — Станко! Эй, иди сюда, деляга! Тут для твоих парней гостинцы можно добыть, а ты, голубок, лясы точишь.

12. СТАРАЯ ПЕСНЯ

Переговорив со Станко и Отцом, условившись о деле, Лиза отошла в темноту и попробовала осмот-

реться. Ее привлек праздничный вид большого костра и значительный кружок собравшихся вокруг него рабочих. Спотыкаясь, она сделала к нему несколько шагов, но наткнулась на юркого человека, который шел прямо на нее. Лицо его было в тени, ей показалось даже — не прячется ли он от нее, и в то же время что-то знакомое в фигуре и движениях померещилось Лизе в этом человеке.

Но она не успела вглядеться, как человек быстро прошел мимо. Завидев у костра тонкий птичий носик Вари, Лиза села с ней рядом и стала слушать.

— Это приезжий, — шепнула Варя.

Лектор просто, но увесисто, помогая словам движением крепкого кулака, рассказывал историю рабочего класса в России. Около него застыли серьезные сосредоточенные лица; кое-кто тихо двигался, подкладывая в теплину большие сухие ветки. Когда в треске и задорной пальбе подымался фонтан красных искр, и пламя, сначала припав, как зверь для прыжка, вдруг вырывалось могучим столбом из-под новых веток, лица всех начинали перекликаться улыбками и детской радостью; от серьезной и напряженной речи облегченно перебрасывались к молодой забаве. Но сосредоточенный густой рассказ о победах и поражениях; блестящих, но рассеянных демонстрациях; стачках, возникавших подчас в темноте, на ощупь; о тюрьме и ссылке и о январском хождении к царю — не прерывался, и простое лицо лектора, несмотря на торопливо бегающие красные блики от костра, было твердо и решительно, и видно было, — крепко в руках держит этот рассказчик сгрудившихся вокруг теплины людей,

Вдруг кто-то коснулся сзади плеча Лизы и, живо обернувшись, Лиза увидела Кукушкина. «Не сидится этому Гоголю на своем кладбище», — подумала Лиза и встала. Неохотно сделала она несколько шагов в сторону и уже вопрос: «что вам угодно?», срывался у нее с языка, как вдруг она похолодела, и здесь, в этом фантастическом сплетении прыгающих и прячущихся друг за друга красных и черных сосен, взлетов огня и мрака, переклички вверху встревоженных птиц, — она поняла, что весь вечер у нее была тайная надежда именно здесь встретить этого человека. Поэтому она невольно, как будто что вспоминая, спросила:

— Что мне от вас надо?

Кукушкин молча пригласил ее дальше от костра, и когда они отошли значительно, он тихо сказал:

— Простите, я оторвал вас. Но, наверное, вам все это известно. Не хотите ли итти из леса?

Плохо различая дорогу, она взяла его за руку, и некоторое время они продвигались молча; вышли, наконец, за цепь патрулей и здесь, вдали от огня, легче было рассмотреть или ощупать ногою тропинки. Наконец, Лиза сказала:

— Что же вы молчите? Вы такой говорун.

— Я думаю вот о чем: около костра, увидя вас, я малодушно отрекся от вас, как Петр. Хотел не узнать и уйти, но меня потянуло назад, к вашему свету, на огонек, и я решил — судьба!

— Вы, вероятно, злы, что я не ответила на ваше письмо и не искала вас вместе с покойниками. Но, во-первых, ваше письмо дурацкое, как катехизис Филарета — оно все из текстов, — во-вторых, его у меня стащила мама.

— Гм!.. Это нехорошо, что у вас такая любознательная мама... Я печален, как мертвец.

— Вы все о том же. Вы, Кукушкин, ужасная притворялка. А в сущности, что вам надо?

— Ничего. Я хочу любить вас.

— Что?!

— У всех страстей бывает пора, когда они являются только роковыми. Тогда они с тяжеловесностью глупости влекут свою жертву вниз.

— Что это? Я не понимаю.

Они вышли на опушку, и Лизе стало смешно. От ночного простора, колыханий и налетов ветра, от огней поезда, промчавшегося мимо, ей захотелось шалить, играть в горелки.

— Угрызения совести неприличны, — говорил Кукушкин как будто сам с собою. — И вообще может ли осел быть трагичным?

— Да ну вас!.. Я вижу вас второй раз, и я уже привыкла к тому, что вы за вашими словами не видите леса.

— Лес-то я вижу. Сядем здесь, у мрачных Стикса вод, в обители теней.

На лужайке еще толпились кое-где группы людей, редея и уменьшаясь. Лиза и Кукушкин отошли в сторону, ближе к речке и стали слушать тихий говор воды.

— Ну, расскажите, Лиза, — можно так звать вас? — что вы извлекли в диком естестве, у костров революции?

— Я чувствую, что я здесь ненастоящая и чужая еще...

— Еще?

— Да. Сегодня два раза узнали меня, и мне, как и вам, хотелось отречься от себя. И когда меня приняли за портниху, мне стало очень хорошо. Эти дни я в большом смятении, я плохо понимаю себя. А на вас я смотрю, как на подозрительного оракула. Неужели вы только и всего, что простой начитанный болтун?

— Нет, я червяк, на которого наступили. Он начинает извиваться. Вы наступили на меня нечаянно.

— Что такое вы говорите! Фи!

— Ах, песню старую, друг милый, зачем затягиваешь вновь!.. Но пока довольно об этом. Любовь — это те ступени, по которым я поднимаюсь. Но горе мое в том, что по этим ступеням я и скатываюсь. Формула моего счастья: прямая линия — Лиза, я люблю вас!

Лиза ничего не ответила. Она оцепенела, и ей стало холодно и страшно. И она заметила, что темно, даже не видно его гоголевского носа, и что мама, вероятно, опять ждет ее и ищет писем и плачет. Бедная мама! И ей стало досадно на маму. Потом досадно на этого непонятного, но привязчивого человека.

— Как темно,—сказала она.—Даже не вижу вашего длинного носа.

— Ни один философ не говорил о носе с уважением!—воскликнул он, ничуть не удивившись таким скачкам в мыслях Лизы.—А нос между тем самый деликатный инструмент в деле познания...

Лиза рассмеялась, а он непринужденно обнял ее и просто поцеловал. Лиза коротко и холодно поцеловала его в ответ и сказала:

— Я это так... так. Я хотела узнать, как это выхо-

дит. А по правилу, надо бы вам повторить то, что я сказала на кладбище: нахал. Помните?

— Помню.

Вдруг Лиза взволнованно вскочила и сжала руки.

— Господи боже мой! Что же я делаю, что делаю!.. Совсем не это мне надо. Скажите, коли любите меня, что мне делать? Почему все это тревожит меня, и я все время вижу их лица; я вижу много лиц, они обступили меня, и мне хочется бежать из дому и вместе с ними браться за оружие...

— В топоры, — ехидно вставил Кукушкин.

— Да, да, в топоры!.. И ничего смешного. Мы — дикие одиночки, мы не умеем слиться вот так, как там, у горячего костра. Мы — одиночки... У нас большая чувствительность. Но мир...

— Мир должен слинять. Все старое — прочь! — сказал Кукушкин с большой тоскою. — Мир должен слинять, чувствительная вы барышня. Одно вечно, одно могуче идет вперед: какой-то всемирный грохот разрушения, отрицания... Воды этой Талки, этого мрачного Стикса, еще только журчат... Но подождите!.. Для старого мира наступило великое испытание, выживет ли он, дряхлый старичок? Правда, у него есть свои заслуги и ордена, у него есть своя почетная история. Но мы входим в полосу великого отрицания...

— Кто это говорит?

— Это я говорю, — Кукушкин. Под нашей революцией таится бездонный, безбрежный океан нигилизма... Ему нужно развязать руки.

И Кукушкин в видимом волнении встал. Вероятно, ему понравилось то, что он сказал. Он несколько театрально хрустнул руками и продолжал:

— Вот вам и в топоры, милая барышня.

— Я вас не пойму. Вы какой-то вьюн. И вы чем-то отравили меня. Это у вас так — жонглерство. А у меня... Нет, вы не понимаете! А я выросла из скорлупы. Мама, папа, Митя!.. Я хотела ехать учиться, но, Кукушкин, скажите: ведь некогда учиться. Нужно делать. Первая революция своя, а там вместе с другими.

— Вот это и тянет к вам. И тянет. Есть люди: у них великие мысли и подлые дела... Лиза, милая, тургеневская, бедная Лиза!..

— Ничуть не бедная. Я не тургеневская и не бедная, я — своя. Оставьте! Мне с вами скучно!

— Лиза! — он взял ее за руки, но Лиза вырвала руки и пошла к мостику.

Она шла, не оглядываясь, не думая — идет он или нет. И ей странно было, что вот-вот минуту назад хотелось бегать в горелки. Город несуразный, громоздивший кое-где чернизины зданий и подымавший черные, будто грязные, длинные пальцы — трубы, город этот из-за насыпи дороги наступал на нее, он требовал к ответу...

Лиза в тоске обернулась и увидела сзади Кукушкина, покорного, как собачка.

— Кто вы? — спросила Лиза со злостью и крепко схватила его за руку. — Не притворяйтесь!

— Я из тех, кто не хочет смотреть, как зритель.

— Вы обманываете?

— Но я не хочу и не ищу удесятерить себя, увеличить во сто раз. Ах, милая Лиза, я не ищу приверженцев, я не ищу нулей!

— Если бы было так! Я согласилась бы быть вашим нулем.

— Лиза! — радостно воскликнул он и тесно приблизился к ней.

Они стояли около какого-то забора, вокруг — ни души. Но Лиза с трудом оттолкнула его и засмеялась. И ей в ответ нехорошо засмеялся Кукушкин.

— Я поцеловал вас, вы поцеловали меня, — это задача из Малинина и Буренина!.. — воскликнул он.

— Ах, вот что пуще всего занимает вас! Вы обрадовались одному лишнему нулю. А как же стихи про старую песню?.. Я поцеловала вас только потому, что мне надо было доказать маме. Она сказала: «Я могу целовать своего Гоголя, а вот ты не можешь». Нет, и я могу!.. Не провожайте больше меня. Мне очень нехорошо, мне тоскливо. Да, старый мир должен слинять, и я буду — плохо, но буду — этому помогать!..

Она быстро пошла, оправляя на ходу свой платок, и только один раз оглянулась: не идет ли Кукушкин за нею? Было темно, где-то надоедно тявкала собачонка, редкие кое-где деревья тревожно трепыхались в ожидании дождя.

Лиза повернула к Варе и прибавила шагу: она боялась, что этот волнующий ее человек опять нагонит ее и опять будет говорить чьими-нибудь чужими словами. Для него любовь — старая песня. Пронырливый нищий!

13. ПОЕЗДКА К МАРЬЕ НИЛОВНЕ

Иван Иванович, длинный и острый, стоял над губернатором; тот сидел уютно в мягком кресле, в руках

его были две телеграммы; в глазах Валерия Аполлоновича гнездились отчаяние от этих кратких телеграмм и скрытое раздражение речью товарища прокурора.

Иван Иванович подошел к открытому пианино и, сердито ткнув пальцем, взял «ля», как будто хотел настроиться; быстро обернулся к егермейстеру и, прислонившись к пианино, скрестив по-мефистофелевски руки, продолжал:

— Ваше превосходительство, даже и департамент полиции...

— Ах, департамент! департамент! — воскликнул Леонтьев. — Много эти департаменты понимают в вопросах оперирования большими массами! Бюрократы в ваших департаментах.

— Даже и департамент полиции, — невозмутимо продолжал Чернявский, — требует быстрой ликвидации стачки и острых мер. Он категорически...

Последнее слово прокурор произнес с особенным зловещим ударением, подымая нижнюю губу к кончику носа.

— Категорически предписывает устранить...

— Взять, схватить, устранить! — трагично взмахнул руками губернатор, причем обе бумажки выпали из его рук. — Краткие слова, легко сказать!

Иван Иванович поймал одну телеграмму на лету, поднял другую и, положив их бережно на клавиши, продолжал:

— Предписывает устранить вольный социалистический университет в лесу, на реке Талке. Ваше превосходительство! — и Иван Иванович взял с клавиш одну бумажку и слегка потряс ею над головою: — Шуя встала. Заразительны дурные примеры.

Прокурор взял другую бумажку и, иронически блеснув глазами, подал ее губернатору.

— Ваше превосходительство, и здесь, — и это крик, крик о помощи. Тейково встало. Итак, бастует или будет бастовать весь район. Я вам предсказываю, Валерий Аполлонович, что остановка фабрик — это еще не все, остановка внесет волнения и по деревням. Анархия потечет по подвластной вам губернии... Ткач и мужик — это почти одно и то же. И вот, и оглядываясь, ваше превосходительство, на Возневань, спросим: а мы?.. а мы — здесь?

Прокламации пачками печатаются у нас под носом и все длинные заборы Возневанска давно стали вторым вольным университетом. Совет рабочих, сбежав на Талку, не подчиняется вашим предписаниям, он диктует свою волю рабочим, и мы еще плохо знаем, что и как там кипит и что за скверная уха или каша завариваются... Ваше превосходительство!..

Валерий Аполлонович встал и, кротко возвратив телеграмму прокурору, подошел к пианино, уронил на клавиши бессильную руку и взял «до». Чисто выбритое приятное лицо его отобразило усталость, потом улыбку и, наконец, некоторую мечту. Он сел и взял несколько мрачных аккордов. Встал и сказал виновато:

— Но мы, надеюсь, все-таки поедем к Марье Ниловне? Как вы, Иван Иваныч? Не следует ведь останавливать очередных дел из-за больших неприятностей.

— Да, мы, конечно, едем. Коляски у крыльца. И Жаки хлопочут. Вам, Валерий Аполлонович, во всяком случае, необходим отдых.

Лицо губернатора сразу значительно повеселело, но он испугался, что так быстро отмахнулся от важной темы и поспешил поправиться.

— Что же вы, дорогой, предлагаете? Что? — воскликнул он, перескакивая опять на прежний разговор. — Мы вывели народ из города, и тонкая операция эта прошла блестяще. Ведь это ж, согласитесь, Иван Иваныч, надо ценить, ценить! Где, какие ваши департаменты поймут это? Вторую неделю в городе напряженнейшее настроение, и что ж? Нет разгромов, все на своем месте, ни одной машины не тронуто, совершеннейшие овцы, я спокойно разговариваю с рабочими, я аргументирую во всеуслышанье, и дни текут в благополучном разрешении. Ведь это, это надо ценить!

— Сей город премогучий, его населяющие купцы и промышленники, они ценят тонкость такой стратегии, ваше превосходительство, но департаменты... департаменты, о!..

— Почему — о? Будем писать и писать им... О!.. Что значит ваше «о», Иван Иваныч?

— Милый Валерий Аполлонович... — и прокурор зловеще нагнулся, как некая птица, и зашептал, хотя их никто не мог слышать: — Вам не к лицу взять в руки нагайку и стать впереди казака, как то делал усач Кожеловский. Что прилично бравому уряднику, то... Но, милейший, ваш вице, ваш Сазонов, все это проделает и не поморщится.

— А сила вразумительного слова, слова, на которое я рассчитывал! — горестно воскликнул Валерий. — Вы, прокурор, не даете мне произвести интереснейший опыт по укрощению масс. Я верю — и исповедую, —

прибавил он, подумав, — что английский способ лучше ведет к цели. Ах, но мне трудно сознаться!.. Но в этой варварской стране, где эти надутые департаменты плавают в океане тьмы, как ноевы ковчеги, да, я сознаюсь, в этой стране со своими методами я погиб...

Некоторое время потускневший Леонтьев сидел, потупив голову и бессильно уронив руки; вдруг он начал смеяться, как бы в истерике, и, наконец, весело встал, поднял голову, и в его глазах было видно, что выход найден:

— Прокурор! Прокурор! Прокурор! Ах, ревнивый Мефистофель! — и он, как мальчик, двигаясь вокруг Чернявского, стал бить в ладоши. — О, я знаю, знаю, я насквозь вижу, мой умнейший прокурор!

— Ваше пре...—смутился Чернявский.

— Ах, оставим это «пре». Ах, оставим! — и алерий потянул прокурора за рукав.

Тот переломился вдвое. Губернатор зашептал:

— Наш хитрейший Улисс, прокурор Иван Иваныч, сильно желают, пока их нет у себя дома, иметь под рукою и поближе Сазончика, так, на всякий случай, так, это я уразумел, ибо ваша милейшая Неточка, особенно в отсутствии своего Мефистофеля, уважает быстроту, глазомер и натиск... И я... Ха-ха-ха!.. Для вас... Только для вас... Ха-ха-ха!..

Пока егермейстер заразительно хохотал, Иван Иваныч мрачно передернул плечами и сел в кресло: не обращая внимания на губернатора, он, держа в той и другой руке все те же злополучные телеграммы, будто взвешивая их, пристально всматривался в них, сравнивал и изучал... Он вобрал голову в воротник

и совсем и никак не замечал Валерия Аполлоновича. По методу Левенца он подверг себя строгой изоляции.

Через полчаса все же две коляски, сопровождаемые тремя конными казаками, весело катились по дороге на Кохму. Беспечный Валерий силился расшевелить мрачного Чернявского и не безуспешно. После обильного майского дождя, который прошел ночью, дорога благоухала зелеными ракитами, молодой листвой берез и тополей; в передней коляске неутомимые Жаки так громко смеялись и были так непоседливы, что их егозливое настроение сообщилось, наконец, и задней паре, и даже Иван Иванович вдруг расправил морщины на лбу и попробовал что-то промурлыкать под нос.

— Это что? Стихи? — спросил игриво губернатор.

— Да, как будто, — и прокурор опять замурлыкал:

И море и буря,
И море и буря
Качали наш челн...

Только один раз за всю восхитительную дорогу, еще недалеко от Возневанска, губернатор вздрогнул и нахмурился. Шел по дороге навстречу какой-то строгий человек с палкой. Был он сутулый и в очках и хорошо был освещен умывшимся за ночь солнцем. И большая борода его, и шляпа, и что-то свернутое в руках показались егермейстеру очень подозрительны. Особенно взгляд больших, обведенных очками, глаз. Но неизбежно, неумолимо коляска неслась к этому суб'екту. Вот, близко. Губернатор трепетно откинулся к спинке и подумал: «Покушение...» Но проехало — и ничего. Обернулся и выглянул. Шел все

также человек с палкой, шел деловой походкой и даже не пожелал полюбоваться на губернаторский выезд.

Был этот сутулый человек — Федор Афанасьич: он ходил навестить свой архив в корчаге.

14. АЛЛЕЯ ВЗДОХОВ

Многочисленные Несюнины, сотрудник «Нового Времени», Митя и Лиза Замуравкины и еще кое-кто были у Марьи Ниловны. Сотрудник, будто весь лакированный, от штиблет и до головы, несмотря на скромное звание писателя, являл собою образчик самоуверенного петербургского стиля: он привез с собою легкое пренебрежение северных департаментов к этому грязноватому ситцевому царству, где не столько служат, сколько как-то там работают; он привез полный короб свежих сплетен и чиновнических анекдотов, как образец того, как у нас делается история; он привез и бесстыдный цинизм мысли, свойственный духу своей газеты. С этим влиятельным лицом приходилось считаться, и губернатор старался его обворожить приятностью своих глаз и трезвостью своих политических взглядов.

— Так вы думаете, что революция идет?

— О, да, ваше превосходительство! Она идет.

Но при этом он так непринужденно помешал ложечкой стакан чаю, что ясно было видно: при всякой революции у этого щеголя останутся все те же лакированные ботинки, прекрасный белый жилет и самоуверенные манеры.

— Кругом все стало розово, ваше превосходительство, и даже мы обязаны все видеть в розовом свете.

Народ услаждают приманками демократизма, и господа струвисты из-за границы протягивают свои щупальцы... О, мы очень хорошо понимаем, чьи это штучки-с.

Несюнины были ловкие, дельные и культурные купцы; только один из них — в семье не без урода — имел странную приверженность к искусству и говорил о театре, как о самом главном и близком. С ним губернатору было хорошо.

О подвигах Мити кое-что слышал Валерий Аполлонович, и этот тихий юноша с тяжелым взглядом и неповоротливым языком вызывал в нем смешанное чувство: удивления и брезгливости. Шли слухи о связи Митеньки через Шлегеля с самим Треповым.

Хозяйка дома была кругла, мила, умна, но слишком монументальна, что не вязалось с игривостью ее мыслей. На ней было навешено и приколото все, что можно; вся движимость, и каждый поворот ее красивой головы, и каждое движение ее пышных рук или плеча, и каждое ее звучное аппетитное слово,— все говорило губернатору, что бархатная Марья Ниловна — миллионерша. Она, казалось, не двигалась, а звякала и блестела металлами, и некоторые ее особо пышные места выглядывали мешками, туго набитыми золотом. Все Несюнины простодушно не скрывали своего восхищения перед Марьей Ниловной, и прокурор назвал их — семь богатырей.

Митя, сидевший большею частью по левую руку хозяйки, изо всех сил старался быть мужественнее и умнее. Теперь он не казался таким скромницей, как бывало раньше, и в отношении к этому плотному юнцу семь Несюниных выказывали заметное подобострастие. Даже иногда что-то ухарское проглядывало

в Мите, он обводил стол и гостей уничтожающим взглядом, как человек, которому на все наплевать, и вот он собирается сдерзить и выкинуть штуку; под этим взглядом краснел и смущался сам Валерий Аполлонович. Но ничего особенного не происходило, Митя опускал глаза и начинал смотреть в тарелку.

Марья Ниловна умело и грациозно, хотя не без некоторой царственной властности, делила свое внимание между Митей и губернатором.

Самое несомненное, бьющее в глаза, что было в красоте Марьи Ниловны, это ее соболиные брови — они горделиво играли, нервно жили на ее лице и своими изгибами и сдвигами, как стрелки инструмента,—обозначали тончайшие настроения и мысли хозяйки.

Рядом с Марьей Ниловной губернатор вполне растворялся в некую безграничную приятность, и только прокурор в эту бочку сладкого меда губернатора нет-нет да и вливал ложку своего дегтя. Но по капризу человеческой пресыщенной психики, именно благодаря нес'едобности и злостной пахучести этого прокурорского дегтя, Иван Иваныч весь день имел большой и заметный успех. Несмотря на лакированного сотрудника влиятельной петербургской газеты, несмотря на талантливо-размашистого театрала Несюнина и самого обворожительного в английском сентиментальном стиле Валерия Аполлоновича, да, да, умница-Чернявский имел неоспоримый успех. Успех, как у Марьи Ниловны, так и у всех остальных. У всех — хотя бы потому, что несравненная Марья Ниловна задавала тон всему обществу.

И одно, только одно беспокоило все время губернатора в этой легкой качке по соревнованию, — одно,

подобное сегодняшней встрече с сутулым странником в подозрительном гриме (очки и борода). Беспокоило лицо Лизы Замуравкиной.

Глаза! Глаза эти слишком большие для худенького лица горели неприятным восторгом, таким излишним здесь, в рамках благовоспитанной приятности. Далее, в этих глазах было слишком много внимания к особе губернатора, это было не нужно. И в то же время, когда висели в комнате игривый анекдот сотрудника газеты или желчная шутка Чернявского, глаза эти начинали отображать мировую скорбь, отчего губернатору в раздражении хотелось спросить: «Что с вами?» Но вообще говоря, трудно точно сформулировать, что беспокоило Валерия Аполлоновича в какой-то Лизе да еще Замуравкиной.

Жаки отлетали от Лизы, как мячики, но им в утешение были три краснощеких племянницы Несюниной: в этих трех будущих купчихах было столько здоровья и полновесной радости, что они готовы были долго и заразительно смеяться всякому пустяку, который изрекали Жаки.

Сюрпризом дня было предприятие второго Жака (Шурочки), который организовал музыкальное выступление Валерия Аполлоновича: под аккомпанимент Жака Валерий сыграл несколько тонких вещей на виолончели, добытой Несюниным. Всем было видно, что егермейстер двора управляет смычком не менее искусно, чем губернией, и сладкую послеобеденную грусть и дрему навеяла музыка губернатора даже на скрытого героя и явного скромницу Митеньку.

Когда Шурочка (Жак второй) исполнял, сидя за пианино, свой романс «О, не гляди на эти розы», Чер-

нявский тихо и загадочно пригласил Валерия Аполлоновича в комнату, отведенную губернатору, и здесь курьер, приехавший из N—ска, вручил ему письмо Маргариты Оттовны.

— Что же? Значит, ехать? — спросил вдруг упавшим голосом Валерий Аполлонович, пробежав письмо и усаживая товарища прокурора. Он покусал губы.

Оба закурили.

Некоторое время молчали, неловко и тяжело, разглядывая друг друга вопросительно.

— Странная заботливость, — наконец, сказал Валерий. — Все забывают о моих трудных обязанностях и долге перед... перед...

От волнения губернатор не мог продолжать. Он опять помолчал. Наконец, снова заговорил:

— Все любят меня, не могу не верить, и всем грезятся везде эти дурацкие бомбы. Бомбы! Когда мы слушаем Моцарта и Глюка — бомбы! Когда мы таем от волнения в присутствии обворожительной хозяйки — везде бомбы! Я не должен бы, да. Но я буду тверд: все хотят, чтобы ехать... Прекрасно.

Прокурор покосился на письмо из N—ска и невинно заметил:

— Ехать, так ехать...

— Сказал попугай, когда его кошка потащила за хвост, вы хотите сказать? — спросил Валерий Аполлонович, и вдруг кровь ударила ему в лицо, и он, отвернувшись, стал ронять беспорядочные слова: — Сыск по пятам... Шлегель или Левенец, или кто?..

— Но кто же, кто, скажите, Иван Иваныч? — И обернулся, трагически. — Каждый шаг... гнусная сплетня!.. О, как я одинок! И я понимаю: власть...

— Что власть?—кротко спросил Иван Иванович.

— Я понимаю тяжесть власти... Если я уезжаю, знайте, Иван Иванович: все летит кувырком!.. Но я еду, я еду. И мы кончим этот разговор. Мы здесь, кажется, ночуем?

— Ваше превосходительство, как вы желаете.

— Нет, почему же — зачем огорчать хозяйку? Идемте... Не будем огорчать хозяйку...

К концу дня общество было приглашено прогуляться в роскошном парке, примыкавшем к дому великолепной вдовы Марьи Ниловны.

Парк растворил гостей, как вода — сахар, и скоро голоса их, глухо замирая там и тут, были укрыты тенистыми сводами старых елей и лип.

Валерий Аполлонович шел раздумчиво под руку с Лизой, и сзади, тесно прижавшись, Митя с Марией Ниловной. Они шли по огромной еловой аллее, которая подковой обнимала весь густой парк. Эта аллея называлась «аллея вздохов». Но Марья Ниловна, нажимая могучими бедрами, задержала Митю, и они сели на скамью.

— Вы видели мои альбомы, Митя?

— Ваши альбомы? Нет. Я не видел их, Марья Ниловна. Но я хотел бы их видеть раскрытыми.

Несюнина шаловливо ударила его по руке.

— Как вам нравится наш губернатор? — спросил Митя.

— Очень!

— Чем же «очень»?

— Он приятно и очень мило сыграл Моцарта. Нужно чистую и молодую душу, чтобы так чувствовать музыку... Митя, вы любите искусство?

— Я люблю русские песни, еще я люблю ваши альбомы...—и жадно, тяжело наступая, Митя стал искать ее губы для поцелуя.

— Я покажу вам... эти альбомы!.. — отбиваясь и смеясь, сказала она и встала. — Митенька, не шалить! Идемте.

Губернатор, долго ничего не говоря, прошел по «аллее вздохов» под руку с Лизой. Огромные темные стволы, нависшие лапы, полумрак и эта девушка, как фея, возникшая здесь в тишине и не решающаяся первая нарушить молчание, — все это растрогало егермейстера. Он вздохнул.

— Аллея вздохов... но она так тяжеловесна и строга, и длинна — смотрите: ей нет конца. О, это аллея стонов!

— Ваша музыка растрогала вас, — сказала осторожно Лиза. — Вы вздыхаете, Валерий Аполлонович?

— Благодарю вас. Я очень счастлив в вашем обществе... хотя вы целый день беспокоили меня, как предчувствие...

— Я беспокоила вас, Валерий Аполлонович?

— О, да! Глаза — зеркало души... Вы знаете, я завтра уезжаю из Возневанска, — неожиданно обернулся он и посмотрел снисходительно на смутившуюся будто Лизу.

И, не ожидая ответа, он заговорил горячо, прибавляя шагу:

— Я должен уехать. Все они, все хотят. Но море крови... море крови!..

Лиза вздрогнула и остановилась.

Губернатор опустил ее руку, подошел к старому мощному стволу и отковырнул кусочек смолы.

— Вот! Смотрите, вот, — воскликнул он: — деревья!.. Вот. И я, как в лесу. Я губернатор, я егермейстер

высочайшего двора, и мне некому пожаловаться. Чудная девушка! Прекрасная девушка! Разрешите мне поцеловать вашу ручку...

— Ваше превосходительство, — сказала Лиза; она подняла голову, и взгляд ее в этих зеленых сумерках обдал горячим блеском губернатора:—о каком море крови вы сказали?

— Нагайка, — воскликнул Валерий Аполлонович и пошел вперед; рядом с ним шла Лиза: — Нагайка—вся их мудрость! Им недоступны тонкие нюансы политики. Все они — контрабас и труба. Барабан, барабан! Но, Елизавета Ильинична...

И они опять встали. Здесь был поворот аллеи направо, и там, дальше, как будто было еще сумрачней и тягостней, и туда не хотелось итти.

— О каком море крови вы сказали? — опять тревожно воскликнула Лиза.

— Они не умеют ценить, ценить! Их департаменты жаждут Сазоновых. Но Леонтьев, Валерий Леонтьев, — он не возьмет нагайку, и он не встанет впереди казака... нет, он не встанет, как его бравый урядник. Да-с! Впрочем, что ж?... Зачем я вам? Простите... В эту аллею я внес вздохи ненужные, речи бессвязные... Ах, я даже стихи, стихи!..

— Валерий Аполлонович, я поняла вас так... — твердо сказала Лиза.

— Как... как вы меня поняли? — и он посмотрел на нее, выпрямившуюся и будто выросшую, с некоторым удивлением.

— Наши фабриканты, очевидно, хотят видеть на вашем месте вице-губернатора Сазонова? Войска — драгуны и казаки — на изготовке, и вы, Валерий Аполло-

нович, — единственное препятствие. Так? И вы... Нет, это невозможно, ваше превосходительство!

— Да, это невозможно. Но странно, что вы об этом заговорили со мной. Кто и откуда вам дал этот тон? И наконец, вы понимаете, что я должен умыть руки! — вскричал повелительно губернатор, забывая, что он с этой девушкой просто гуляет по «аллее вздохов».—И вас я прошу... Что такое? Да, я решил: я еду, — это мое решение, я подчеркиваю категорически. Я брошу этот город на произвол Сазонова. Они хотят, они молят об этом, и я брошу-с!

— Жалкий трус! — воскликнула Лиза, вся затрепетав и отступив на два шага.

— Что? Что такое?—оторопел губернатор, вскидывая удивленно глаза на Лизу и плохо понимая — с кем он.

— Дрянь и тряпка стал всяк человек. Трус! Вы трус! — и Лиза в смятении сделала какой-то непонятный, но угрожающий жест, причем в испуганных глазах губернатора будто мелькнуло что-то, или ему показалось.

Он быстро повернулся и, как на крыльях, побежал назад по темной аллее. Колючие лапы раза два высекли его по глазам; вздрогнул: дикая девушка гонится за ним, бесноватая, она ловит его, у нее револьвер, бомба... что у нее? — о жизнь, жизнь! Маргарита, спаси меня!

Заговор — ясно, и он в окружении, и никакая не Лиза... И Валерий Аполлонович вдруг вспомнил старый рассказ про покушение в саду на Александра II, и он, так же, как и догадливый Александр, побежал зигзагами.

Длинный мрачный коридор парка был бесконечен. Жутко дышали и шевелились тени и деревья. Добежав до скамьи, Валерий Аполлонович почти повалился на нее. Тишина, никого. Никто не бежит. Сочный поцелуй — и вдруг вышли Жак первый и одна из племянниц Несюниной.

— Здесь занято! — раздался звонкий женский голос.

— Тс... тише, тише! — схватил губернатор за руку Жака и, озираясь, отвел его в сторону.—Мальчик милый! Вы? Мальчик мой!

— Что с вами, ваше превосходительство? Что с вами? Позвольте, я доведу вас? Ради бога, что случилось?

— Мне... несомненно...—с трудом произнес губернатор, — мне почудилось. Но, милый Жак, не отходите, и мы сейчас едем.

Челюсть его тряслась, и был он слаб и беззащитен.

— Едем?

— Да, в эту ночь, да. Я должен ехать, должен ехать, в N—ск. Слышите, Жак? И ни шагу от меня.

В эту ночь, действительно, выехали в N—ск со станции «Возневаново» первый Жак и егермейстер высочайшего двора Валерий Аполлонович Леонтьев. И даже неумолимый товарищ прокурора был не мало удивлен быстрым бегством губернатора.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

1. В ДВА СЧЕТА

— Слышали, господин полковник?

— Так точно, слышал, Дмитрий Ильич, слышал-с.

— А что вы слышали?

Живот Кожеловского игриво заколыхался от легкого смеха; пушистые усы раздулись, как от ветра, и он положил обе руки на широкие плечи Митеньки.

— А вот и ничего не слышал. Не слышал, пока вы не скажете.

— То-то и есть, господин полковник! Спите и почиваете.

— Никак нет, не спим, не спим-с, Дмитрий Ильич. Действуем. Какая рань, а видите — на ногах.

Действительно, солнце еще чуть-чуть продиралось, будто застряв в дальних трещинах между корпусами фабрик и заводов; мутная сизость плыла еще над улицами, и унылая канцелярия полицмейстера была пустынна.

Загадочный паренек — Митенька — внушал некий страх, будто какое тайное начальство — ишь, прискакал спозаранку! И Кожеловский решил, что фамильярность от таких треповских подручных самое лучшее спасение: донесет еще, сукин сын; такой и отца не пожалеет, недаром говорят, что он будто бы подкинул в стол отцу «эрфуртскую» какую-то прокламацию...

— Губернатор Леонтьев спешно уехал.

— Так точно, слышал, в Кохму.

— Не в Кохму.

— А куда же, осмелюсь спросить, прах и пепел? А куда же? Думаете, спим и почиваем. Нет, Митенька, мы тоже на марьяшиных журфиксах китайский чай пивали...

И Кожеловский независимо расправил свои пышные усы и приподнял плечи.

— Не в Кохму, — сердито воскликнул Митя, — а совсем наоборот, в N—ск, к Маргарите Оттовне под крыло. Вы изволили проспать.

— Уехал! — воскликнул Кожеловский. — Покинул Возневанск! Совсем? Нет, что вы говорите! Дмитрий Ильич, господи, да неужели правда? В N—ск совсем... да не может быть?! Голубчик вы наш, и как это вы его уломали? Не ехал, не ехал, и вдруг в два счета.

Митя нахмурился и сказал важно, с достоинством:

— Этого я не могу вам сказать, как я на него воздействовал. Это секретное. Ждите теперь на смену вице.

— С этим-то мы — пара пустяков! Тот был тонок да жилист, его не поймешь: ходишь, ходишь вокруг на цыпочках, и чорт его знает, господи прости, что он за птица такая, и что у него за соображения. С винтом или без винта, — поди, рабери. А с Сазоновым мы... Эх, Дмитрий Ильич, обрадовали вы меня! С Сазоновым мы разделаем под орех, вот увидите. Нечеловек, а молния. У нас порядок—в два счета!.

— Хорошо-с, господин полковник. У меня к вам двойная просьба.

— Голубчик, хоть тройную, хоть четвертную. Ведь я вашему папаше почтенному, уважаемому папаше на «ты»—мы пили на брудершафт у Жохова, на балу. Оно, положим, Илья Петрович не пьют. Не пьющий. Человек строгих правил. Пригубил только. Ну, а все-таки. Итак: двойная просьба. Слушаю, батенька: хе-хе, двойной золотой ярлык, ну?

— Нет, без шуток. Во-первых, я знаю, в управе есть заявление рабочих, от Совета их, об учреждении своей рабочей милиции.

— Шиш с маслом... получат они милицию!..

И Кожеловский выругался по-матерному.

— Ну, да, но Леонтьев, говорят, умилялся и закатывал глаза. Он говорил: «Они прекратили пьянство, игру в карты и косточки, они установили забастовочную этику».

— Что? Этику!—и Кожеловский, расхохотавшись, выругался опять смачно.—Простяга ваш Леонтьев. Этику! Ах...

— Не наш, а ваш.

— Возьмите его себе!

— Во всяком случае они заявляют, что берут охрану города целиком в свои руки.

— Что-о-с!—заревел полицмейстер, забыв, с кем имеет дело.—Охрана города вверена мне, и я даже самому его превосходительству Трепову не позво-о-о...

— Вот, вот, именно. На заявления рабочих следует дать категорический отказ.

— Вполне категорический,—сказал важно Кожеловский и, замолчав, выпятил вперед свою мощную грудь и прошелся петухом около Мити.—Потрудитесь же сказать в два счета, в чем ваша вторая просьба.

— Это более тонкое дело.

— Ну, ну, тонкое.

— Во-первых, у нас есть сознательные кадры среди рабочих, которые не прочь вернуться к работам. Ждите этого со дня на день.

— А завод-то кирпичный Брейера, слыхали?

— Слыхал.

— Прекращает забастовку.

— Ну, да Завод — пустяки. Это, во-первых, окраина, во-вторых—кирпичный...

— Ну, да, ну, да, там все темные мужики, от земли. Но там-с вам, Дмитрий Ильич, как раз и прощупать... Вот вам где кадры... Мужики дюжие, они за шкалик чорту душу продадут...

И Кожеловский, нажимая брюхом, припер Митю к стене и зашептал:

— Батюшка ваш — сизый орел, а уж вы, Митенька, с позволения сказать,—переорлили!.. А? Верно говорю?

— Нет, позвольте...—с трудом освободился Митя.— Вы меня не дослушали. Дело вот в чем. Они ставят вооруженные патрули и возвращают вспять желающих итти на фабрику. Это же возмутительно. Будьте добры принять меры. Это как раз просьба папаши.

— Принял! Принял-с! — воскликнул Кожеловский.— Вы подумали, а я сделал. Сейчас сам еду в об'езд. Мы счикнем все эти патрули, уверяю вас, в два счета.

И он, позвонив, кинул вошедшему городовому:

— Лошадей! Коляску! Одного сопровождать. Живо!

— Слушаю,—ответил тот и быстро скрылся.

— У меня Америка здесь, а вы говорите. Стрижена девка косы не заплетет... А вы говорите! Спите и почиваете! Эх, Дмитрий Ильич, в Питере будете, за-

молвите словечко: есть, мол, там такой Кожеловский, что называется — мы сам с усам, — вот! Америка, а не человек. Ночей, мол, не досыпает, жизнь ставит на карту... Полушка—жизнь, лишь бы результат был виден. Эх, да что говорить! Пожалуйте сюда, я вам секретный экземплярчик покажу. И у нас своя веточка. У них магистраль, а у нас веточка. Мы тоже не какая там немчура—Левенец, Шлегель... Нет, Митенька, мы по истинно-русски... Сам с усам, как костромичи говорят. Сам с усам! Пожалуйте!

И Кожеловский сильным ударом, хмыкнув при этом в усы, подтолкнул Митю в широкую спину. В соседней комнате стоял типичный городовой, но переодетый в штатское. Он быстро оправился и подтянулся, увидя вошедших.

— Кузьмин, ты еще здесь?

— Так точно, ваш высокбродь, здесь.

— Чего же ты ждешь?

— Инструкций, ваш высокбродь.

— Хитрая бестия ты, Кузьмин.

— Никак нет, высокбродь. Несу посильно службу.

— Ну, неси, неси...—и Кожеловский прибавил крепкое слово.—Неси, сукин сын, только не двурушничай. Есть, братец, слух, что ты и у Левенца пенки снимаешь, а?

Кузьмин побледнел, посмотрел тревожно на Митю, глотнул воздух и ничего не ответил.

— То-то, обробел, хамская твоя душа! Ой, смотри, коли правда...

— Клевещут, ваш высокбродь.—Нестоящие внимания слухи, ваш...

— Сделаю я тебе во весь горшок пенку...

— Клевета, понапрасну пущено, не иначе из зависти, ваш...

— Ну, ну, не волнуйся. А ходи все-таки в страхе. Знай, я тебя сквозь вижу, сквозь мундир, я землю под тобой на два фута насквозь вижу. Понял? Ну, повтори барину, что вчера видал. Барина знаешь?

— Так точно, ваш высокбродь, будто сдается Замуравкина сын.

— Ну, вот, сдается, оно так и есть. Повтори рапорт. Повтори, не бойсь.

— Слушаюсь.

Кузьмин вытянулся, сделал шаг вперед и заговорил быстро:

— Имею честь сообщить: особо больших инцидентов никаких за этот срок не произошло...

— Чего-с? — воскликнул полицмейстер. — Ах, шкура, какие ты слова запускаешь! Инци...

— Необходимо все революционные слова знать,—ответил Кузьмин, не смущаясь.—По долгу службы стараюсь посильно образование свое пополнить.

— Ну, ну, валяй.

— Лица, сомнительные в политической благонадежности, по всей видимости приезжие, под названием «московские», имеют место сборищ в деревне Завертяихе. Остается только определить дом.

— Ты и определи.

— Слушаю-с. Есть намек, что в доме Синицына, не в том, а в отличие от другого Синицына, так сказать, в пятистенном. Будут наведены справки.

— У меня в два счета, не то убегут,—воскликнул Кожеловский.—Ну, дальше.

— Далее-с. Атмосфера в городе сильно накалена, как выражаются приезжие, и рабочие по тупости своей считают положение свое твердым. Хотя и обзаводятся оружием. По этому делу тут ходят наши, но ничего пока дознаться не сумели. Есть такой, по фамилии Станков, — слышали, между прочим, но видеть не привелось. У них это первый боевик-организатер.

— Узнать, выследить и взять!

— Слушаю-с.

— Вчера, близ реки, как замешался я согласно ваших инструкций в толпу, тут оратор выступил, ростом ниже среднего, костюм пиджачный, как бы это сказать... поношен, темно-коричневого цвета. Брюки у него навыпуск, фартовые, фуражка обыкновенная, черного цвета. Лицо белое, без бороды, на вид молодой. Тут он держал вредную речь к публике.

— Ну?

— «Господа, — говорит — просимое нами у хозяев не удовлетворяется. Мы бы настояли на том, но нам мешают наши враги — солдаты».

— Так и сказал?

— Так и сказал, стервец. «Теперь, говорит, нагнаго их много, нам с ними бороться не под силу. Мы будем покамест бастовать, а между тем надо вести пропаганду и агитацию в войсках». И тут ему стали хлопать и кричать — «так точно». Тут выскакивает несколько лиц мужского пола, становятся в кружок и под личным руководством того оратора поют революционные песни по адресу государя императора и генерала Трепова. И среди них один, по прозванию Ермак, с гармонью. Вообще замечено, что оный Ермак везде и всюду пускает свою гармонь, как революционное средство.

— Слыхали?—воскликнул Кожеловский.

— Слыхал,—спокойно сказал Митя и улыбнулся тихо и загадочно, глаза вниз.

— Нет, что— слыхали! Вы подумайте, они треплют в своих паршивых песнях честное имя генерала Трепова,—слыхали?

— Как наш Трепов генерал всех жандармов собирал!—пропел Митя и добавил, к великому изумлению полицмейстера.—Я сам певал на вечеринках эту песню.

— Так точно,—сказал подобострастно Кузьмин.—А то вот еще, у меня записано.

И Кузьмин порылся в кармане и, достав мягкую бумажку, прочел:

Всероссийский император,
Царь жандармов и шпиков,—
Царь-изменник, провокатор,
Содержатель кабаков...

— Ах, вот как!—покраснел, как рак, Кожеловский.—Это они так обсуждают свои интересы! Так вот как. Отли-и-чно!..

— Коляска готова, ваш высокобродь,—крикнул городовой на пороге.

— Еду... Ну, будет тебе трепать языком. Дай мне эту бумажку и ступай. Делай, как я велел, да гляди...

И грозный Кожеловский поднял палец, но он им не помахал, а только указал на потолок и добавил:

— В два счета.

— Слушаюсь!—быстро ответил Кузьмин и вышел из комнаты.

— Что, видали? Хорош экземплярчик, хоть бы и Левенцу подстать, а?—воскликнул полицмейстер.—

У нас круговая порука. Я немцу не верю, прошу со мной держать контакт-с, со мной, а не с немцами. У меня видите как? Хороши хваты? Как это он сказал? Инци...инци... вот, сволочь!

— Инцидент.

— Во, во, инцидент!

И Кожеловский, хохоча, натянул перчатки и, приложив руку к козырьку, взял Митю под руку и пошел к выходу.

— С собой не беру. Вам рядом со мной не сидеть. Ха-ха! Фирма фирму портит... Ну, Дмитрий Ильич, поклон папаше. Скажите Илье Петровичу — он, уважаемый, подумал, а мы — в два счета.

Коляска, сопровождаемая одним конным, приготовилась быстро и весело нестись в утреннюю марь города Возневанска. Лишь только Кожеловский грузно ступил на подножку, красный петух испуганно метнулся из-под колес и с диким криком, перелетев канаву и тротуар, взгромоздился на забор. Оттуда он закричал: «кукареку»!

— Я тебе, я те-бе, красный горлопан! — погрозил Кожеловский петуху и крикнул кучеру в самое ухо:— На рысях у меня. Живо.

2. ПАТРУЛЬ

Морозов и Сикавин тихо подошли к крутому, заросшему всякою дрянью, оврагу, близ фабрики «Кампания». В ранних сумерках фигуры и голоса звучали глухо.

— Здесь,—сказал Сикавин, поежился и кашлянул.

— Ну, здесь, так здесь, мы не спорим.

Морозов сел в мелкие щепки на край оврага, долго пристраивал поудобнее ноги и лениво зевнул:

— Рань-то, мать честная, и зачем ты меня от подушки оторвал... Спать бы, по совести говоря...

— У тебя что? — спросил сурово Сикавин, хватаясь руками за лопухи и подсаживаясь на корточках к Морозову, который что-то блестящее положил на траву и потер бумажкой.

— Простая бульдожка. Цена ей три копья. А у тебя?

— У меня браунинг, хорош, да чужой. Насчет горяченького у нас не густо. Теперь бы, Вася, каждому рабочему в руку револьвер...

— Эге! — присвистнул Морозов. — Куда ты, Ваня, закатился! Большой ты юморист. То-то у тебя глаза такие мечтательные, как две жигалки. Каждому в руку револьвер!.. А еще чего не хочешь?

— Нет, кроме горячего оружия ничего не хочу.

— У нас, Ваня, говорят: не до горячего, лишь бы ноги корячила...

И Морозов, сказав это, ухмыльнулся, и вдруг вспомнил танин горячий, но насмешливый поцелуй и «Вихри враждебные». Вслед за этим встало в его воображении неясное, как луна, лицо студента Замуравкина, о работе которого доходили кое-какие загадочные вести. «Рыбулинский свечкодуй, — злобно подумал Морозов, — доберусь я до тебя, папенькин тихоня...»

И вихрь нахлынувшей враждебности заставил его громко выругаться.

— Ты что ворчишь? — тихо спросил Сикавин, ежась от утренней прохлады и вздергивая свои острые чахоточные плечи. — Злой ты, Вася, а добрый. Приходили

злыдни, прогостили три дни, и больше их нет, и Васенька опять добрый ходит. Что ворчишь и плюешься?

— Что ворчу? Пащенок тут есть один, вашего управляющего сын...

— Знаю.

— Ну, так вот: вредный он...

— Знаю.

— Знаешь, а молчишь.

— А чего же зря звонить. Придет наше время.

— Какое такое время?

— Такое... — протянул Сикавин загадочно и обвел все кругом своими черными глубокими глазами: — Тихо повсюду и безлюдно... Гляди. Простоим так себе. зря, как и вчера около Полушина. Где они, эти самые штрейкбрехеры?

— Спят без задних ног. Нет штрейкбрехеров, есть дураки. Те гуляют.

— А ты, Вася, понапрасну не злобься, гляди, как чудно: стоят и не дышат великаны...

— Это какие?

— А корпуса-то. Не чудно ли: не дымит ни одна труба, вся Уводь уснула, прижукнулась. Ни шуму, ни треску... Будто сказка...

— То тебе не сказка, то наша твердая пролетарская воля. — И Морозов протянул кулак. — Ты так, Сикавин, говори, по-новому.

— Нет, я люблю речь старую. Дела новые, а речь пусть по-старине. А чуешь? Сама Уводь—грязнуха изменилась и не воняет. Нет никакой нечистоты. Вдохни-ка воздух.

— Нет никакой эксплоатации трудящего народа и, стало быть, нет никакой нечистоты. Как загадят воз-

дух, чтоб тебе не дыхнуть, значит у нашего брата опять веревка на шее...

— Значит, Вася, много всего накопилось, досыта, что вдруг все такие махины разом — как не бывало — стали... Тут десятки лет накапливались... Тут поту-то одного, поту рабочего что! Тут его протекли цельные реки...

— Вот оттого и безлюдье кругом,—сказал наставительно Морозов:—умаялись люди, на много дней спят. И ничем их не сманишь. Пусть хоть замуравкинские образованные щенки орудуют, все равно не сманят.

— Стой. Шаги,—коротко сказал Сикавин и вышел на дорогу.

Показались три женщины в платочках. Впереди была разбитная, с рябым лицом. Сзади, на некотором расстоянии, робко шла четвертая.

— Куда, женки? — спросил Сикавин, загораживая дорогу.

Рябая оттолкнула его в сторону, но встала, увидя еще сбоку плотную фигурку Ермака — Морозова.

— Здравствуй, нос красный,—задорно ответила рябая.—Аль тебя еще не словили, баулинский хороводник?

— Не словили еще,—угрюмо ответил Ермак.—Куда, женки, пробираетесь такую рань?

— В контору «Кампании»,—ответила тихая сзади.—Пропустите, товарищи.

— А зачем?—спросил Сикавин.

— Сказывают, новых набирают. Скучно без делов. Да и проелись.

— Сказывают, уступки будут... — прибавила еще одна, обходя Ермака: на новых условиях...

— Что вы ему докладываете!—воскликнула рябая.— Куда идем, туда и идем. Нынче без командиров.

— Что ж вы думаете: из-за вас четырех фабрику пустят?—воскликнул Сикавин.

— Зачем, из-за четырех, — ответила маленькая хорошенькая ткачиха, — один за один, — глядишь, и сотня. Сегодня многие собирались.

— Ну, вот что,—увесисто сказал Морозов и посмотрел тяжелым взглядом.—Ходи, женки, назад. Нынче штрейкбрехеры уничтожаются, слышали?

При этом он перекинул бульдог из одной руки в другую и сунул его в карман.

Женщины, вздохнув, отступили, но рябая закричала пронзительно:

— Каки-таки штрикбрехеры! Ты что, толстые мясы, распоряжаешься нами? Ты что?

— Ну, ну, ходи, ходи! — сказал спокойно Морозов, поворачивая за плечи рябую.

— Женки! — вскричал страстно Сикавин. — И не стыдно вам подрывать общую забастовку. За кого идет борьба? За вас, за всех... Как же это? Коли мы не продержимся, кто нас тогда защитит? Кто? Вспомните, что на площади Евлампию Дунаеву говорили? Ай, женки!

— А плевать я хотела на твово Евлампия, каку нашел богородицу! — кричала рябая. — Он, что ли, меня кормить будет? Нечего над женщинами изгиляться, пустите. Эй, женки, идем! Чего стали?

— Назад! — сказал Ермак и снова вынул бульдог. — Кто идет против пролетарского постановления, тот погибнет, как собака.

Маленькая ткачиха заплакала, а две других быстро повернулись и побежали назад.

— А, чортов Ермак, погоди, ты у нас будешь под подолами в грязи валяться! Мы всю тебе толстую рожу обо...

Морозов сделал шаг, но рябая, схватив за руку маленькую ткачиху, села во влажную утреннюю пыль.

— Вставай! — вскричал злобно Сикавин, и женки, увидя его черные мрачные глаза, быстро припустились догонять ушедших.

Морозов и Сикавин постояли посреди дороги и посмотрели им вслед.

— Придут? — спросил Сикавин.

— Эти не придут, больно легко ушли,—сказал Ермак.—Эти теперь расславят, что патрули ходят, и другим неповадно будет.

— В своих приходится револьвер направлять, — горько сказал Сикавин.

— А что ж! — ответил Морозов. — Есть такие, их без кулака тыщу лет уму не научишь. Тоже и кулаком другой раз фунта два разуму вобьешь. А бабье положение — оно косное от времен глубоких. Кабы бабу силой не толкать, она бы и нас, гляди, чулки штопать заставила. Так-то.

И Морозов опять сел на край оврага. Сикавин в волнении прошелся по улице, потом стал смотреть, как покраснела ленточка Уводи, как с криком куда-то торопливо пролетели птицы.

— Гармонь бы взять, — наконец, сказал Ермак. — Я бы сыграл, а то скучно.

— Да, с бабами повоюешь, будет скучно... — ответил Сикавин.

Потом облокотился на полусгнившие остатки перил около оврага и тихо запел:

От Артура до Телина
Отступали мы толпой...

Морозов тряхнул головой и подхватил:

Провозилась Акулина
И ни с чем пошла домой.

Дальше оба запели вместе; у Сикавина был глубокий бас, а Морозов выводил замысловатые рулады тенором:

Куропаткину обидно,
Что не страшен он врагам...

Вдруг оба сразу вздрогнули и обернулись, так как старческий козлиный голос докончил их песню:

В поле бес нас водит, видно,
Да кружит по сторонам...

Тощий старичок, с бородою в ниточку, с небольшим узелком за спиною и с палкой, стоял посреди улицы и, сняв картузишко и обнажив лысину, поклонился Сикавину с какими-то ужимками. Потом он приблизился и пропел надтреснутым, жиденьким голоском:

Было дело у Артура,
Дело скверное, друзья...

— Ай, старче! — рассмеялся Сикавин. — Да ты, никак, прямо из оперы.

— Артист, — ответил старик и потряс своею седою ниточкой.—Кабы зубы были, меня бы и до сих пор на свадьбы брали. Здесь, что ли, «Кампания»-то?

— А тебе что?

— Да, говорят, набор новый там делают. Пущать фабрику будут. Иду кусок заработать.

— Не ходи, старче.

— О?.. А что так?

— Забастовка. Не знаешь, что ли?

— Как не знать, не маленький. Да, чай, пора кончать... весь май промаялись, пора кончать. Без куска посидишь, будто в голову, други, ударяет, а?.. А я на фабриках с десяти лет, вот и посчитай, а мне семой пойдет, семой десяток, вот и посчитай. Как же мне сложа руки сидеть?

— Это верно, дед. А только раз забастовка, надо свою линию держать.

— Да я не здешний! — вскричал старик и сердито ударил палкой по дороге.—Что мне линию держать? Мы из Новой Гольчихи... морокинские мы, ткачи.

— Так чего же ты от Морокина в «Кампанию» пришел, сапоги зря топчешь?

— Э, милой, я бы не пришел, я бы не глупей тебя, кабы не забастовка у нас. Мы тоже своих прóцентов добиваемся.

— Каких?.. Да ты садись, дедушка, садись сюда на край, расскажи.

— И то сяду.—И старик охотно скинул узелок, положил палку и сел рядом с Ермаком.—В ногах правды нет, да рано еще. Сяду. А прóценты мы истребовали так: чтобы 30 на каждый заработанный рубль. На кругло. Понял, голубь? Ну, да там, сам понимаешь, на подвязину прибавить копеек 20 на штуку, на миткаль. Да хозяйские тюфяки истребовали, ящики чтобы шпульницам не катать... Мало ли чего. Наш-то хозяин,

как прочел все наши пункты, так и за портки схватился. Проборщикам вот тоже истребовали за каждые тыщу зубов прибавить 2 копейки. Вот. А ходатаев наших чтобы не увольнять, ни-ни...

— Так что же ты, ходатай, от своих ушел?

— Ходатай? Нет, какой я ходатай, зубов нет. Мы... Да вы сами кто будете? Нынче тоже говори, а сам поглядывай.

— Мы свои, дед. Свои. Забастовщики.

— Тутошние, значит?

— Вот, вот. И ты, дед, значит нашу стачку подрываешь.

— О? Да я чем подрываю? Как я, голуби, ваши дела подрываю?

И старик посмотрел тревожно сначала на Сикавина, мрачный вид которого не успокоил его, потом на простое открытое лицо Ермака.

— Да ведь ты куда идешь? Ты в штрейкбрехеры идешь? В предатели.

— О? — сказал старик. — Тогда я и не пойду. С меня что возьмешь, а? Я, гляди, и не пойду. А кусать вот надобно, и податься тоже, други, мне некуда.

— Как так? Крутишь, старичок, крутишь...—усмехнулся Сикавин.

— Что я тебе кручу! — воскликнул дед и быстро, как молодой, встал на ноги.—Меня Морокин пять десятков крутил, ты ему скажи. Ну-ка, подай мою палку.

— Да стой, земляк, чего рассердился, садись. Нельзя тебе и слова поперек сказать. Садись, садись. Мы тебе схлопочем пособия рубля полтора, садись.

— О? А вы можете? Вы что — канитет, что ли, какой? Вот кабы мне угол, а то податься мне некуда.

— Да что так?

— А так. Мы... — и опять старик запнулся и испытующе посмотрел на того и на другого.

— Говори, говори. Сказано тебе — свои, — воскликнул Ермак, и его ясные глаза успокоили мнительного старика.

Он развязал узелок, вынул какую-то вчетверо сложенную бумагу и осторожно развернул. На бумаге было напечатано что-то на машинке; старик молча провел по строкам пальцем и торжественно поглядел на Ермака.

— Свой, говоришь? Видел?

— Это что за прокламация, деда?

— Да нет, совсем не то! — отмахнулся старик. — Это сукины сыны, понял? Шкуры. Якобы от большинства, а на самом деле рванье, понимаешь, конторщики там отбили им на машинке, хозяйские пирожники, понял? Они ту бумагу хозяину несли, а мы напали, и я ему палкой морду окровянил, вот. Вырвали — значит, моя трофея. А теперь куда мне податься? Теперь я Морокину не слуга... Найдут — на тюрю посадят. Верно?

— Эге, дед! — воскликнул Сикавин. — Вон ты какая закумористая штучка, а еще в «Кампанию» брел. Тебе компанию другую надо...

— Другую, другую,—согласился старик.—Да в энтом городе чужак я, податься мне некуда.

— Ничего, мы тебе угол сыщем.

— Ну, спасибо, голуби. Значит, я не зря сумку-то развязал. Читай-ка, глаза у тебя инда жгут, читай-ка, глазастый...

Сикавин взял бумагу и прочел быстро, сплевывая в некоторых местах:

«Милостивый государь

Алексей Феофилактович!

Мы, большинство рабочих...»

— Никакое не большинство... враки,—сказал старик.

«...с уверенностью можем сказать, — читал Сикавин, — что причина забастовки на нашей фабрике заключается в непонимании нами характера директора и в невежестве многих рабочих. А если всмотреться в настоящее положение государственной жизни, то забастовка покажется делом обыкновенным. Судить строго не приходится. Тучи внутренних смут не могли обойти и нас. Зная Ваше доброе сердце...»

— Ах, сволочи! — воскликнул Сикавин, — даже «ваше» с большой буквы.

— Буквы — что! — заметил старик. — Ты гляди, что по-за буквами...

Сикавин сел и продолжал читать:

«Зная Ваше доброе сердце и благие намерения, Алексей Феофилактович, мы надеемся, что Вы простите группе молодых людей, не умудренных опытом жизни, которые вызвали забастовку. Основываясь на вышеуказанном, просим Вас, добрый хозяин, от лица большинства рабочих позволить нам приступить к работам на обещанных Вами условиях. Любвеобильные слова Ваши «предать все забвению» прикажите в точности исполнить Вашим конторщикам. Наученные горьким опытом, мы, рабочие, будем поосторожнее».

Старик закивал головою и забормотал, уставив глаза в сапоги.

— Поосторожнее, поосторожнее... Тут я ему палкой по скуле-то и двинул. Будь, мол, поосторожнее... По скуле-то...

Сикавин читал:

«Принявшись за работу, мы, рабочие, отслужим молебен о здравии царя и панихиду по воинам, на поле брани убиенных».

— Ай, деда — воскликнул Морозов. — Вот так грамоту ты отбил! Да ее под стекло, в рамку, а то мухи засидят...

— Дай-ко ее сюда, — сказал старик и аккуратно спрятал бумагу в узелок. — Мы ее отбили — значит она наша. Я эту жульность при себе буду носить, тут моя трофея...

— Стой, робя. Не горячись. Едет кто-то, — сказал Сикавин и встал.

Ермак тоже встал и отошел к перилам.

Но старик, не обращая внимания на слова Сикавина, вынул из узелка две картошки и кусок сухого хлеба, посолил и, не оборачиваясь к дороге, стал есть.

Пара лошадей быстро, как ветер, вынесла из-за угла строения Кожеловского. Усы его трепыхались от быстрой езды. Сзади трюхал верхом охранник. Кожеловский протянул к кучеру руку в белой перчатке, и лошади, фыркая, пошли тихо. Острым, пронизывающим взглядом окинул полицмейстер рабочих, которые, приняв беззаботный вид, оперлись на перила и молча разглядывали коляску, кучера и Кожеловского.

— Патруль? — воскликнул полицмейстер. — Патруль?

— А? — спросил Сикавин, приложив руку к уху. — Какой такой патруль? Мы будто не видели.

— Что! Не видели! — И Кожеловский встал, грудь его заходила, и он погрозил кулаком. — Стоите и сторожите! Что? Силой заставляете бастовать! Что? Напрасно, напрасно трудитесь: больше фабрики не пойдут. Не завертятся, будьте покойны... Что? Скоро сами, сами, со слезами будете просить, прощалыги, на коленях, на коленях, чтоб пустили, чтоб хозяева открыли ворота. Да нет, не завертятся...

— Завертятся... — спокойно сказал старик, жуя картошку и не оборачиваясь.—Поди, завертятся. Врешь, свято место не будет пусто.

— Что-о! — заорал дико Кожеловский. — Ты чго, старый чорт, забастовщик, бунтарь? Ты что-о? Встать!.. Лысый чорт!

Старик, сняв картуз, встал. Но в руке держал кусок хлеба.

— Чей такой? Откуда? Документ? Бастовать!.. Я тебе вырву козлиную мочалку! У меня в два счета. Я не посмотрю... Кончились губернаторские деликатесы, баста.

И ткнув в направлении старика пальцем, Кожеловский глянул на охранника и заорал:

— Пре-про-во...

Но он не окончил. По крутой тропе из оврага вынырнул Станко и встал рядом со стариком.

Кожеловский вздрогнул и отшатнулся.

— Пошел! — крикнул он кучеру. — Пошел! Пошел, разиня, — повторил он глухо, плюхнувшись в сиденье.

Лошади рванулись, будто того и ждали, и быстро коляска и перепуганный верховой процокали мимо рабочих, мимо длинных заборов и скрылись за красным корпусом фабрики.

— Трус! — сказал Станко, опуская в карман руку.— Один раз я стрелял в тебя, скотину, стрелял на полушинском дворе, да промахнулся. Теперь ты ждешь второго... Трус.

— Это кто ж такой будет? Никак, начальство ваше?—заметил старик, подымая торопливо палку и узелок.—Свиреп, свиреп, голуби, куды свиреп! Ну, да одначе рассердился, да хоть не весь.

— А что? Страшно было, дед? — спросил Сикавин.

— А то! Тебе думаешь — не страшно! — И старик покрутил головою. — Ты, бат, цорт, ты, бат, цорт, говорится, ан накатишься и на дьявола... Горячий какой, гляди! Не дал мне и картошку прожевать. Средине обеда, можно сказать, на стол в'ехал.

3. ВСЕНОЩНАЯ.

Таня нерешительно вошла в церковь, посмотрела лукаво, исподлобья направо и налево и скромно перекрестилась. Народу было не очень много, и в большом гулком храме раскатисто и привольно переливалось стройное пение рыбулинского хора; это были по большей части любители-конторщики, гравера, раклисты и приказчики. Таня внимательно и не спеша осмотрелась: Митеньки как будто нет, и вся всенощная для нее несколько потускнела. Мимо прошел какой-то длинноносый полинялый человек, который щипцами копотливо снял нагар с больших свеч и произвел порядок в тонких, неумело втиснутых богомольцами. Митеньки не было. Раньше ведь это свечное занятие было митенькино.

Таня по коврам скромно перешла на другое место, вспомнив, что Митя теперь студент и только приехал: вероятно, он где-нибудь стоит так, среди прихожан. Став спиною к прилавку старосты, она благочестиво помолилась и оглянулась. За прилавком шла бойкая торговля свечами; помощник старосты — должно быть, бухгалтер какой-то фабрики, толстенький, плешивый, быстро орудовал пятачками и семитками; тыкал в руки туда и сюда тонкие восковые свечки; рядом с ним недвижно, скрестив руки, стоял и сам староста, сам чистенький Рыбулин. Он был в черном сюртуке, и его большая рыжая борода красиво легла на грудь. На белых манжетах блестели какие-то особенные красивые запонки. Тане стало почему-то смешно, и она, вздохнув, подумала: «Какой грех ходить в храм, чтобы высмотреть милого, а если его нет — развлекаться посторонним...» Она еще раз вздохнула, кокетливо перекрестилась и встала на другое место.

Она встала близко к клиросу перед большим ярким образом целителя Пантелеймона, и ей здесь все очень понравилось: оживление от массы певчих, выходы дьякона, блеск свечей и особенно прекрасное молодое лицо Пантелеймона, нарисованное на иконе... «Чистый ангел»,—подумала Таня и, встав на колени, положила ему, красавцу, три горячих поклона; при этом она пробормотала отрывки каких-то полузабытых молитв: «От юности моея... моя лютая телесе... мнози борют мя...»

Но она не сказала «страсти», будто боялась даже и Пантелеймону выболтать о своем грехе. Направо на отдельном коврике чинно стоял Елисей Иванович Жохов со своей супругой; оба они были толстые,

несуразные коротышки, и Тане стало опять смешно. «Ну, смеху в рот попало», подумала она и переглянулась с только что вышедшим из алтаря рослым черноволосым дьяконом. Дьякон густо прогудел, что ему полагалось, и, уходя в свою священную калитку, опять пристально посмотрел на Таню.

«У, жеребец», — подумала Таня и хотела помолиться, но ее развлекло что-то слева. Она посмотрела: рядом с ней перед Пантелеймоном встали трое: Рыбулин с подносом, тот длинноносый с тарелкой и еще какой-то, вроде дьячка, с кружкой. Они помолились целителю и пошли гуськом мимо Тани. Таня заторопилась и, задержав фабриканта, положила ему на поднос две копейки. При этом она вспыхнула, как порох, и ей показалось, что Рыбулин насмешливо и нарочно задел ее локтем.

«Чистяк», — подумала Таня и особенно блеснули ей в глаза его запонки и приметились тонкие выхоленные пальцы с кольцами. Длинноносый покосился на нее уныло одним глазом, а от дьячка она отвернулась. «Черти скаженные, только молитве мешают», подумала Таня и, увидав среди певчих знакомого баулинского конторщика, снова чуть-чуть фыркнула в руку. Тогда, чтобы не развлекаться, она отошла назад и встала почти вровень с прилавком старосты.

«Как хорошо в храме пахнет, ладаном, что ли»,— подумала она; а певчие грустно и задумчиво раскатились, и она стала слушать «Свете тихий...» Не заметила в мечтах и воспоминаниях, как почти рядом с нею у прилавка встал опять Рыбулин; ее охватило сумеречное беспокойство, быть может, от рыбулинских взглядов и его огненной бороды, и она, не помня себя,

сделала два шага и, потерянная, спросила у него свечку в три копейки. Смешно свечку ставить под конец всенощной, и, вероятно, поэтому он так насмешливо сверху посмотрел на нее и, подавая свечку, будто что-то сказал над ухом. Но Таня, не слушая, подошла по коврику к ближней иконе, — это был сердитый сухой старик с длинной бородою, — поставила неловко, дрожащей рукою этому старому святому свечку. Когда она отошла назад, поглядывая на огонек своей свечки, Рыбулин будто опять пригнулся к ней, и она в самом деле услыхала его голос.

— Что? — тихо спросила Таня упавшим голосом и покраснела, как маков цвет.

— В сторожку, в сторожку иди, — сказал повелительно Рыбулин. — Иди, приду.

«Господи, чтой-то, — подумала Таня, посмотрела на икону и на огонек, откуда мерцал ресницами старый угодник, вздохнула и тихо и виновато, не глядя по сторонам, вышла из церкви. Она нервно вздрагивала от гула своих башмаков, когда шла папертью.

«Что же это такое?», — еще раз встрепенулась Таня, но, вместо того, чтобы итти по плитняку за ограду, обошла церковь по песчаной дорожке; тут пахли тополя и сирень, была сложена поленница дров, и здесь в уголке она увидела дверь в уютную сторожку. Старик, должно быть, сторож, мешкотно подвязывал протянутую от колокола веревку, и Таня, взглянув на его согнутую спину, сердито спросила:

— Это, что ль, сторожка-то ваша?

Тот, ничего не говоря, близко подошел и посмотрел подслеповатыми глазами. Рожа его была хитрая, и будто он слюняво и противно облизнулся.

— Рыбулинская? — тихо спросил, поводя пальцами, как рак клещнями.

— Сергей Аверьяныча товарец, что ли?

И он гыкнул глупо и хлопнул ее слегка по крутому заду.

— Ну, ты, глушня! — обозлилась Таня. — Сказано, веди.

И, не дожидаясь, Таня рванула обитую рогожей дверь и вошла в сторожку. Здесь пахло печеным хлебом, овчиной и тараканами. Сторож вошел следом, постоял молча и, пригнувшись, спросил опять тихо:

— Кагору принесть что ли? Пьющая, аль нет? Чего?

— Пошел к чорту! — ответила Таня и села на скрипучий стул. — Сыскался какой ухажор!

— Об этим не беспокойся, уйду, — сказал примирительно сторож.—А ругаться тоже...

Но он не договорил, быстро схватил с гвоздя висевшее рванье и ушел.

Таня пощупала грязный самовар, — он был холодный. Она налила чашку воды и выпила жадно. «Уйду,— подумала она. — Уйду без всяких...» Но скинула косынку и снова села. Лицо ее пылало. «Бабочка — на огонь...» — подумала опять. Она вспомнила, как сурово щурился на нее сухой угодник и рядом пылала огненная борода; вздохнула и вдруг фыркнула, оглядывая убогие стены сторожки... «Ну, и приключения!..» На стене висел телефонный ящик; Таня изумилась и потрогала его пальцем. «Вот ручку повернуть и, поди, Митеньку вызвать можно... Хозяева и молясь время не теряют. Должно, отсюда распоряжения дают...» Со стены, рядом с аппаратом телефона, смотрел на нее

портрет кривобокого ласкового старичка; знала, — что это был Серафим Саровский... И будто маленько похож на беззубого Спиридона, который с'ел у отца тогда все кильки да при этом ворчал еще — «жратья нет». Озорной старик...

Тут внезапно открылась дверь, будто подкрался кто, как мышь: это вошел Рыбулин. Он был в изящном пальто, в шляпе, в лайковых перчатках, с тонкой тросточкой. Защелкнув дверь, повесил весело тросточку и, обжигая ее живыми, карими глазами, снял пальто, шляпу, нетерпеливо сорвал перчатки.

— Итак... Помолились, барышня, боженьке?

И сел рядом, совсем близко. Таня отодвинулась.

— Что так?.. Без пряников не замай, значит?

— Покорно благодарю, я пряники ваши не люблю.

— Во, какая гордая!.. А как вас звать?

— Зовут зовуткой, а величают уткой.

И Таня, покраснев пятнами, подняла на него гневные глаза.

— Заманиваете тут барышень, какой срам... Под самым святым местом...

— Как? Как?..

И он звонко расхохотался, подымая кверху огненную бороду; хохот его был похож на щелканье медных монет одна о другую. Потом он аккуратно, будто боясь сломать, двумя пальцами взял легкий зонтик из рук Тани и поставил его в угол.

— Боитесь зонтиков?.. Не буду ли драться?—сказала Таня и почувствовала, как будто с зонтиком ушла ее сила.

— Нет, не боюсь, а так: приходили гости, в угол ставили зонты и трости.

Таня жеманно фыркнула.

— Смешные вы! Какой огненный архистратиг?.. Вас бы, как Анику-воина, со щитом рисовать... На папертях...

— Как? Как? Со щитом? С ним или на нем?

И он подсел совсем близко и обхватил ее, задев руку Тани холодной запонкой. От него пахло хорошими духами. Весь он был необыкновенный. И Тане закружило голову.

— Пустите... — слабо всхлипнула она. — Нечего так жать. Пользуетесь над слабым полом...

— Как тебя зовут?—прошептал он торопливо, будто это было очень важно.

— Таня... Знаете, Капитонова дочь... Татьяна Тихоновна...—быстро, таким же шопотом роняла она в тисках об'ятий.—Я не какая... не гулящая, не думайте...

— Я и не думаю, капитана дочь. Я сам сын поручика. Рекомендуюсь: Рыбулин Сергей, поручика сын... Поручики-чики-чики-чики!..

— Пустите... что такое...: борода щекочет... Пу...

Но он впился, как клещ, и, целуя, толкнул ее на мягкое логово сторожа...

4. СКАНДАЛЬЧИК

В воздухе далеко и мягко ложился звон ко всенощной — бам, бам, бам... — через дома, улицы один металлический мазок на другой, и обволакивал вечер тихой церковной ленью.

Новая Рылиха была пустынна: видно, ушли на Талку. Морозов постоял около домика и увидал в раскрытом окне лохматую голову Тихона.

— Ей, Капитонов, чего кроишь?

— Штаны зашиваю: все приданое видно, дошли до голоштанья... Во тебе и вихри... Ты что?

— А Татьяна Тихоновна не у вас?

— Нет ее. Поди, вертушка, ко всенощной пошла, с зонтиком со своим. Жакетку надела.

— Что это они у вас богомольны стали?

— Грехов много, сынок... Грехов... Вот приданого во-время не собрал, замуж не выдал, сам виноват, голоштанный. Прочил ее за конторщика, ан — подымай выше! — они у нас в Москву в мягких вагонах поехали... Ну, а Москва, брат, бьет с носка, с носка...

— Ну, ладно, Тихон. Пойдем и мы к женам-мироносицам?

— Куда? В церковь? Чтой-то, будто не по пути. Я думал, ты на Талку дельно позовешь, пропаганов у костра слушать... Вот туда бы я охотно...

— Нет, пойдем в рыбулинскую церковь. За компанию?

— Да у меня и штанов таких нет, чтоб по церквам ходить. У меня и гасник вшивый. Ты что? Грехов, что ли, прикопил?

— Нет, давно не целовал боженьку в хвостик.

— В хвостик! Ах, ты, Ермак!.. Смотри, Сибирь по тебе вздыхает... За хулу бога у нас строго... А то пойдем. Вот я заплатку. Тут на четверть часа делов. Постой, я сейчас.

Пока он шил, Морозов, тяжело облокотившись с улицы на подоконник, говорил ворчливо:

— Пащенок тут один меня беспокоит. В себя не приду, пока это дельце не сделаю. Замуравкин молодой,—слыхал?

— Митька? Да я его во какого помню. Кругляш — пуховик такой был. Как же! Замуравкины — они не из духовного ли звания?

— Не знаю. Тут наши ребята вошли в священную дружину, и нам многие их дела и планы открылись. Только ты — молчок. А Дмитрий этот на-днях даже на папертях всех церквей нищих отбирал. Нищую гвардию.

— Нищих! А куда их?

— Да чтоб их пустить по городу на забастовку клянчить. Сумбур такой произвести. Тут, брат, темные дела затеваются. А подрядчик Безруков — слыхал? — тот крестный ход ладит к управе. Пора — говорит — голову поднять. «Спаси, господи...» Ты знаешь, чем это пахнет?

— Ну, крестный ход мы видали. Я сам, как японска началась, макак клял, на чем свет, и от Вознесения мы втроем золоченую хоругвь носили. Вот упарился! «Спаси, господи» мы не боимся. Так ты что ж?

— Да хочу вот этого студентика залучить, маломаля по душам поговорить... Пощупать, из какой кости у него ребра сбиты.

— Ой, Вась, Сибирь по тебе плачет. Ну, пойдем. Только ты меня в свои дела не пихай.

— Прошил, проштопал, копун, свою заплату во всю всеношну, всем святым за тако время портки зашить можно.

— Ну, и охальник!... Настоящий ты фабричный кудряш. Мы, стары ткачи, еще все норовим в законе

ходить, нам земля еще помнится... Эх, Вася, Вася! В деревне хоть и бедно мы жили, но там свое молоко.

Тихон облизнулся, прикрыл окно, и они пошли.

— Там лес да поле, а здесь что? Тьфу, провались она в тартарары и вся Возневань с добром своим... Там у отца избенка была. Там мы не по гудку вставали. Нет, там по солнышку. Солнышко!.. Меня, как с четырнадцати на фабрику отдали, так я кажну ночь на полу плакал. А как праздник — я за двадцать верст марш — и давай ходу. Сбегаю к своим в деревню, матушка мне волосы расчешет, а наутро я, глядишь, стою, как палец, у станка, клюю носом, того и гляди руку куда зря сунешь... Были мы тогда примасленные ребята, богомольны... Бывало, последнюю копейку из штанов выловишь — да на свечку... Окромя, как половиночку на Сластихе, и удовольствий никаких.

Тихон наклонился к уху Василия и шепнул:

— И царя и другие высшие чины чтили, туды их на двое, чтоб им — яко до царя — в задницу кол.

Церковь во имя жен-мироносиц была нарядна, синие главы ее блестели золотыми звездами. Входя за ограду, Тихон прислушался к пению, обмахнул пыль со штанов и сказал:

— К шапочному разбору как раз пришли... Эх, парень, и куда ты меня затащил?!

Они вошли и встали у самого входа. Морозов быстро огляделся: Замуравкина не было. Он шмыгнул носом и опустил руку в карман, ощупал бульдог, гайку, две шайбы.

«Ишь, добро! — подумал, вынул шайбу и стал вертеть в руках: — Вот под купол бы пустить. Попаду саваофу в нос или нет?»

Мимо прошли Рыбулин с подносом, длинноносый с тарелкой. Морозов задержал дьячка и, ловко прикрыв пальцами шайбу, опустил ее в кружку. Когда она звонко звякнула на дно кружки, дьячок низко поклонился Ермаку и прошел дальше. В это время священник, как петух, возгласил из алтаря: «Слава тебе, показавшему нам свет». Морозов дернул за рукав Тихона, и они вышли из церкви.

— Не могу — не тем духом пахнет.

— Ага, бежишь, как чорт от ладана! А тоже — пойдем к женам-мироносицам. Ты к тем ли женам шел?

— К тем,—сердито сказал Морозов.—Твою Таню хотел повидать, да что-то не стоится.

И он швырнул гайку высоко в березу.

— Что ж ты,—сказал Тихон сердито,—ни два, ни полтора. Сейчас «Свете тихий» поют, а ты меня утянул. Швыряешься тут, как необстоятельный мальчишка. Давай посидим у ограды, покурим. Если молодой Замуравкин пойдет, мы его увидим. Да и Таня никуда от нас не уйдет. Слышал я про ихни хороводы.

Он сел в канавку, свернул крючок и закурил. А Ермак, услышав чей-то знакомый голос, посмотрел в решетку. Какая-то барышня или женка в синей жакетке с зонтиком что-то говорила Кондратию, сторожу жен-мироносиц, известному по фабрикам за первого сводника и прохвоста.

Кондратий и нарядная женка шмыгнули в сторожку, и Ермак свистнул.

— У Кондратия дочерей нет? — угрюмо спросил он Тихона.

— У сторожа?.. Нет, одинокий он. У него, кромя кошки, никого. А что?

— Ничего.

— Чего ж ты свистишь? Ишь, задышал как! Ты что? На! Вот кисет — покури.

— Не надо.

— А, папиросник! Гильзы Вильсона тебе, знатная персона... А у нас, брат, порты с заплатой, мы дешевой платой...

— Будет, не звони, — оборвал его Морозов и, опять встав, прилип к решетке.

Глаза его вдруг встретились с насмешливым взглядом Рыбулина; будто кольнуло Ермака, он разжал руки от железа и сел на траву.

— Куда же он, а? — растерянно спрашивал старика. — Ты видел: он в сторожку прошел?

— Кто?

Прошло некоторое время. Ермак выкурил одну за другой две папироски, ругаясь и будто собираясь с силами.

В это время Кондратий не спеша вышел из-за ограды в небольшую калитку, далеко от сидевших, посмотрел на них подозрительно и пошел, согнувшись. Морозов догнал его и, задыхаясь от гнева, схватил его за ворот.

— Ты что, старый хрен! Ты опять девок водишь на барску потеху, а? Убью, сволочь!

— Пусти...—прохрипел Кондратий и, тряся головою, заплакал.—Что я тебе, жулик! Что ты меня стругаешь, что я тебе! Куда я водил? — И вдруг он рванулся в сторону и побежал мимо окон домов, крича изо всей силы:—Караул! Караул! Зарезал!

Откуда-то выскочили три человека. Старуха высунулась в окно:

— Кого зарезали, где?

Тихон сидел в канаве, будто чужой, и курил свой крючок.

— Ты что! — подбежал к Морозову человек в жилетке.—Ты что! Наших?

— Стой, не лезь!—крикнул Ермак.—Не лезь, говорю! Лучше пойдем посмотрим. Тут в сторожку Рыбулину на усладу наших женок водят.

В это время несколько человек вышли из церкви и остановились, ожидая драки.

Морозов и человек в жилетке, перекоряясь, подошли к сторожке. Около них была уже небольшая толпа.

— Я вот соберу народ! Я соберу народ!—кричал Морозов. — Мы эту безобразию прикончим. Эй, Тихон!.. Зови наших, беги в Рылиху, беги!.. Тихон, беги!

И, не дождавшись поддержки, подбежал к веревке и, не отвязывая ее, Ермак стал дергать торопливо, наспех, со злобой, а человек в жилетке мешал и ловил его за руку.

— Пусти!

И он толкнул того так, что тот покатился наземь. Неровный звон набата, залаял и заахал наверху, и разного вида люди быстро набежали за ограду.

— Что тут?

— Горит.

— Сторожка горит?

— Словили?

— Кого словили?

— Рыбулина с девкой накрыли.

— Ой ли?

Морозов нагнулся к окну сторожки и постучал. Вдруг занавеска чуть колыхнулась, и Василию на миг показались знакомые глаза. Захолонуло. Но это был один миг.

— Отворите!—стал стучать увесистым кулаком в дверь.

— А ты поленом,—посоветовал кто-то из толпы.— Поленом.

— Жену, что ли, словил?

— Товарищи! — закричал Морозов. — Они не только держат нас в черном теле, как паршивых рабов, и плюют на наши требования, они — видите сами! — плюют и на те церкви, которые сами же, сукины сыны, строили... Они... Да что говорить, давай полено!

Какой-то босой старательный паренек подбежал к поленнице, схватил березовое полено и крикнул:

— Лупить — так лупить!

Но в этот миг дверь открылась, и паренек, разинув рот, уронил полено. Из сторожки вышел Сергей Аверьянович, спокойный, в пальто и шляпе и, прищурившись, посмотрел на толпу. Он кашлянул. Все стихло, и Рыбулин отчетливо сказал, ни мало не робея перед толпою:

— Господа! К чему же так толпиться?.. Пожалуйста... Уверяю вас, ничего особенного не произошло. Уверяю вас... Я передаю представителю комитета деньги в пользу стачечного фонда... Уверяю вас. Из рук в руки. Вы вынуждаете меня — а дело это, господа, не так, чтобы очень гласное... Вы вынуждаете меня... Простите. Но вы едва ли в праве мешать моему желанию помочь нуждающимся рабочим. Господа!.. Стачка тя-

нется уже — сколько? — дней двенадцать... Нужда велика.

В толпе вздохнули, и кто-то крикнул:

— Без хлеба сидим, именно!.. Нужда в народе, нужда.

— Уверяю вас, что мы, фабриканты, смотрим на это с большим душевным сокрушением...

— Хорошо! — закричал Морозов. — А ты покажь, что там за представитель. Ты выведи его на свет.

— Прежде всего вы мне, пожалуйста, не тыкайте...

— Не тычь, не тычь — он тебе не Иван Кузьмич! — крикнул человек в жилетке.—Братцы! Как он смеет самому Сергею Аверьяновичу? Он сам первый дебошир. Он эту безобразию учинил. Нельзя народ булгачить, — надо разобрать. Ты кто? Ты кто? — приступал он к Морозову. — Революционер ты, смутьян, — я тебя знаю.

— Господа!—протянул руку Сергей Аверьяныч.— Не шумите, пожалуйста. Вы собрали народ, и надо же как-нибудь выйти из этого смешного положения. Я спрашиваю вас: хотите ли вы, чтобы я сделал крупное пожертвование в пользу фонда?

— Все это ложь! Я сам видел, своими глазами. Фонд! Знаем твой фонд! — вскричал Морозов.

— Что вы видели? Предупреждаю: вы будете отвечать за возбуждение населения к бунту и за нарушение...

— Отвечу, ваше степенство! Отвечу. А вы вот покажите сначала девочку, которую вы заманули...

В это время новая толпа рабочих во главе с Тихоном буйно подкатила к сторожке, напирая на передних.

— Кого бьют?

— Ермака бьют!

— Вася, держи, не сдавай!

— Васька! О чем ты?

— Мамошечку накрыли!

— Братцы, Морозова арестовать хотят за возбуждение.

— Стой, не торопись.

Откуда-то вынырнул полицейский с дрыгающей челюстью. Он замахал на толпу старческими руками:

— Расходись! Расходись! Расходись!.. Шш!.. Галки!

— А, селедка! — вскричал Тихон. — Поленом по кумполу, значит, хочешь?

— А вот оно, полено! — подхватил маленький ткач, высунулся из-под локтей вперед и ударил по оконной раме сторожки. Звук разбитого стекла опьяняюще подействовал на толпу.

— Круши! — заревела толпа; послышались глухие удары, звон стекла, откуда-то поднялся столб пыли.— О-го-го!.. Круши!

Рыбулин юркнул в сторожку, быстро завертел ручку телефона и что-то торопливо заговорил в трубку.

— Братцы! — выкрикивал Морозов, потрясая бульдогом.—На что идут наши пот и кровь, на что? Чтоб эти стервы, в шелках, в жиру, чтоб они на добытое нами, наших же женок...

— Круши! — ревела толпа, плохо понимая смысл речей Ермака, но захлебываясь от удовольствия буйного шума, треска, звона стекол. — Вася! Наддай!

Перед толпой взметнулся испуганный Кондратий, который что-то кричал, указывал на кресты церкви,

махал руками. Он, городовой и человек в жилетке все-таки сдерживали кое-как напор толпы.

Но Тихон ударом своей кудлатой головы неожиданно прошиб эту тройку и, откинув в одну сторону городового, в другую — Кондратия, бросился в сторожку. Пронзительный женский визг, как хлыст, прорезал воздух и заставил всех вздрогнуть.

— Баба!

— Попалась, лярва!

— Не бей. Не смей бить!

— Женок не бить. Эй!..

Из сторожки, шатаясь, выскочил Тихон с зонтиком. Он был страшен, как будто не в своем уме; глаза его дико вращались, слова беспорядочно срывались с губ. Он поднял над головою погнутый зонтик, с силой швырнул его на землю и стал топтать.

— Братцы! Братцы!..

Потом он упал на песчаную дорожку и, схватив себя за голову, завыл каким-то волчиным воем. Толпа притихла от неожиданности, и вдруг, неизвестно отчего, молча все метнулись в разные стороны, многие повисли на ограде, быстро осыпаясь один за другим на ту сторону решетки. Пятерка казаков в'езжала на церковный двор, приглядываясь к струсившей толпе зевак и равнодушно наблюдая панику других, улепетывавших от нагайки.

— Расходись! Расходись! — кричал теперь ретиво и начальственно городовой и, закусив губу, стукнул ножнами шашки Тихона по заплате штанов; штаны снова треснули, и городовой с наслаждением дернул за прореху и крикнул, захлебываясь:

— Я покажу тебе селедку, сумасшедший чорт! Спасайся, сукин сын, пока жив!

Когда казаки медленно и неохотно, покачиваясь в седлах, под'ехали к сторожке, здесь было пустынно; только городовой, Кондратий и человек в жилетке поклонились им и сказали:

— Милости просим.

— А это что? — спросил презрительно молодой казак, указывая нагайкой на изломанный зонтик, жалко валявшийся у ног лошади.

— Женская улика, — ответил человек в жилетке. — Скандальчик тут вышел. А пострадавшее лицо вот — оконная рама этой сторожки, и больше ничего. Дело семейное... Починят... Ну, а теперь, господи благослови, с Сергей Аверьяныча на чай...

5. ОТЕЦ

«Надо подымать народ к бунту»,—эта мысль давно тяжелым камнем сидела в мозгу Морозова, и, когда в первый раз тысячи и тысячи шли к управе, все в нем играло и пело. «Это ли не молодцы, а?.. — говорил Василий направо и налево. Но когда кончились речи, и к ночи народ мирно разошелся, Морозов потух, и ему стало скучно.

— Выболтались и спать пошли, — угрюмо сказал, шагая по тротуару. — Тут бы разом всю шатию и прикончить, а мы спать.

— Ан, нет! Это еще история по всем видимостям длинная! — воскликнул, обгоняя его, маленький ткач. — Спим, а все видим!

— То-то и плохо, что длинная.

— Ничего, Васюха. Без терпенья и рак далеко не уползет. Сказано тебе: «И пошли они, солнцем палимы... Мать честная, родная земля!.. Кто теперь не застонет!..» Слыхал Мишу? Какие стихи своего сочинения закатил!

Маленький ткач лукаво и насмешливо погрозил пальцем и, довольный собою, скрылся в сумерках.

Вся фабричная заворошка, хождение к управе и на Талку мало удовлетворяли Морозова.

Когда утром рабочие шли на Талку, Морозов цедил им в спину:

— «И пошли они, солнцем палимы...» Грош прибавки да спать не по-собачьи, а на лавке.

Приезд Тани еще больше взбодрил Василия, и впрыснул в него нетерпеливой лихорадкой; ему все время хотелось изломать и искорежить что-нибудь, и когда он говорил об этом Сикавину, тот мечтательно гудел:

— Силушка по жилушкам... гу-гу!.. А ты слыхал такое слово: партийная дисциплина?

— Дисциплина для цыплят! — огрызался Ермак. — Во кулак, видишь? Тот кулак зовет меня на борьбу...

— Гу-гу!..—гудел Сикавин:—Силушка по жилушкам, а умом ни с места. Ты видал собаку на охоте... о? И та знает, где стоять. Дичь перед зубами, а она... о!

— Дичь... — ворчал Василий. — Дичь... дичь и слышу.

И уходил в просторы возневанских переулков.

Когда забамкал набат и заклубилась штукатурка от сторожки, и стекла дзенькнули веселым звоном, радость бунта загорелась в Морозове, и он полетел, как на крыльях. Крича и размахивая револьвером, в

упоении, даже мало внимания обратил на пронзительный женский визг и фигуру Тихона с зонтиком.

— Круши! — кричал он, как и все: — бунтуйсь, ребята! Круши!..

Увидев казаков, вместе с другими бросился бежать и одним из первых перемахнул через высокую ограду. Но только для того, чтобы удобнее было стрелять. Позиция за решеткой была неуязвима. И, не обращая внимания на остальных бегущих, Ермак с бульдогом в крепко сжатом кулаке пригнулся около каменного столба церковной ограды и стал целиться.

Но казаки ехали лениво, не взмахивая нагайками, будто недовольные, что так просто прекратился недолгий бунт, и церковная сторожка мало пострадала.

Только Тихона, который медленно, как во сне, шел к калитке, один казак нагло толкнул лошадью, но тот не упал, лишь широко растопырил руки. И выйдя за калитку, вз'ерошенный и страшный, встал, дико озираясь.

Этого взгляда вдруг не вынес Василий; он быстро повернул и, не дожидаясь старика, пошел, набавляя ходу; он будто бежал мимо домиков, мимо кучек народа и боялся оглянуться.

«Испугался, что ли»? — спросил, наконец, себя. И встал. Стоял один посреди вечерней улицы, и револьвер был еще зажат в его руке. Сунул револьвер в карман, и пошел дальше. «Ну, стой, чортов сотник, — сказал опять, после того как отмерил не одну улицу; и остановился. — Где я? Панская улица. Ишь, куда шальные ноги принесли! Итти, значит, к Отцу?!»

Когда спустился в овраг и сел одиноко около крапивы и каких-то кустов, Ермак почувствовал, что боль-

ше нельзя не думать. Сверху, с противоположной стороны, белая собачонка продралась травой и бурьяном, прыгнула через ручеек и, подбежав к нему, понюхала его дружелюбно и помахала хвостом.

— А, Белянка! — сказал Морозов. — Друг!.. Стой, глупая, стой. Говорят, ежели дичь, — понимаешь? — ежели дичь, ты стоишь и не дышешь, а?.. Эх, ты, дворняга, где тебе... Мирная ты собачонка...

Совершенно нестерпимо было начать думать.

«Первое: сказал старый сам — пошла ко всенощной, с зонтиком.

Второе: видел в ограду — синяя жакетка, зонтик и с ней, сволочь, Кондратий.

Третье: глаза в окне. Или показалось?..

Дальше: чего же он выл? Чего же он с глузду с'ехал? Чего топтал зонтик? Чей зонтик? Чей? Эх, вихри враждебные!

Ага, испугался спросить... Сбежал от старика.

Старому везет, как утопленнику. И — чорт! — я его сам вытащил в эту церковь».

Морозов вскочил, чикнул сапогом крапиву и подумал:

«Бунт — так бунт! Пристрелю, как собаку, Рыбулина и Митьку, — вот те и дисциплина! Не пристрелю, так зарежу ржавым ножом. Пускай нас Отец рассудит».

Больше не желая думать, Морозов поднялся по узкой тропинке и, раздвинув доски забора, нырнул в маленький зеленый дворик. Белянка выскочила у его ног.

Морозов подошел к окошку домика, где не раз собирались зимою, и стукнул. Занавеска отошла в сторону и высунулась борода. Окно распахнулось.

— Отец,—тихо сказал Ермак.—Ты дома?

— Ты, что ли, Василий? Что тебя принесло?

— Дело есть, Отец. Я к тебе оврагом.

— Ну, ладно. Ступай.

Когда засов стукнул, Ермак прошел знакомыми сенями, упираясь в спину Федору Афанасьевичу. В комнате с кривым покосившимся полом и убогой обстановкой горела маленькая коптилка. На полке стояло десятка два книг. В углу, около столика, покрытого газетой, сидел высокий парень, с продолговатым лицом, насмешливой улыбкой и живыми, смелыми глазами. Он встал.

— Ну, дядя Федор, прощай. Повторю вкратце. Светлые лучшие дни дорого достаются. Когда ни то, а при восходе солнца я закачусь. Но знаю: из памяти меня не выкинете, нет. Невидимо, в пространстве... — парень развел длинными руками.

— Будет, Константин! — сердито оборвал его Отец.

— Наставлений и поручений, конечно, не мне давать. Эх, Отец! Но у каждого в борьбе своя линия. Здравствуй, Ермак! — неожиданно повернулся он к Василию и приветливо улыбнулся.—Ты прости, я сейчас уйду. Вот Отцу пою рацеи. Аль меня не знаешь? Витовский я, Козуев... А я знаю твои дела, как вы Китаева на тачке волокли. Вот это дело! А теперь, братец...

— Ну, ладно, Константин!—опять сердито оборвал Федор Афанасьич.

— Что ладно? Тебя, Отец, не сдвинешь, а Ермак боевой. Ему жить и расти. Увидят когда ни то люди светлый день, ну, а мы для тех дней ляжем в основание. Вишь, Ермак, разногласие у нас насчет бомбы. Понял?.. Ну, прощайте.

Он восторженно посмотрел поверх обоих и вышел. Отец вышел следом. Вернувшись, он прошел из угла в угол, несколько засутулившись и засунув руки за верхний край брюк, наконец, сказал:

— Этот Константин — мое наказание. И что нынче за горячая молодежь опять пошла! Так и норовят в глаза чорту посмотреть: синие али зеленые? Дело делается конспирацией, терпеньем, организацией. Массы — все, а отдельный герой — пшик! Виселица по нем плачет. Понял?

— Понял, — мрачно сказал Ермак. — Мое дело тоже вроде Козуева. Ты, Отец, вот послушай. Дай, я только соберусь...

— Ты что-то не того,—подозрительно всматриваясь, сказал Отец. — Ты что!

— Устал я. Сейчас...

Ермак глубоко вздохнул и положил два крепких кулака на стол.

— Лампу не сковырни, — сказал Федор Афанасьич и вдруг отечески погладил его по голове:—Что, паренек? Аль тоже в герои ладишь?...

— Отец!—вскричал Ермак.—Я к тебе, как к родному. Нет у меня никого. Кому тоску откроешь! Конечно, я не могу сказать, чтоб я ту Таню не любил, но Отец, подумай, как все ужасно!

— Что ужасно?

— Отец, когда мне читали в кружке, я слушал. Но там: то, да не то. Капитализм, так сказать. А тут... а тут... Мать честная, тут прямо в глазах... баста!— И Морозов ударил по столу.

— Тише, не стучи. Конспирацию помни, — и Федор Афанасьич, мрачно оглядевшись, сел.—Теперь эмоция

твоя в словах разрядку взяла. Ты теперь, Василий, не путай, ты говори делом.

Но также путаясь, Василий сбивчиво рассказал историю со сторожкой и свои планы.

— Баста, Отец. Ей-богу, баста! Мне бы Костю Козуева в товарищи, — эх, да вот Миша Лакин не едет! — мы бы втроем сдвинули это дело. Их крушить, крушить!.. Их с лица земли сводить... Вот — то борьба! Рыбулина я кончу, Замуравкина кончу... Отец, я Сазонова кончу... Нет, что он сказал! Закачусь на восходе солнца. Ай, Отец, да если я с ним рядом, натворивши таких делов... Отец!

— Сядь,—тихо сказал Федор Афанасьич и опять погладил Ермака.—Не торопись на тот свет: там кабаков нет. Пороть вас некому. Эх, милые дети!.. Ну, дурной, совсем дурной, чего намолол. Сядь, сядь, я тебе сейчас докажу.

Федор Афанасьич прошелся опять из угла в угол, вынул потом толстую книгу с полки и повертел ее около Ермака.

— Вот видишь книгу... Вот. Когда б мы с тобой больно грамотны были, мы бы у этого отца учились. Вот — Карл Маркс; том первый. Помни. Все пройдет, придет такой час, книгу развернешь, и она многое тебе уяснит. Вот. А я так. Пока попросту скажу тебе: дурак ты, Васька.

— Что так? Не больно ли круто, Отец?

— В самый раз. Ты думал удивить, сторожку разнести... Милой мой, да Сазонову только того и надо было. Наших пошли арестовывать. Хватают там, тут, а все зря. Это что? Это медведя из берлоги рогатиной, рогатиной... Вот это что. Два эскадрона драгун вош-

ли. У них руки чешутся, у них по нас нагайки плачут. А ты детским способом Рыбулина попробуй за горло — герой! Ножом в бок — да? А им только того и надо. Вот из квартир голытьбу будто выселять станут под небесную крышу, расчеты об'являют, паспорта на родину шлют—это что? Это все рогатиной в бок. Им каждый день покоя, как чорту крест. И тут-то ваш брат, зеленый дурак — понял? — зеленый, без смысла, чувствий своих не удержит, пойдет шалить да бунтить, где машину крушить, где директора, где ножом в бок фабриканта, тут — их кашей не корми — бунт! Разнузданная чернь! Опасные скопища! И тут, братец, всю неповинную массу, даже женок и детей, берут в нагайку и в штык, — и гуляй, гуляй!.. Ты весело ногами рядом с Костей в воздухе закачаешь, а побитая толпа, как бараны, пойдет сквозь фабричные ворота и к станку станет... Нечего сказать, услужил Васенька!..

Федор Афанасьич, не привыкший к длинным речам, отер со лба пот, хлопнул ладонью по книге, поставил ее на полку и сказал:

— Идем.

Они вышли на крылечко, и Отец повесил замок на дверь.

— Идем,—повторил он сурово.—Ты в овраг, а я Московской пройду. Вот пойдешь улицей, ветерок ночной обвеет, а ты и подумай. Да приходи опять: послушаю, как ты умнеть станешь. Прощай. А то у меня дело.

И вдруг Отец обнял его и поцеловал.

— Горячка! Коли б у всех настолько градусов было, тогда б, Вася, загремели бы мы с тобой... Ну, иди, иди тихо, иди, сынок...

Оставшись один, Федор Афанасьич, посмотрев сквозь очки в темноту, дотронулся палкой до Белянки и, сделав ей какой-то угрожающий знак рукою, тихо вышел на Московскую улицу.

6. ЗАПИСНАЯ КНИЖКА «ТЕЗКИ»

Возневанский городской комитет с.-д. партии и несколько депутатов от Совета сидели ночью у небольшого костра. Один из районных работников — «Тезка» — бегло помечал в своей книжечке, что говорилось. Из недописанных слов и намеков, оборванных фраз и приписок, сделанных после, можно было бы с грехом пополам восстановить вот что:

Только что выслушали краткий рассказ Федора Афанасьича о вице-губернаторе: сведения, которые собрал Отец от «своих человечков». Эти «человечки» у Отца повсюду. А суть в том: ждите атаки.

Далее Авенир Ноздрин, председатель Совета, говорил тихо, но внятно. Этот гравер говорит, как адвокат. Откуда у него трибунное благородство? Речь плавная, без сучка. И удивительное спокойствие, особенно рядом с нервным и тощим Дунаевым.

— Не знаю, товарищи, все ли читали наше заявление о милиции, поданное еще Леонтьеву. Мы от Совета писали, что единогласно постановили устроить охранную стражу из рабочих для поддержания порядка на улицах, против черной сотни и хулиганов; она должна не допускать к работе отдельные фабрики, пока мы не решим все стать на работу. Мы писали, что этой милицией будет руководить Совет. Иначе мы не ручались за порядок в городе.

И вот, товарищи, вчера мне на квартиру прислан пакет. На нем написано: «Граверу Ноздрину».

Аверин вынул пакет, щелкнул по нему пальцем и помахал над головою. Кто-то сзади крепко выругался по адресу Сазонова.

— Матерый полицейский Сазонов, — продолжал Авенир,—очевидно круто меняет леонтьевский курс. Он пишет в этой бумаге: «В устройстве милиции из рабочих бастующих фабрик надобности никакой не представляется». Коротко и ясно. Товарищи, мы решили все-таки создать свою милицию явочным порядком.

После речи Авенира выслушали доклад Арсения и Дунаева.

— Город наводнен войсками — сказал Арсений. — Казаки астраханские и донские, кавалеристы, пехота. К солдатам нами выпущен ряд воззваний, идет работа в войсках. Но связь пока слаба. Войска усиленно восстанавливаются против рабочих. Следует прямо сказать: войска на изготовке.

Молодой Арсений — загадочная фигура. Какое уменье молчать; скажет ровно столько, сколько надо, любит цифру. Вот пай-мальчик!

Евлампий Дунаев страшно волнуется. У него есть какой-то секрет, который он держит про запас. Это видно. У него лицо, как у Христа после бичевания.

— Нас, собираются выселять из квартир, — начал Евлампий. —Но мы этому распоряжению подчиняться не будем; ни один из рабочих не покинет фабричной спальни. Фабриканты об'являют расчеты и собираются наши паспорта отослать на родину, — пусть шлют! — но пусть и знают: никакие меры нас не остановят, чтобы бороться с этим. Товарищи, мы выпускаем воззва-

ние о нашем невыезде из города до конца борьбы. Народ тих, но пусть его не дразнят. Лавки нам закрывают кредиты — это, так сказать, штурм с самой слабой стороны — нам не отпускают харчи. Это называется — бить по брюху. Но мы еще посмотрим, доведут ли до конца это дело, не испугаются ли господа фабриканты голодных бунтов. Надо нажимать, братцы, на местах. Пусть депутаты устраивают собрания по фабрикам и ведут на месте борьбу с произволом фабрикантов...

Тут Дунаев обвел нас всех глазами и отвернулся. В общем, я думаю, ему тяжелей всех: будто всю стачку взвалили ему на худые плечи. Вот уж—бремена тяжелые... и неудобоносимые... И вдруг Дунаев воспламенился. Посмотрите-ка: глаза!..

— Вот первые ласточки, которые появляются на фабричных воротах и у контор. Полюбуйтесь! Я вам оглашу только одну для примера. Ну-ка, Сикавин, читай, что у тебя в руках.

Сикавин встал и прочел густым басом:

«От Торгового дома Братья Гундобины в г. Возневанске. Мастеровые и рабочие Ремонтного Отделения фабрики на основании пункта 2 ст. 105 Устава о промышленности, приглашаются 27 сего мая получить полный расчет по день остановки работ. Тем рабочим и мастеровым, которые 27 мая не явятся лично за получением расчета и паспорта, причитающиеся деньги будут высланы через полицию. Спальное помещение должно быть освобождено, артельная кухня 27 мая будет закрыта.

Управляющий Илья Замуравкин».

В это время притухший костер собрал силы, охватил пламенем всю сушь, которую Позолотчик швырнул

наверх, и красная огненная ярость метнулась как раз подстать общему настроению.

— Итак, товарищи! — говорит свое Евлампий. — Сей небезызвестный супостат открывает против забастовки тонкую кампанию. За нас берутся, но не за всех сразу. Сначала вырывают самых покладистых, по частям. Бить по частям—вот их мудрость. Но тут, насчет слесарей, они не ошибутся ли?

— Ошибутся, — поддержал Евлампия Сикавин.

— Ну, где как, — поглядим. Клин промеж нас все-таки вбивают, — это иудина мысль. Я знаю, что фабриканты запрашивают войск для охраны. У них аппетиты — во: каждому давай батальон! Пока что под охра́ной заработал химический завод Панина, Товарищи! Время требует от нас делать ловкие повороты и наносить удары. Нам запретили всякие сборища в городе. Запретили? Да?

Тут Дунаев опять хитро осмотрел нас. «Вот, вот, выпу́стит секрет»,—подумал я, глядя на его сжатые острые кулаки и будто изготовку к прыжку.

— А я вам предлагаю! — закричал он. — А я вам говорю! Давайте двинем всю массу рабочих опять широкой лавой к городской управе. Плевать мы хотим на всех Сазоновых в мире! Мы не боимся грубой силы, ибо настоящая-то сила — мы, мы, голодные пролетарии!.. Как, братцы, скажете, хорошо так? Это будет достойный ответ на атаку.

И вот тут Федор Кукушкин, мой товарищ по несчастью, встал откуда-то сзади и попросил слова. Костер пылал, и лицо этого подозрительного Гоголя было неясно, оно будто прыгало; по нем струилась скрытая усмешка; не люблю я это лицо... Это лицо

создано для пощечин. «На немца работаешь», — хотелось мне подойти и ему шепнуть: — «А скажи-ка, гадина, сколько тебе дадено?» Интересно, что бы он ответил. А вдруг — хитрая бестия — сказал бы: «Врачу исцелися сам...»

(Это место о «врачу...» и т. д. в книжке зачеркнуто и запутано вводными случайными буквами, но при некотором усилии его удалось разобрать).

Слова Кукушкина:

— Товарищи! Мы избрали Совет депутатов, свой Совет. Небывалая вещь, с ног сшибательный ход на всю Россию! Первое время он как будто импонировал и власть держащим. У них поджилки тряслись. Даже от фабрик администрация покорно обращалась к Совету за разрешениями на те или иные неотложные работы. Сами знаете. Даже Кожеловский в кусты присел. Но вот мы на Талке, мы, так сказать, в опале у губернатора и отцов города... Нас вывели под сень этих сосен, и мы здесь пугаем только вольных птиц. Товарищи! А что же — я спрошу — после того, все-таки, сила мы или нет? Что ж, иссякли наши силы? Не за нашей ли спиной многотысячные массы, спаянные злобой к угнетателю, массы не только Вознесвани, но и всего N—ского района?.. Каждый день к нам идут десятки ходоков из губернии, и не только от рабочих, но и от мужиков... Разве это не бушующее море подняли мы, море, которое с легкостью может опрокинуть все препоны?

— Правильно, — прогудел Сикавин.

«Эх, простота ты»,—подумал я.

— Товарищи! — продолжал Кукушкин. — Я полагаю... — Тут он будто захлебнулся в восторге,

привстал на цыпочки и протянул к костру руки, — настало время более решительных действий. От обороны — к нападению! Мы не просто должны утрамбовывать городскую площадь тысячами пролетарских ног... (Какие поэтические фигуры! Настоящий Гоголь...) Пора выкинуть в массу лозунг: «Долой самодержавие!» Пора нам во главе этой массы активно взяться за борьбу, пора заострить наше оружие! Отчего бы нам не занять городскую управу, захватив в плен и в залог отцов города, признать прежнюю власть, власть Сазоновых и К°, Дергулевых и К°, низвергнутой? И провозгласить коммуну! Ха!

Танцуем карманьолу!
Да здравствует гром пушек!
Все буржуа будут повешены.

Вы смеетесь... Кто смеется? (Смеялись все). А я вам скажу: именно так делается революция! Именно: смелость, смелость и еще раз смелость. И пусть вся рабочая Россия тогда равняется по Возневанску. Это будет уже не девятое января, а девятый вал. Ах, вам опять смешно! Великолепно... Великолепно... Вы думаете своим собственным измором, голодом и пассивностью победить власть и хозяев. У вас куропаткинская стратегия.

Я—Куропаткин,
Меня все бьют,
Во все лопатки
Войска бегут.

Так нет, я вам говорю—и утверждаю!—массы буйно стремятся к действию, массы бурлят, массы прекрасно понимают, что и один месяц захвата пролетариатом власти стоит тех жертв.

— Довольно! — сказал Отец, вертя головой и моргая под своими очками.—Я и слушать не хочу. Мальчишество. Как можно доверять целый район такому вертуну!

И еще он что-то сказал. Что-то увесистое. Жаль, не было слышно Отца из-за общего гула и спора. А когда нужно, наш начетчик умеет ввернуть словцо... Да, Кукушкин здорово провалился... Надо же так перестараться! Его так крыли, что я не успел записывать. Я просто захлебнулся бы на месте злополучного Кукушкина от той остроумной брани, которая на него полилась.

Решено 23-го итти всей бастующей армии на городскую площадь. Лозунг: «Хлеба и работы!»

Боятся войск. Но не столько войск, как крестьянства. Говорят, мужики прут в город.

Итак: «Хлеба и работы!» Посмотрим, что даст на это Сазонов: ведь он не заведует ни хлебом, ни работой, он ведает только войском.

7. БАСНИ КРЫЛОВА

Утро 23 мая хмурилось. Непрерывный ветер бежал по звенящей сосне, клубились над Талкою облака, и рано, часов в пять, покрапал, будто на пробу, дождик. Но маленькая речка лишь весело зарябила пузырями и, журча, бежала на перегонки с ветром. Все-таки развертывалась весна, развертывалась в красном блеске сосен, в чирканьи птиц, в яри трав и цветов, в жужжании насекомых, и никакая хмурь не могла остановить ее бега.

Окраины двинулись к центру. Сначала заклокотали от людских толп Ямы, Рылиха и Завертяиха, маленькие переулки там гомонили свои домашние митинги. Потом из этого котла медленно потекли серые потоки все шире и шире по улицам Возневанска. Спальни фабрик—эти унылые громоздкие казармы—копошились и гудели, как гигантские пчелиные ульи; ворота фабричных дворов распахивались, и серые потоки выливались на улицы. Они выбрались, наконец, на большую, широкую Соковскую улицу, полились через Приказный мост, под старыми нависшими ивами, и, подымаясь в гору, бурлили и бурлили мимо домов неугомонным говором, всплесками шуток и смеха, причитаниями и всхлипами старух, хриплыми возгласами упрямых стариков и общим суровым топотом ног.

Но на Талке, где собрался Совет, было некоторое легкое замешательство: накануне поздно вечером поступила бумага, адресованная опять «граверу Ноздрину».

«Во избежание печальных последствий, неизбежных от соприкосновения вверенных г. Начальнику губернии войск и недисциплинированных толп, самовольно взятых вами к руководству, а также во исполнение ранних распоряжений власти о недопустимости сборищ в городе,—так писалось в бумаге,—заместителем Начальника губернии предлагается вам неукоснительно воспрепятствовать хождению 23 сего мая рабочих к Городской Управе. Взамен сего выбрать небольшую депутацию на с/ч для переговоров с городским головою.

За вице-губернатора

Полицмейстер К о ж е л о в с к и й».

Бумага эта была в некотором роде — победа, так как из нее ясно сквозило беспокойство «вице» и, конечно, не за разрозненные толпы безоружных людей, а именно за вверенное ему войско, корпуса и машины фабрик и драгоценные особы владетелей этого добра. Бумага эта явно — приглашение парламентеров, белый флаг, выкинутый из окопов дрогнувшего в испуге неприятеля.

Но вместе с тем здесь была определенная угроза. Всем был памятен сдержанный и краткий доклад Арсения, с цифрами в руках, о количестве и характере войск и о том, как мало надежды, что эти ружья стрелять не будут и эти нагайки не засвистят над головами.

— Гапон шел ко дворцу,—сказал Тезка,—он шел с толпою, не зная, что ее ждет. Он шел опрометчиво. А мы ведем массы к управе на явный убой. Какие еще доказательства и сомнения: из бумаги ясно, что ждет народ на площади! Какие гостинцы!.. Следует послушать Сазонова.

— Поздно,—сказал Семен Иванович, сняв фуражку и иронически поклонился Тезке, — поздно-с. Это не гапоновские штучки, где все было неосмысленно. Народ сам непромах, он знает, зачем двинулся к управе. Поди-ка, задержи его!

— Это тебе не птица, — пробасил Сикавин: — ту взял за хвост — она не летит... Да и то: сокола за крыло не ухватишь. А мне сдается — сегодня мы производим смотр. Ни та, ни другая сторона не сделают лишнего шага. Только посмотрят друг на друга. Помните, братцы, а ведь так пало татарское иго. Постояли, посмотрели и разошлись.

— Вопрос решенный, спорить не о чем, — сказал торопливо подошедший Дунаев.

Он скинул свою потертую фуражку и стер пот со лба; рыжее поношенное пальто, известное теперь всему Возневанску, он быстро снял и скомкал подмышками. За это утро Дунаев уже успел сбегать туда и сюда, показаться не один раз во главе двигающегося народа.

— Что спорить, когда городская площадь уже принимает дорогих гостей! Если у кого, между нами говоря, поджилки трясутся, тот лучше не ходи.

— Я не об этом,—обиделся Тезка,—не о моих поджилках речь...

— Ну, ладно,—перебил Дунаев.—Вот что, други, я предлагаю. Кашу маслом не испортишь. Будем крыть и так и так. Я предлагаю отделить пятерых резвых депутатов для разговоров с Каустиком. Окажем их степенству честь. Ну, как? Идет, что ли?

— Идет, Евлаха!—крикнул Морозов.—Иди ты и откуси ему нос.

— Если понадобится, то и откушу,—спокойно сказал Дунаев.—Зубы еще есть. Ну, я иду. Еще кто? Кому со мной итти?

— Грачеву итти, Грачеву! Секретарь и дипломат. Ему итти!—закричали кругом.

— Ладно. Глас народа — глас божий, — улыбнулся Дунаев. — Теперь, братцы, без Семен Иваныча, я думаю, никак нельзя? Верно?

— Нельзя!—крикнули кругом. — Сеня Позолотчик, ты там Каустику химии подпусти. Эй, Сеня, выходи!

Семен Иваныч поклонился и встал рядом с Дунаевым.

— Ну, теперь кого?

— Лапу! Лапу! Он покроет... Попадешь ему в лапы!

— Еще?

— Братцы, у Сикавина бас.

— Только пусть не кашляет.

— Сикавина для густоты, Сикавина!

— Идет. Кто же, значит, пятый?

— Эй, кто говорун? Покажи язык.

— Нет, кто хитрей.

— Да Сикавин и будет пятый.

Пятерка, улыбаясь, встала в середину. Ее проголосовали, и весь Совет, во главе с депутацией, двинулся к дому Каустика. Впереди шли двое: Морозов и напросившийся Тезка — они несли белый стяг, на котором, над головами всех, чернело: «Хлеба и работы!»

Скоро Совет влился в общую массу, и когда пятерка очутилась перед неприступными воротами каустикова фундаментального забора, белый стяг колыхался уже далеко впереди, а в толпе головы депутатов Совета затерялись вместе с рядовыми рабочими.

— Звонить, что ли? — весело спросил Лапа.

— Нет, зачем! — пошутил Позолотчик: — мы и в подворотню пролезем.

Дунаев дернул нервно звонок, а Сикавин прочел надпись: «Без звонка не входить, есть собаки».

— Так точно,—сказал Семен Иваныч.—Собаки есть.

— Вам кого?—сердито спросил плечистый человек в белом фартуке, приоткрывая калитку и подозрительно оглядывая депутатов.

— От Совета. Отворяй, — сказал Лапа и шагнул во двор, отталкивая дворника.

— Не велено пускать неизвестных. От какого совета?

— Ну, ладно! — крикнул на него Дунаев. — Хозяин дома?

— Постойте тут за воротами, пойду узнаю.

— Постоим и здесь. Поди, скажи: согласно отношению вице-губернатора пришла депутация от Совета рабочих. Понял?

Это сказал Грачев.

— Слушаю, — быстро ответил дворник и по асфальтовой дорожке тяжело побежал к боковому крыльцу. Только он скрылся за дверью, вышли два дюжих лакея во фраках и стали разглядывать пятерку.

— К Семен Мареичу? — спросил, наконец, один, прищурившись, когда рабочие подошли близко к крыльцу.

— К голове,—ответил Сикавин.

— Они голова и есть.

— Слышу, слышу, — сказал Сикавин. — Да оно и так видно: вас тут двое, да с дворником трое, а голова одна.

— Ха-ха-ха, вот так отец-протодьякон!—залился тенором лакей.—Сердитый!

В это время вышел дворник и сказал:

— Пожалуйте за мной.

Он повел их по узкой асфальтовой дорожке под высокими густыми елями... они обошли один угол мрачного серого дома и другой и, наконец, зашли с тыла в маленькое узкое крыльцо. Здесь в прихожей их принял бородатый степенный великан, говоря миролюбиво:

— Пальты оставляйте здесь. Фуражки здесь. И палку эту здесь.

Грачев отдал ему палку.

— Оботрите ноги и вот пожалуйте,—указал он на коврик и на дверь.

Рабочие вошли в небольшую комнату, где за широким письменным столом сидел почтенный старичок и хлопал на счетах, закусив зубами ручку. У стены стояла высокая конторка, и тянулись туда и сюда мягкие, обитые клеенкой скамьи.

Со стен глядели большие замысловатые часы в футляре красного дерева и листы дипломов и всевозможных выставок. В углу спускался с потолка рупор и дергалка звонка.

Старичок вынул изо рта ручку и, сняв очки, бегло осмотрел рабочих.

— Дунаев будете? — спросил он тихо и загадочно Евлампия, и, когда тот кивнул головою, он поманил его пальцем к себе и шепнул на ухо:

— Пролетарии всех стран, соединяйтесь? Хи-хи-хи!.. Ах, вы, закоперщики!..

Он дернул ручку звонка и прокричал в трубу:

— Семен Мареич, пришли депутаты бастующих. Что с ними прикажете?

Звякнул звонок, и старичок приложил к трубе ухо. «Бу-бу...»—гудело в трубке.

— Слушаюсь.... Сейчас придут, — сухо бросил старичок рабочим и погрузился глазами в толстую книгу.

Минут через десять вдруг около одного из дипломов часть стены ушла назад, и в узенькое пространство, сгибаясь, вошел городской голова. Здесь была дверь, которую сначала не разглядели депутаты.

— Садитесь, садитесь,—сказал торопливо, не здороваясь, Семен Мареич и указал на скамьи.

Все пятеро сели в ряд, около одной стены, и голова, взяв стул, близко подсел к ним, так что уперся коленками в ноги Сикавина, отчего тот густо покраснел и кашлянул.

Старичок тоже кашлянул и усердно заскрипел пером в толстой книге.

— Так...—протянул Семен Мареич, вынимая золотые часы и сверяя их со стенными:—Так... Очень рад познакомиться... С тобой будто мы виделись?—спросил он Балашова.

— В карете мимо меня часто проезжали,—сказал Семен Иванович, не моргнув глазом.

— В карете... Хе-хе!.. Ну, быть по сему: в карете, так в карете. Народ вот опять на улицах шумит. Шумит народишко. Из безделья забавку себе сделали. А ведь пора и кончать, как думаешь? Тебя как по отчеству-то?

— Семен Иваныч...

— Ну, вот, Семен Иваныч... А тебя?

— Евлампий Александрыч.

— Ах, это ты самый и есть Дунаев? Ты тот и есть, чудачок, что с бочки речь держит?

И голова со стулом подвинулся к Дунаеву и нажал коленком на Семена Иваныча.

— Язык болтается, а челнок молчит. Ох, дела, дела!.. Ткач будешь?—вдруг повернулся он к Сикавину.

— Ткач, — угрюмо сказал Сикавин. — Гундобиных — ткач, а так — депутат Совета.

— Гундобиных! — воскликнул голова.—Ильи Петровича Замуравкина служащий? Под его руководством? Как же это он тебя в депутаты уполномочил?

— Фабрика уполномочила, — буркнул Сикавин. — Да что лясы точить! Давайте о деле.

— А какое дело? — выжидательно спросил Семен Мареич и впился умными глазами в Дунаева. — Об'ясните вы мне, сделайте милость, из-за чего вся буча. Жили мы с вами, слава богу, все по-хорошему, а вот понаехали людишки каки-то таки, и пошла буча... А ты чей будешь? — повернулся он к Грачеву.

— Возневанской мануфактуры, Николай Павлыч Грачев, — твердо ответил тот. — А так — секретарь Совета.

— Секретарь? — почтительно переспросил голова. — А председателя с вами нет?

— Нет.

— Не соизволил, стало быть. Так... А что это ты за бумагу, секретарь, вынул?

— Это вот то дело, Семен Мареич, по которому мы к вам зашли. Вот, прочтите. Бумажка вице-губернатора.

— А ну, дай, дай, — оживился голова. — Может, власть предержащая что новое пишет.

Он нацепил пенсне и взял бумагу.

— «Во избежание печальных последствий...» Да, да, спаси, бог, народишко жалко, людишек покалечить могут... «... неукоснительно воспрепятствовать...» А они идут, ползут муравьи, ползут, я с вышки видел, неукоснительно ползут... «Взамен сего...» гм!.. «на сие число...» Гм!..

Голова снял пенсне и обвел всех недоумевающе.

— А при чем тут я? Совсем не понимаю. «Выбрать депутацию...» Ох, эта власть! Депутаты, делегаты, мандаты, резолюции... До чего избаловали народ! И все

власть... Ее это штучки, штучки, штучки-с. В чужих делах, хоть убей, не разбираюсь.

— Позвольте, что же это за чепуха! — воскликнул Дунаев. — Разве вам или фабрикантам было неизвестно о посылке этого приглашения?

— В том-то и дело, мой дорогой, Евлампий... Евлампий... Как дальше-то?

— Александрович, — передернувшись, буркнул Дунаев.

— Ага, Александрович! Дай-ка я тебя запишу... У меня тут цельный поминальник. — И голова вынул книжечку и карандашик и пометил, тихо приговаривая: — Евлампий Александрович Дунаев. У меня, брат, тут вся власть...

— Отлично. Но чем же об'яснить такое недомыслие Сазонова, или это что?.. — И Дунаев встал. — Бумага как будто от имени фабрикантов...

— Да нет тут имени, нет! — воскликнул Дергулев и, накинув пенсне, опять перечел бумажку. — Опять же, дорогой, пишет он — воспрепятствовать. А они прут. Погляди-ка на улицу: дым коромыслом. Так о чем говорить?

Дергулев встал, положив бумагу на колени Грачева; он опустил руки в карманы и помолчал. Дунаев взял бумагу и, нервно закрутив ее, быстро проговорил:

— Вы — голова, от вас идут все эти совещания фабрикантов. Нечего нам в жмурки играть. Там нас ждут на площади. Хотите ли говорить о деле?

— Не уполномочен, Евлампий... — тут он вынул книжечку, прочел и добавил: — Александрович. Ни о каких переговорах ничего не знаю. Не уполномочен.

Ведомо мне, действительно, решение фабрикантов: каждый хозяин ведет речь со своими рабочими; договорится — его счастье. А вот сосед может не уступить. Вот, скажем, Жохов Елисей Иваныч, да он, упрямец, без оных пойдет, последние подштанники продаст, а не уступит! И нет, дорогие мои, закону, нет...

— Закон — дышло... — сказал Сикавин и встал, побледнев.

И все рабочие встали.

— Что-с? — переспросил Дергулев.

— Закон ваш, говорю, дышло: куда поверни, туда и вышло. Напхали нам твоих законов в глотку, ажно дышать стало нечем. Ты вот, ваше степенство, сходи-ка по рабочим спальням, да глянь, как там детишки с голоду дохнут... Вот что!

Старичок бухгалтер обернулся от книги, встал и, сняв очки, вопросительно посмотрел на Дергулева и укоризненно на рабочих; потом он торопливо нажал кнопку над письменным столом.

— Был такой писатель, — спокойно ответил Дергулев, кивнув старику,—Иван Крылов звался, басни еще писал. Вот он и пишет, братец: «Невежды судят точно так...» Слыхал такую?

— Слыхал. А слыхал и такую: «Свинья под дубом». Ты слыхал?

— Что-с? — пожевал Дергулев губами и, увидя на пороге троих дюжих лакеев, ласковым голосом добавил: — Прошу прощенья, без кофею отпускаю... Дела да случаи в конец замучили... До свиданьица, гости!

И он, кивнув, обернулся и, согнувшись, быстро ускользнул в ту же дверь, откуда и вышел.

Рабочие посмотрели друг другу в глаза и рассмеялись.

8. КРАСНЫЙ ФЛАГ

Оторачивают девки
Красный флаг из кумача;
Завтра будет он на древке
Красным знаменем ткача.

Авенир Ноздрин

Городская площадь перед управой, когда подходили первые группы рабочих, была пуста. Лавки спешно запирались на огромные увесистые замки, но приказчики и хозяева, торопливо снимая присяги (фартуки), толпились веселыми кучками по галереям торговых рядов; всем хотелось посмотреть, как начнется битва «русских с кабардинцами», — так громко назвал ожидаемое столкновение Сережа Куражов, зажигая собственноручно лампаду перед меланхолическим образом Христа, подвешенным к потолку галереи.

— Смотри, Сергей Александрыч, — сказал старик Кабанов, мучник, подымая белую голову, — как бы того... лампадку бы того... Помню, в девяносто пятом один казак на коне сюда в'ехал и пошел шугать, пошел шугать... Так он, братец, того... Пикой весь потолок исчертил и прямо, значит, того... в образ — трах! Тогда у нас Георгий Победоносец висел... того...

— Он сам был с пикой, дядя Клим,—весело заржал Санчо-Панчо. — Победоносец-то.

— Чего?

— Сам, говорю, конный был, из казаков. Небось, Христос не таковский, он за себя и без пики постоит.

А если масла какому рогалю капнет на плешь, так с нашим удовольствием...

— Ну, того... Как знаешь, того... Масла кому жаль... Шут с ним и с маслом. Лишь бы народ к разуму привести...

Наконец, среди моря голов выплыл белый стяг с надписью: «Хлеба и работы!» Теперь его несли Морозов и маленький ткач, который весь надулся и, радостно вышагивая, покраснел от натуги.

— О-го-го-го!.. Беленького хлебца захотели, — ухмыльнулся Куражов.

— Винча с хлебчем... — проговорил приказчик в усы, нарочно коверкая слова.

— Роботать не хотят, а роботы просят, — сказал Кабанов, опираясь на палку и качая седой головой.

— Работнички! — поддакнул приказчик. — Ты сначала заработай, а потом хлеба проси. А они наперед хлеба, а там работы. Сытое брюхо к работе глухо.

— Глухо, глухо... — повторял Кабанов, худой и желтый, как пергамент. — Батогов им, а не роботы.

Во дворе трактира «Вена», куда то и дело шмыгал из управы Безруков, стояла тесно друг к другу пестрая толпа: тут были молодцы из мясных и овощных лавок, десятка два грузчиков с вокзала, возчики-ломовые, безруковская артель печников, приказчики из железных лавок, известные своей мускулатурой, и несколько огородников от Сластихи, славившихся еще по старым стычкам с рабочими. Гурыба, выше других на голову, пышной голодраной фигурой похожий на старинного запорожца, прислонился к легкому заборику, где было написано на одном конце —

«для мужчин», на другом—«для женщин», и кричал, показывая в руке десятифунтовую гирю:

— Кому мозги выпустить? Желающий, подходи!

Лавочные ряды спускались под гору вниз, к базарной площади. Здесь, на площади, пахло аммиаком, сеном и мучной затхлостью. Около телег толпились крестьяне и гудел взволнованный говор. Лишь пришли сверху вести о появлении забастовщиков со стягами и выяснилось, что пока никакой свалки нет, кучки мужиков, а потом и баб всеми дорогами бросились на городскую площадь. Между рядами, в проходах и переулках, тесно стояли они и наблюдали приток рабочих, не сливаясь с ними.

— Хлеба и работы просят.

— Без работы посидишь, исть захочешь.

— Тощой народ. Жидкий народ!

— Эй, товарищ! Каких же вы правов требуете?

— Отпетые. Их и казаки боятся.

— У них, чай, полны карманы болтов да гаек...

— Вот кабы нам к их лозунгу пристать, им с деревенскими сподручней бы.

— Лозунгу! Ты слыхал: воля ваша, спина наша, а лес казенный. Ты вот прыгни через энтот лозунг.

— Эх, земляки, вот где нашему обчисву учиться! У нас велик ли барин, и то шапку ему, прыщу, за полверсты ломишь.

— Ну, тоже и наши, не скажи. У нас в этом году барские луга порешили косить.

— Он те скосит!

— А вот учись у них, как действовать. У них массыя. Возьми-ка ты их голыми руками.

— Ты глянь сначала по-за рядами, там и говори: голыми.

Действительно, за рядами, по дворам и в разных закоулках стояли во всеоружии казаки и драгуны, кое-где пешие отряды солдат и полицейских.

Обоюдный смотр продолжался некоторое время без особых осложнений. Требовали вице-губернатора, но он не выходил. Бочку хотя и выкатили на средину, но ораторы не вылезали туда, и разговоры шли вразбивку, по кучкам. Передние ряды молча, с каким-то ожиданием смотрели на окна городской управы, теперь тщательно закрытые.

Влез, наконец, на бочку неизвестный старик, борода ниточкой, показывал бумагу и кланялся. Но что он говорил, не было слышно. Кто-то сказал:

— Прошение губернатору от всех трудящихся.

— Не надо! Не надо! — загудела толпа.

Старик замахал руками и опять закланялся, но его за полы стащили вниз, и он, споря и тыча бумагу в носы окружающим, замешался в толпе.

Небо мрачно хмурилось; там, за крышею управы, был неиссякаемый запас облаков, которые молча и тихо ползли и ползли по голубым дорогам; ветер, пробегая над головами, колыхал кое-где волосы, и самое мерное движение толпы казалось производил тот же неугомонный ветер.

Наконец, мелькнуло в толпе рыжее пальто Дунаева, и вся пятерка депутатов в угрюмом молчании подошла к крыльцу управы.

Неясный гул вопросов и восклицаний прошел по толпе, и ему отозвался вдали легкий гром приближающейся грозы.

— Вам кого? — спросил важно пристав Саваренский, загораживая пятерке дорогу.

— Для переговоров с вице-губернатором, — сказал Грачев.

— Вот бумага. Мы уполномочены Советом рабочих депутатов.

— Вы-то уполномочены,—сказал Саваренский грубо, — да вице-губернатор-то желает ли с вами говорить. У нас нынче строго.

— Прочтите: он сам нас приглашает.

Саваренский глянул неодобрительно на бумагу, но не прочел.

— И о чем говорить! — пожал он плечами. — Все сказано. Слова — слова и есть. Впрочем, полицмейстеру могу доложить.

Он подозвал молоденького околоточного и что-то пробурчал ему. Тот, оглядываясь, побежал ретиво по лестнице наверх.

— Отойдите теперь в сторонку, — распорядился Саваренский. — Вас позовут. Нынче у полицмейстера много работы, не знаю, когда он вас примет.

— Нам он и не нужен, пусть себе работает во славу Возневани, — сказал Семен Иванович. — Вы пропустите нас к Сазонову.

— Не могу-с. Никак.

— Тогда я сейчас об'явлю на всю площадь, что пристав Саваренский... — нервно закричал Сикавин.

— Ах, проходите, проходите! — в раздражении пожимая плечами, ответил Саваренский и показал на лестницу: — Пожалуйте-с! Но предупреждаю, его превосходительство, вице-губернатор строг, это вам...

Рабочие, не слушая, поднялись по лестнице. При входе в зал они натолкнулись на околоточного.

— Вы собственно, извиняюсь, кого желаете?

— Проводите нас для переговоров к вице-губернатору.

— Что вы, помилуйте! Как я могу! К вице-губернатору! Да это никак нельзя!

— Ну, вызовите какого-нибудь чиновника, секретаря.

— Извиняюсь. Обождите маленько... Вот у окошечка... Будьте добры, пожалуйте сюда.

Отошли к окну.

— Откроем, — сказал Сикавин и дернул за ручку окна. — Им, чертям, воздуху надо пустить.

— Потрудитесь не отворять, — подбежал низенький чиновник в мундире со светлыми пуговицами. — Здесь самовольные поступки наказуются.

В это время вышел франтоватый жандармский офицер с приятным и насмешливым лицом.

— Что такое? — спокойно спросил он чиновника, как будто не замечая рабочих.

— Да вот, господин Шлегель, люди какие-то с улицы ворвались... Я уж и не знаю. Из окна хотят говорить.

— Что такое? — тоном выше спросил Шлегель. — Люди?

— Мы — депутация от Совета, — повторил Грачев. — Мы приглашены для переговоров. Мы уполномочены.

— Что такое? — обернулся к нему Шлегель и осмотрел внимательно. — Вы? Де-пу-та-ция?

Это сказал таким тоном, как будто бы никак не мог понять, как пятеро стоящих перед ним могут быть «депутацией».

— Мы требуем вице-губернатора к нам для об'яснений, мы пришли по его же бумажке. Мы не обиваем ваши пороги, но нас пригласили! — воскликнул Дунаев и, окинув фигуру Шлегеля, вдруг стал нервно открывать окно.

— Что такое! — взвизгнул Шлегель. — Оставить это!

— Или вы вызовете Сазонова, или я...

— Что такое! Угрозы! Как можно требовать в то время, когда надо просить! Это бестактно.

— Вы хотите сначала поставить нас на колени. Вы встаете стеной между рабочим и хозяином. С кем нам говорить? С кем? Кто же наш хозяин?

— Что такое! Мы охраняем только порядок. Правительство не вмешивается... Кстати, напишите четко на бумаге ваши фамилии и по какому делу. Я готов оказать вам содействие.

— По какому делу! — воскликнул желчно Дунаев и показал в окно на толпу и стяги: — Вот наше дело. Пора прекратить игру в кошки и мышки. Тысячи голодных стучатся в ваши дубовые двери. О каком еще деле речь?! Вы должны склонить фабрикантов на уступки.

— Приглашаю вас успокоиться, — перебил Шлегель и обернулся к чиновнику: — Будьте добры опросить и записать этих людей. А я буду просить генерала их выслушать.

Молодцевато повернувшись, звякая шпорами, Шлегель отошел несколько шагов, остановился, медленно и изящно закурил и стал насмешливо наблюдать, как засуетился чиновник.

— Кто у вас старший? — спросил чиновник.

— Все старшие, — ответил Сикавин. — Пиши: Иванов, Петров, Сидоров, Соколов и Мухин.

— Мухин — это вы?

— Мы.

— А кто Соколов?

— А вот он наш сокол! — сказал Сикавин, указывая на Дунаева. — Любому ястребу глаза выклюнет.

— Я вас пригласил не шутки шутить! — вспыхнул чиновник и побежал с бумажкой к Шлегелю.

— Написали? — спросил тот.

— Помилуйте, господин ротмистр! Я прошу оградить меня от оскорблений...

— А что на бумажке?

— Вот: Иванов, Петров, Сидоров, Соколов и Мухин. Наиболее зловредный из них — Мухин. Обратите внимание... вон тот, черноглазый. И зачем их пускать!

Шлегель улыбнулся снисходительно и, ничего не говоря, с бумажкой ушел в другую комнату.

Откуда-то выползло еще несколько человек и стали недружелюбно разглядывать рабочих.

Темные сумерки облаков набежали на окна и мягко буркнул гром.

— Гремит, — сказал человек с окладистой бородой, прислушиваясь. — Благоговей, сын перси!..

И вдруг ослепительный блеск и сильный удар потряс стекла. Все, кроме рабочих, торопливо перекрестились. Дождь захлестал в большие окна, и Дунаев посмотрел с тоскою на площадь, где колыхалась необозримая толпа. Теперь пятерка была плотно окружена: тут стояли, посмеиваясь, гласные, несколько корректных чиновников, подобострастный околоточный, жандарм и какие-то неопределенные люди.

— Прогневили Илью-пророка, — сказал купец. — Все требуем и требуем, всю жизнь до самой смерти недовольны будем.

— В начале бе бунт. И земля была неустроена и пуста. Бунт — это и есть хаос.

Это сказал Безруков, кусая бородку и злобно разглядывая рабочих.

Блеск молнии заставил всех зажмуриться, и тотчас же следом необычайной силы удар, казалось, потряс управу. Все истово, шепча слова молитв, перекрестились, и только депутация стояла, не шелохнувшись.

— Бога-то не боитесь?—спросил, наступая, Безруков.

— Да что-то его здесь как будто не видать, богато,—ответил Семен Иванович и комично огляделся.

— Ну, а грозы, грозы-то не боитесь?—сказал бородатый купец, щуря глаза на Позолотчика.

— Да что ж,—ухмыльнулся Семен Иваныч:—видали мы всякие грозы. Вот голода, господин порядочный, будто побаиваемся, голода...

В этот момент ряды окружавших раздвинулись, и в коридор между людьми вошел невысокого роста генерал, в форме защитного цвета. Холодное лицо его, все в мелких морщинках, было спокойно и бесстрастно. Глазки были маленькие и сверлили того, в кого он вглядывался. Что-то невзрачное и крайне скучное было в этом подтянутом человеке, и, увидя его, рабочие сразу и не поверили, что этот будничный человек и есть тот Сазонов, тот страшный «вице», имя которого не без испуга склонялось сегодня утром на Талке.

Сзади Сазонова стоял насмешливый Шлегель, как будто в ожидании забавного зрелища, и еще два

офицера. Нерешительно и даже боязливо подошел генерал к Сикавину и посмотрел на него.

— Депутат? — быстро спросил он. — Вы все — депутаты?

— Так точно, ваше превосходительство, — ответил за них ретивый околоточный, — эти самые пять человек и есть депутаты.

— Мы пришли... — начал Грачев.

— Вы пришли, — спокойно перебил его Сазонов и провел рукою по своим седым подстриженным усикам. — Но вы пришли с толпой, скопищем, вопреки моим ясным приказам не собираться в городе.

— Ваше превосходительство, — выступил Дунаев, нервно теребя свою фуражку и стараясь быть спокойным. — Нам по параграфам не жить. Приказы ясные, а дело сложное. Главное, разговаривать не с кем. Хозяин подобрал полы, нет, чтобы требования наши с уважением и толком разобрать. Тысячи бастующих — как никак, люди. У них семьи — жены и дети. Мы ждали. Одна неделя, другая. А все ждем. Без хлеба сидят. Загнали нас на Талку, с кем там говорить?

— Говорить надо не на Талке, по фабрикам говорить.

— Нельзя по фабрикам говорить, разброд будет. Есть у нас Совет.

— Ваш Совет — фикция и декорация. Вы предпочитаете беспорядочные скопища, подстрекаемые чуждым элементом. С ними говорить отнюдь не будут.

— Позвольте, ваше превосходительство, но вот ваша бумага, вот мы, пятеро, были нынче у городского головы, и он сказал, что не уполномочен. С кем тогда говорить?

— Один раз фабриканты отклонили ваши пожелания. Надо встать на работу, а потом и говорить.

— Мать не разумеет, пока дитё молчит,— сказал Сикавин. — За станок станешь — о чем тут говорить? Мы требуем уступок.

— Хозяева в праве уступать и не уступать; в праве говорить с вами и молчать. Вы только рабочая сила, и без хозяина вы — ничто. Чей капитал? Чьи машины? Чье все это? Отнюдь не ваше. Вы что с собой на фабрику принесли?

— Вошь в гаснике принесли, известно, — сказал Семен Иванович. — Небось, саблю сбоку не принесли. Ну, а все-таки! Кто-то принес и вот эти... — и он протянул Сазонову две ладони: — Вот, ваше превосходительство!

— Оставить это! — воскликнул генерал и быстро отступил. Он потрогал усы и продолжал: — Я вам говорю, и вы извольте сказать там, — и он махнул рукою на окно: — сказать там, что сегодняшнее собрание под окнами учреждения незаконно. Предостерегаю: могу принять строгие меры. Все очень просто. Никаких сходок, никаких флагов! Ныне допускавшиеся собрания на Талке закрыть. Никаких лозунгов и вредного разврата. Разгонять буду нагайкой.

Выпалив все это четко и ясно, не особенно повышая голос, Сазонов спокойно повернулся и пошел. Но обернулся и, протянув руку к окну, крикнул:

— Видите, там... Передать: разойтись!.. Передать немедленно: марш по домам! Виктор Наумыч, — обратился к почтительно согнувшемуся чиновнику: — заготовить срочно приказ о недопущении никаких сборищ нигде, ни на Талке, нигде.

— Слушаюсь, ваше превосходительство.

И шелест одобрения пробежал по залу.

— Пожалуйте, таким образом, к выходу, — сказал околоточный, указывая рабочим на дверь.

Депутация мрачно посмотрела вслед уходившему вице и спустилась с лестницы. Сзади шел Безруков и хитро подмигнул Саваренскому.

— Были на приеме? — спросил пристав.

— Были и сплыли, — ответил Безруков. — Молитесь царю небесному...

— Далек царь, да близок паршивый псарь! — мрачно выругался Сикавин и, обернувшись, помахал кулаком в окна управы.

Дождь еще хлестал ожесточенно по толпе, водосточные трубы шумели и бурлили, два стяга, намокнув, выглядели очень жалко: от букв тянулись вниз черные полосы.

В одном из пролетов между рядами, за спинами мужиков и баб, неожиданно выросли казаки; их было много; черные пики, как молодой весенний лес, маячили на голубом просвете. В этой стороне как раз седые тучи расползлись в стороны и обнажилась манящая просинь, такая ясная между двумя рядами лавок, идущих вниз, к высокой Воздвиженской колокольне.

Но одновременно с казаками на возвышении, перед рабочими, замаячило рыжее пальто Дунаева. Дождь, растрачивая последние силы, отшумел по железным крышам, и первые слова Дунаева, во внезапной тишине и влажном воздухе, прозвучали особенно четко.

— Товарищи, после недавних лицемерных слов власти показали нам откровенную фигу. Подумайте над

этим. Хотите ли вы бастовать или сдаться на волю победителя?

— Бастовать! Бастовать! — пронеслось по толпе, и крик этот, все усиливаясь, гудел и растекался во всех направлениях.

— Бастовать решили, — сказали мужики, боязливо поглядывая на пики: — Не сдаются!

Бабы вздыхали и крестились.

Услышав грозный крик, лошади казаков переступили с ноги на ногу, прядая ушами и кивая мордами, и оттого пики заколебались, дрогнули на голубом просвете.

— Поклянемся, товарищи, крепко стоять друг за друга. Не вступать в переговоры с отдельными хозяевами. Вице-губернатор горой стоит за наших хозяев. Он не допускает нас к ним. Вы видите, кого защищает наше правительство. Вы видите,—и Дунаев показал в сторону казаков: — над кем занесен кулак Сазонова. Нас укрощают высоко поднятым кулаком. Против нас союз кулака и денег. Так и мы не будем простаками, и мы сожмем свой рабочий кулак крепко. Товарищи, долой самодержавие!

— Долой самодержавие! Долой его! Смерть ему! — загудело волною, ударяясь в окна управы и стены лавок.

— Идем на Талку! Идем из этой ловушки! Стройся.

Маленький ткач вскочил на бочку; он вынул торжественно из-за пазухи красное полотнище и, сам сияя, как эта материя, развернул ее над головами; потом живо из кармана вытащил молоток и показал его толпе.

— Ура! — кричала и ликовала толпа, и от этого крика, казалось, тряслось все вокруг.

Морозов ловким поворотом оторвал от древка один конец белого стяга, и маленький ткач живо, на виду у всех, приколотил к шесту красную материю.

— Стройся! Стройся! — кричал Станко. — Дружина, к красному знамени!

Саваренский, околоточный и двое полицейских попробовали протиснуться к бочке.

— От имени, от имени... — кричал, пыхтя, Саваренский.

— От кого?

— От имени генерала Сазонова, прошу, во избежание...

— Долой!

— ... Кровопролития! Прошу снять запрещенный флаг.

— Товарищи, тише! — крикнул Станко, вскакивая на возвышение и оборачиваясь к Саваренскому и управе. — Передай своему генералу, что он или лжет, или ошибся: ни в одном томе русских законов не говорится о том, какой коленкор дозволенный и какой нет.

— Ура! — опять прокатилось по толпе, и красное знамя, высоко поднятое в руках Ермака, медленно двинулось с площади.

И за ним, широкою рекою, вся продрогшая на дожде, но кричащая и поющая, потекла толпа:

— Отречемся от старого мира,
Отряхнем его прах с наших ног...—

запевала пронзительным голосом какая-то испитая женка, с растрепанными волосами, забегая вперед зна-

мени; и толпа, толкая в водоворот друг друга, оглядываясь на окна управы, в увлечении не столько пела, сколько кричала, подымая кверху руки:

— Нам не надо златого кумира,
Ненавистен нам царский чертог...

Немало прошло времени, пока Саваренский и городовые, усиленно работая локтями против течения, выбрались, наконец, из тесного клубка движущихся людей.

— Воротитесь! воротитесь! — кричал Саваренский до хрипоты, не понимая, как это так происходит на глазах самого Сазонова, что красный флаг невредимо и гордо плывет и плывет впереди толпы, а казаки и даже сам бравый Кожеловский стоят нерешительно на месте[1]).

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ Библиотека Красной обяз. экз.

БИБЛИОТЕКА ПРАВДЫ

[1]) Дальнейшие события, имевшие место в Возневанске в связи с описываемой в романе стачкой, будут рассказаны в другом романе того же автора.